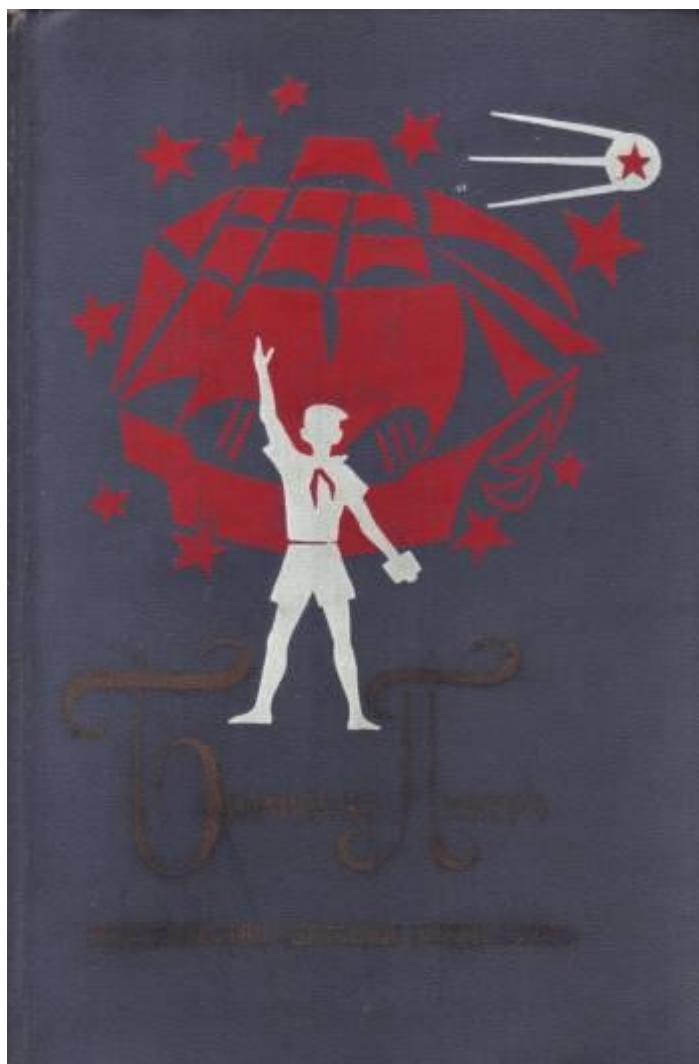


Лев Абрамович Кассиль Великое противостояние



Книга первая Моя Устя

Глава 1 Очень обыкновенно

«Теперь я уже могу судить окончательно, что жизнь мне не удалась. Сегодня мне стукнуло полных тринадцать лет. Это уже очень порядочно. И за всю мою жизнь у меня не было ни приключений, ни увлечений и вообще никаких интересных случаев...»

Так написала я в своем дневнике утром 30 апреля 1938 года, не подозревая, что уже вечером меня смутит очень странное происшествие.

Да и чего хорошего можно было ожидать в жизни, когда веснушки в этом году выступили у меня еще раньше, чем снег успел сойти... И как мне было не обижаться на судьбу, если перед самым Первым мая я по математике опять еле-еле натянула на «посредственно», а это грозило стать годовой отметкой — третьим «посредственно» за год.

Все это было, впрочем, совсем не удивительно, и никого в школе не поразило, что опять Крупицына получила «пос» по математике. «Ну что ж, очень обыкновенно», —

говорили у нас в классе. «Очень обыкновенно», — сказала и я, так как это давно стало моей любимой поговоркой.

Все у меня было очень обыкновенно. Я была на среднем счету в школе, а на таких привыкли не обращать внимания. Мне иной раз даже думалось, что интереснее было бы уж числиться в отстающих: о них разговора было не меньше, чем об отличниках. Отличниками хвастались на школьных вечерах, упоминали о них в рапортах, сообщали в районный отдел народного образования, рисовали в стенгазетах. Ну, а «плохастых», как называли у нас в школе отстающих, выправляли, подтягивали, ликвидировали, повышали. Чего только с ними не делали! Лишь про нас, посредственников, и сказать было нечего. Учились мы так, серединка на половинку, радости и чести от нас было немного, но и хлопот мы особых не требовали. «Ни два ни полтора, свободно плавающее тело» — как острил у нас в классе Ромка Каштан. Я давно к этому привыкла, как свыклась с тем, что и дома у нас я никому ни особого горя, ни шибко большой радости не доставляла. Разве только отцу...

Я росла последышкой.

Старшей сестре, Людмиле, было уже девятнадцать лет, брату Георгию пошел шестнадцатый, детей уже не ждали, и тут родилась я. Еще до рождения меня, должно быть, считали какой-то лишней, нечаянной. Давно уже пошли на платки и тряпки все пеленки, а что осталось, мать отдала в хозяйство Людмиле, и пришлось все заведение начинать сызнова. И мама, верно, порастратила свои заботы и ласки на старших. Мне уже мало досталось.

Меня все продолжали считать дома маленькой, несмышленишкой. Не считаясь с тем, что я слышу и давно уже все понимаю, при мне громко говорили, как о семейной неудаче:

— Иссякла, видно, наша порода. Неказиста растет... В кого такая? И нос — словно мухи засидели.

Только отец был ласков со мной.

— Будя вам девчонку хаять! — сердился он. — А ты, Сима, скажи: «С носа немного спроса. Была бы душа хороша да голова здорова, на своем месте». Верно, Симочка? Ты им не верь, ты меня спроси, я тебе правду скажу... А что, говорят, веснушками-то это закапано, это ничего: значит, солнышко тебя любит и отметинки наставило. Поди сюда, дочка, не слушай их.

Отец не видел моих веснушек, он не мог их видеть: во время мировой войны у него были обожжены на фронте глаза, он носил темные очки и с каждым годом видел все хуже и хуже. Ему пришлось оставить завод, где он работал слесарем. Слепота надвигалась на него и уже почти настигла, но он не хотел сдаваться, ходил твердо и быстро, хотя и натыкался иногда на стул, поставленный не на обычном месте, на дверь, которую кто-нибудь затворил не вовремя.

Маме приходилось трудно. Она брала на дом работу, чинила белье. Отец получал пенсию и работал теперь в инвалидном товариществе «Технокнопка»; там делали конторские скрепки, зажимчики, кнопки, ляпсики для башмачных шнурков. Брат Георгий, который работал техником по орошению в Туркмении, присылал нам немного. Так мы и жили.

Отец ходил чисто, в черной сатиновой косоворотке под пиджак. Он был очень аккуратен. Каждую вещь, взяв, ставил потом точно на место, а когда закуривал, старался не просыпать на стол и на всякий случай пальцами пробовал, не осталось ли крошек табаку на скатерти. Он носил короткие седые усы, и я ему сама подравнивала их к празднику. Я и брила его сама — мне это очень нравилось. Отец сидел терпеливо и не морщился даже тогда, когда я, стараясь выбрить как можно чище, изрядно царапала ему подбородок.

— Ничего, ничего, дочка, режь, действуй, — успокаивал он меня. — Мне самому не видать, значит, не страшно. А другие пусть не глядят. Верно я говорю?

Радио было его страстью, и, несмотря на слепоту, он сам собрал дешевенький двухламповый приемник. Наушников у нас была всего одна пара. И часто вечерами сидели мы с отцом в уголке, тесно прижавшись, плечом к плечу, ухо к уху, наслаждаясь только нам одним слышной музыкой.

Канун и полдня своего рождения я провела в тревоге и смутном ожидании. Меня взбудоражила таинственная история, которая произошла накануне.

Я стояла у ворот и смотрела, как украшают к Маю большое соседнее здание, и вдруг почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Я оглянулась и увидела высокого чернявого человека, который стоял на углу и внимательно разглядывал меня. Одет он был как иностранец, на нем был непривычного покроя костюм с прямыми плечами, из-под низких шаровар виднелись клетчатые чулки. В тот момент, когда я обернулась, мне показалось, что он собирался сфотографировать меня: я заметила у него в руках маленький аппарат «лейку». Он уже совсем было прицелился, но, должно быть, заметил, что я смотрю на него, и стал снимать рабочего, устанавливавшего портрет Фридриха Энгельса на крыше учреждения.

Меня смутило, почему этот человек так уставился. Я нарочно отвернулась, но потом не вытерпела и снова неожиданно взглянула на него. Он стоял и все так же внимательно разглядывал меня. Мне стало смешно, я показала ему язык и ушла во двор. Я бы совсем забыла об этом глазастом невеже, если бы вечером дворника Танька не сказала мне:

— Симка! А тебя тут какой-то дядька добивался. Подошел, весь в заграничном, и спрашивает: «Что это за девочка здесь выходила?» — «Какая, говорю, девочка?» — «А такая: две косички и веснушки такие симпатичные...» А сам, гляжу, в шерстяных чулках... Ну, я и сказала. «Это, говорю, Симка Крупицына из четвертой квартиры». А он говорит: «Ах, из четвертой квартиры? Очень приятно. Извините за беспокойство». А я говорю: «Пожалуйста, ничего не стоит». Он и ушел. В желтых таких полботинках...

Я долго ломала голову: что надо этому странному и любопытному человеку? Кто знает, может быть, это какой-нибудь знаменитый чудак путешественник и он просто хотел расспросить у меня, как живут в нашей стране простые, обыкновенные девочки?.. А потом вдруг бы взял чудак да и подарил билет в кино или модную ручку-вставочку... Но почему ему так приятно, что я из четвертой квартиры? Я несколько раз выходила утром на улицу посмотреть, не ходит ли поблизости тот чернявый, вчерашний.

Но никого не было. Я решила, что этот человек, должно быть, спутал меня с какой-нибудь похожей на меня девочкой. Вот и все. Разве могут быть у меня какие-нибудь приключения! Мне даже обидно стало. Но на всякий случай я и перед обедом выбегала на улицу поглядеть. Нет, никого не было на углу. Я почувствовала досадливую скуку.

Ради дня моего рождения мать испекла пирог с курагой, а отец купил бутылку сладкой «Облепихи». День был предпраздничный и выходной, мы ждали гостей. Должна была прийти старшая сестра, Людмила, с мужем. Сестра считалась у нас в семье самой удачливой. Муж ее, настройщик Арсений Валерианович Свинчатов, нудный и долговязый, называл себя музыкантом-техником по инструментальной части. Мудреная прическа его, с пробором где-то поперек затылка и венчиком, выведенным наперед, на скрываемую лысину, занимала меня с детства. Мы с мамой считали Арсения Валериановича человеком ученым. Мама даже гордилась зятем. Потому с нами он говорил снисходительно, вполголоса, прищурившись и слегка склонив голову набок, словно проверял наши слова на свой слух. При этом любил барабанить костяшками пальцев по краю стола. Только отца раздражали и этот стук, и снисходительная манера говорить. Он не любил настройщика, называл его заочно Скрипичным Ключом или Камертоном Пирамидоновичем.

У отца самого был очень острый слух. И сегодня он первый расслышал на лестнице шаги гостей:

— Иди, мать, встречай. Людмила следует со своим Камертоном.

Людмила вошла к нам, большая и нарядная, и сразу наша комната с зеленоватыми и словно пропотевшими обоями, с потолком, желтым, как бумага, долго лежавшая на солнце, с крымским видом в рамке из ракушек и большим гипсовым Наполеоном на комод, доставшимся нам от покойной тетки, — сразу наша комната стала тесной для Людмилы, для ее проворных круглых рук, раскатистого голоса.

— Что это у вас как грязно, мама? Накидано всюду, — говорила Людмила, тотчас принимаясь передвигать стулья, смахивать какие-то бумажки со стола.

— Я одна за всеми... — ворчливо отзывалась мама. — На хозяйство одной пары глаз разве хватит? А от других только мусор... Андрей, высыпи пепельницу... Сима, подмети тут.

— Да, бледно живете, неблагоустроено, — поддакивал настройщик. — Хоть бы аквариум завели, что ли.

Но отец уже нарочно ущемил голову наушниками радио, чтобы не слышать обычных и всем надоевших изречений Камертона.

— Вы бы хоть, что ли, рупор приобрели, точку взяли по сети, раз уж такой любитель, — невозмутимо и медленно, как всегда, продолжал настройщик.

Отец высвободил одно ухо из-под черной эбонитовой чашечки:

— А возможно, я не желаю на проводе ходить у других, я привык от себя зависеть, самостоятельно.

Настройщик подмигнул мне, махнул рукой в сторону отца — дескать, что с чудачком спорить. Потом вдруг осторожно хлопнул себя по зачесу:

— Да, хорошее дело, главное-то забыл!.. С новорожденной вас, мамаша... Симочка, позвольте вас поздравить. Вот примите. Подрастайте и благоухайте.

Он вынул из кармана сверточек, развернул бумагу и вручил мне маленький флакон духов «Фиалка».

— «Серафима — вот она какая, Серафима бойкая, живая, Серафима — с нею не шути...» — запел он.

Людмила звонко расцеловала меня в щеки.

— Жаль, Симочке идти скоро, — предупредила мама, — к Таточке приглашенная. В один день рожденные.

Я действительно собиралась идти к Тате Бурмиловой. На самом деле день рождения Таты уже прошел позавчера, но я уступила ей лучший день — выходной. Ей все и всегда уступали: лучшую парту в школе, самое удобное место в кино, поближе к середине, самое красивое пирожное на противне в буфете, самую лучшую сводную картинку в писчебумажном. И, конечно, не потому, что отец Таты был начальником большого учреждения, — просто в классе любили веселую, красивую мою подружку. И мама моя тоже была довольна нашей дружбой с Татой, которая всюду водила меня за собой, хотя некоторые наши сплетницы-завистницы и язвили, что, мол, Бурмиловой очень к лицу чужие веснушки...

Попив чаю, поев именинного пирога с курагой, я пошла за шкаф переодеваться, надела самое лучшее, поплиновое платье, перешитое из старого Людмилиного. Сестра заглянула за шкаф и сама взялась обряжать меня. Она усадила меня перед зеркалом, забегала, захопотала вокруг, укололась булавкой, высосала палец, разожгла примус, положила греть щипцы для завивки — компас, как она называла их.

— Эх, Серафима, Серафима, — болтала она, вплетая мне ленты в косы, — я в твои годы не такая была, я уже в это время вся выровнялась... Ну, ты сиди, сиди, не дергайся, а то я тебя прижгу компасом. Дай я тебе немножко еще на височках взобью.

В зеркале отражалось окно, а там, за окном, крыша большого дома напротив, и на ней уже стояла огромная красная единица и рядом две буквы — «М» и «А». Должно быть, «Я» еще не подняли. И, когда я увидела улицу, которая прибиралась к празднику, я вдруг вспомнила опять, что произошло накануне. А Людмила все хлопотала вокруг меня, перевязывала в сотый раз банты, подкалывала плечи, подшивала воротник.

— Ну, можешь отправляться, Симочка, — наконец сказала она. — Я из тебя прямо картинку сделала. Мальчишки-то как, изредка внимание обращают, записки пишут, поди?

— Да ну их совсем! Я одного вчера после немецкого языка так треснула, будет знать!

— Вот босявка! Как же это ты?

— Очень обыкновенно. Теперь узнал ума.

— Это еще что за выражение, Серафима? — прикрикнула на меня мама по ту сторону шкафа. — Чтоб я не слышала больше!

Прежде чем выйти на улицу, я загадала перед калиткой: вот если сейчас опять встретится этот странный человек, значит, у меня в этом году будут в жизни какие-нибудь важные происшествия. Я плотно зажмурилась, вышла через калитку на улицу, открыла глаза и осмотрелась. На углу, как всегда окруженный мелюзгой, торговал ирисками лоточник. Было по-праздничному пустовато, и на мостовой посреди улицы, пятась, ходили управдомы и коменданты. Задрав голову, они делали руками сложные таинственные знаки кому-то на крыше, дирижируя развеской первомайских украшений. И над улицей медленными толчками возносилась повисшая на веревках огромная и чванливая буква «Я».

Внимательно осмотрела я улицу из конца в конец. Нет, никого не было, никто не следил за мной. Все было очень обыкновенно.

Глава 2 «На кого вы похожи?»

— Ребята, Крупицына своей персоной явилась! Завилась! Кудри штопором!

Все вылетели в переднюю и окружили меня. Тут был и Ромка Каштан, мой старый недруг, тот самый, кого я ударила вчера после немецкого. Были здесь и Катя Ваточкина, и Миша Костылев, и Соня Крук — все наши. Тата, в новом платье, которого я еще не видела у нее, схватила меня за локти и закружила:

— Симочка, Симочка, поздравляю!

— И тебя тоже!

— Ну, меня с прошедшим уже... Идем, идем, ты должна тоже написать что-нибудь.

Толкаясь в дверях, мы ввалились в столовую. Я слышала, как за моей спиной Ромка Каштан насмешливо процедил:

— Завилась, а при галстукке, как на сбор.

— Хватит тебе дразнить ее! — шепнул кто-то, кажется Катя.

На столике перед диваном лежала толстая тетрадь. Все окружили столик, подталкивая меня:

— Пусть и Крупицына напишет!

Я взяла тетрадь. На первой странице ее было крупно выведено: «Прошу писать откровенно».

Я уже слышала, что в школе в старших классах ребята завели такой вопросник. Там наставили разные вопросы о нашей жизни, настроении, о дружбе, о любви, и каждый должен был писать тогда все начистоту и без утайки. И наши девчонки, видно, собезьянничали у старших.

«Когда вам бывает скучно?» — прочла я. Под этим на странице разными почерками, среди которых я увидела много знакомых, были записаны ответы:

«Тогда, когда у меня плохое настроение».

«В нашем государстве не бывает скуки».

«У Сони Крук не бывает скук...»

Кто-то сунул мне в руку химический карандаш.

— Внимание! У нашего микрофона Крупицына! — провозгласил Ромка.

И я написала:

«Мне бывает скучно, когда ко мне плохо относятся. И потом, от глупых острот мне тоже скучно».

— Ого! — многозначительно сказал Ромка Каштан.

«Кого или чего вы больше всего боитесь?» — было написано на второй странице.

«Никого и ничего не боюсь».

«Мне еще незнакомо жалкое чувство трусости».

«Боюсь пьяных, зачетов и мышей».

«Иногда побаиваюсь собак, несмотря на возраст».

— На чей возраст, — спросила я, — того, кто написал это, или щенячий?

Тут я заметила, что Катя покраснела, и поняла, что это написала она.

«Никого и ничего не боюсь, кроме сплетен и сплетниц», — прочла я дальше и узнала почерк Ромки Каштана.

«Мстительны вы или нет?»

«Смотря за что и кому. Мщю редко, но метко. Но я еще не всем отомстил, кому мне следует мстить...»

Это опять почерк Ромки.

Я быстро перелистала тетрадь. Мне не хотелось отвечать на эти вопросы сейчас же, при всех.

«Можете ли вы пожертвовать собой?»

«Если этого требует близкий человек или дело, то, конечно, да».

«Думаю, что могу, если надо будет».

«Для Родины, для любимых друзей всегда и всем, даже жизнью (для Родины)».

Мне тоже захотелось написать здесь именно такой ответ, но тогда надо было бы отвечать уже на все вопросы, а их было очень много. Тетрадка спрашивала и о том, кого я больше всего люблю на свете, и о том, что мне нравится во владельце тетрадки, то есть в Тате, — эта страница целиком была заполнена всякими похвалами Тате: ум, красота, глаза, волосы, веселый нрав, хороший характер. Потом надо было еще написать, каков у меня характер (*отвратительный!*), что лучше — откровенность или скрытность (*скрытность*), чем увлекаюсь (*еще не знаю*), с кем я хочу дружить (*с Татой*), есть ли у меня враги (*Ого! А Ромка?..*), кто моя симпатия (*нет еще*), довольна ли я жизнью (*своей — не совсем*) и о чем я мечтаю (*совершить какой-нибудь подвиг для людей и купить пуховый берет, как у Таты*).

— Я лучше потом напишу.

— Нет, нет, надо сейчас! — закричали все.

Тата пришла мне на помощь:

— Она очень долго писать будет. Давайте лучше играть во что-нибудь или потанцуем.

Тата села за пианино. Девочки танцевали друг с другом, мальчишки стояли, заложив руки назад, ладонями упираясь в стену, и презрительно глядели на танцующих.

Ромка стал изображать учителей, очень ловко копируя математика:

— А ну-ка, допустим, это выражение пусть попытается упростить нам, допустим, Крупичина Серафима.

Это он, разумеется, нарочно выбрал меня, чтобы напомнить всем, как я накануне плавала по математике.

Потом стали играть «в мнения». И конечно, первой выпало уходить в другую комнату мне.

Я стояла в передней и слышала, как за закрытой дверью перешептываются, взвизгивают от восторга, сговариваясь и предвкушая.

— Не надо, она еще обидится, — услышала я чей-то шепот.

— Нечего тогда играть, если обидится...

Опять перешептывание, хохот. Наконец меня позвали...

Я вошла. Все сидели важно, составив полукругом стулья. Объявлял Ромка Каштан.

— Ну-с, — сказал он, — пожалуйста сюда... Был я на балу, сидел на полу, ел халву, слышал про вас такую молву. Говорят, что вы похожи: первое — на «точка, точка, запятая, минус — рожица кривая». Это раз. Другие говорят, что вы похожи на... на неправильный глагол. Слышал я еще, что вы похожи неизвестно на кого, потому что сегодня сами на себя не похожи.

«Это сам Ромка придумал», — решила я.

— Некоторые уверяли, что вы похожи на осиное гнездо.

«Нет, верно, это Ромка, — подумала я. — Ладно, дождусь и я своей очереди загадывать!»

— Были там на балу и такие, что говорили, будто вы похожи на промокашку в кляксах.

Потом еще на курочку рябу. На пустое решето. И на серо-буро-малиновое в крапинках.

— Это ты, Ромка, сказал сам! — закричала я.

— Нет, нет, не угадала! Иди еще раз!

Все вскочили, захлопали в ладоши. Мне вдруг стало так обидно, что у меня даже как-то странно голос сел, когда я медленно сказала:

— Если так, то, чур, не игра. Вы сговорились нарочно... Это стыдно с вашей стороны... так...

Я хотела что-то еще добавить, но обида стянула мне губы.

— Брось, Симка, на то игра!.. Шуток не понимаешь.

— Это уже не шутки.

Тата подбежала ко мне, схватила за руку, но я вырвала руку, резко повернулась и вышла в переднюю. Тата бросилась за мной:

— Что ты, Симочка! Неужели ты обиделась?

Но я уже ничего не могла сказать, я только боялась, как бы мне не зареветь, и, оттолкнув Тату, рванула цепочку на дверях, откинула крючок, выбежала на площадку лестницы и быстро спустилась на улицу. Дома у нас никого не было, наши ушли в гости. Я достала ключ, отперла комнату, послонялась немного из угла в угол, не зная, чем заняться, что делать с собой.

Ну вот, я рассорилась со своими подругами. Так и надо! Оказалось, они все ко мне плохо относятся, нечего тогда и дружить с ними.

Да, плохо, скучно и обидно прошел день моего рождения.

Из зеркала смотрела на меня обиженная и нескладная девчонка в нарядном платье, с завитушками на висках, с большими бантами на тощих косичках. Пора было бы уж этой девчонке бросить обижаться на дразнилки. Я подошла к своей этажерке и сняла с нее большую заветную папку. В ней у меня были собраны вырезанные из газет и журналов портреты разных знаменитых девушек. Я их коллекционировала. У меня уже много накопилось — толстая папка. Тут были храбрые парашютистки и прославленные летчицы, знатные доярки и премированные бригадирши, известные киноартистки и учительницы, чемпионки-бегуньи и военные фельдшерицы. Я разложила вырезки на столе и долго смотрела на улыбающиеся лица знаменитых девушек. Вот и они ведь не все красавицы. Вот эта совсем курносая, а у этой вон какие маленькие глаза, а эта ужасно какая толстуха. А ничего, видно, счастливые, и жизнь у них славная, и портреты напечатаны в газетах, народ их уважает, и дома гордятся ими. Нет, красавиц среди них оказалось не так уж много.

В открытое окно доносился шум вечерней улицы, громкие неторопливые шаги по тротуару; люди шли не спеша, прогуливаясь. И мне очень захотелось потолкаться среди прохожих, быть с людьми. Я накинула пальто, заперла дверь, положила ключ на условленное место и вышла на улицу.

Вечер был совсем синий и теплый. Люди шли вниз, к Москве-реке, посмотреть на новый мост. И я пошла туда.

Вчера еще здесь, перегораживая улицу, стояли глухие заборы. Почти год бил и сипел за ними паровой молот, жужжали электрические моторы. Оттуда выезжали, толча мокрую глину, грузовики; на них сидели люди в брезентовых спецовках. Ночами там горело так много ламп, что звезд не было видно над рекой. Неусыпно шло строительство.

Прежде здесь наша улица, неуклюже вильнув вбок и юркнув в узкий решетчатый туннель моста, кое-как перебиралась на другой берег. А сегодня все тут было неузнаваемо. Забор убрали, и наша улица, расширившаяся, укатанная, посыпанная свежим песком, вдруг легко взлетев, не сужаясь и не кривясь, напрямик перемахнула через реку. Это выгнулся над Москвой-рекой огромный новый мост.

Я не сразу заметила, что стою уже на нем, — так он был широк, так полого и просторно принял он на себя нашу улицу.

На мосту уже горели круглые матовые фонари; чугунные мачты их были увиты красными лентами. Еще ходили с кистями маляры, докрашивая толстую фигурную решетку;

еще просили не скопляться и проходить, не толкаясь, милиционеры; еще разъезжал на своем тяжелом утюге взад и вперед закоптелый парень, красуясь перед народом послушной силой своей машины, разглаживая дымящийся асфальт, а посередине уже легко мчались машины, и люди прогуливались по мосту, переходя с берега на берег.

Я подошла к краю и остановилась у перил, еще пахнувших свежей краской. Внизу, под моими ногами, мчались по набережной машины. Чуть-чуть левее далеко внизу, наверно очень глубокая, отражала огни вода. Небо было светлое, светлее воды, и за поворотом реки резко на небе выделялись высокие башни Кремля. Город был хорошо виден отсюда. С каждой минутой в нем зажигалось больше и больше огней, и небо становилось розоватым. Это всходило над Москвой праздничное зарево, зажигали первомайскую иллюминацию.

Я стояла у перил, смотрела вниз. «Вот бы броситься отсюда... Какой бы завтра шум поднялся в школе! Попало бы ребятам за нечуткое отношение ко мне». Но бросаться ни капельки не хотелось — вечер был тихий, а мост такой широкий, такой надежный... Промчались два тяжелых грузовика-пятитонки, а у него даже не дрогнули перила.

И вдруг я заметила, что по другой стороне моста медленно ползет красивая приземистая зеленоватая, похожая на большого жука-бронзовку машина. Перед у нее был узкий, сверкающий, пологие крылья плотно прижаты к бокам, вытянутые фары словно выросли в туловище машины. Машина медленно ползла по мосту. В ней сидело двое. Когда машина поравнялась со мной под большим фонарем моста, мне почудилось, что люди в машине смотрят на меня. Машина медленно прошла дальше, но вдруг повернула круто, быстро скользнула на другую сторону моста и пошла мне навстречу. У меня заколотилось сердце. Бесшумно подкатив, машина остановилась недалеко от фонаря. Сидевшие в ней бесцеремонно разглядывали меня.

— Она? — услышала я негромкий голос.

— Она, она, Сан-Дмич, пожалуйста. Чем не Устя?

— Всюду вам Устя мерещится!

— А безброва-то, безброва до чего!

— И конопатинки просто прелесть. А? Мадрид и Лиссабон, сено-солома! Неужели нашли?

Я боялась пошевелинуться, у меня не хватало духу еще раз оглянуться на машину. Я стояла, замерев у перил, схватившись за них обеими руками. Я слышала, как за моей спиной хлопнули дверцы машины. Тихие шаги послышались позади меня.

«Уж не шпионы ли?» — подумала я.

Мы в школе читали много книг про шпионов. Вот так там и начиналось. Выследят, познакомятся, а потом... «Пусть, — подумала я, — я не хуже тех, что написали в тетрадке, будто готовы пожертвовать собой... Надо сперва поддаться, будто ничего не понимаешь, а после разоблачить...»

У меня как-то странно обмякли ноги, а руки так прилипли к перилам, что мне показалось, будто по ним пустили электрический ток, — я однажды так схватилась у нас на черной лестнице, где оборвался провод.

Когда те двое подошли ко мне, я была ни жива ни мертва от страха и любопытства. Но уверенность, что я не струшу перед опасностью, что я готова ко всему, не покидала меня.

Я осторожно, через плечо, глянула в другую сторону — на том конце моста стоял милиционер. Мимо меня с берега на берег переходили веселые, неторопливые люди. Стоило мне только позвать на помощь... Но я решила выждать.

— Девочка, будь любезна, как бы нам тут на Зацепу проехать?

Я обернулась. Они стояли совсем рядом, и в одном из них, высоком, чернявом и глазастом, в спортивных шароварах, я сразу узнала того загадочного «иностранца», который следил за мной на углу нашей улицы. Другой, плотный, небольшого роста, но по-военному складный, в короткой кожаной курточке с вязанным поясом, в упор и с интересом разглядывал меня. Он был без шапки, лицо у него было совсем не старое, но на голове ветер шевелил редкие седоватые волосы. Они были, должно быть, совсем мягкие, потому что легко

взлетали, и казалось, что ветер сейчас сдует их и человек облетит, как одуванчик. Седоватый стоял плотно, широко расставив ноги, слегка покачиваясь с каблука на носок, забавно морщил короткий нос, и глаза у него были какого-то необыкновенного цвета, только фонарь мешал различить какого.

— Так как нам на Зацепу пробраться? — повторил седоватый.

Я объяснила.

— Что ж, и голос подходит, — пробормотал он. — Прямо сам не верю, сам не верю! — воскликнул он и, подняв голову, весело посмотрел на своего высокого спутника.

— Девочка, героиней хочешь стать? — спросил тот, вращая глазами, которые таинственно сверкали, отражая фонари.

— Как это? — растерялась я. — А ну вас еще! — добавила я.

Мне показалось, что они просто смеются надо мной. Я сделала движение, словно хотела уйти.

— Стоп, стоп! — закричал высокий. — Никуда ты от нас не уйдешь, мы тебя найдем. Дом семнадцать, квартира четыре. Верно ведь?

Я остановилась.

— Погодите, Лабардан, — тихо сказал седоватый. — Вот перец с горчицей! Не так... Зачем это? Сразу же труба-барабан! Возможно, еще ничего не выйдет... Вот что... Вы нам, может быть, очень и очень пригодитесь, — обратился он ко мне, — и вам это будет интересно. Но пока не следует никому болтать. Понимаете? Не надо. Преждевременно. Мы должны попробовать сперва. Пойдет дело, тогда и решим. Скажите мне... повторите за мной: «Мон шер ами».

— Это «мой дорогой друг» — по-французски, да?

— Правильно, «дорогой друг». Ну-ка, скажите.

— Мон шер ами.

— Ничего. Вы в школе не французский изучаете?

— Нет, немецкий.

— Жалко. Но ничего. Это не важно... Ну, и как, вы согласны? Мы придем за вами после праздника машину домой. Вы в какой смене учитесь? В первой? Ну, отлично. В три часа и придем... Лабардан, у вас бирки есть? Дайте ей бирку, чтобы без задержек было.

Высокий вытащил из кармана что-то вроде блокнота, оторвал листок и дал седоватому:

— Число поставьте.

— Так, значит, уговорились? — спросил седоватый, улыбаясь; он вынул из кармана куртки толстую пятнистую ручку, похожую на саламандру, и, черкнув что-то на бумажке, протянул ее мне: — Не теряйте бирку. Покажете ее шоферу.

И вдруг, весело подмигнув мне, он издал какой-то странный звук, вроде «бреке-кекекс», и потрепал меня по плечу. Хлопнули дверцы зеленой машины. Седой взялся за руль, еще раз кивнул мне, машина легонько зажужжала и плавно двинулась. Седой помахал мне рукой, и машина, быстро набрав скорость, скользнула с моста на берег.

Я стояла, ничего не понимая. Руки у меня были липкие, потому что я схватилась руками за свежескрашенные перила, только теперь я почувствовала это. Я захотела вытереть их и тут увидела, что держу в правой руке оставленную мне бумажку. Я стала под фонарь, подняла к глазам бумажный лоскуток и прочла: «Бирка 384. 3 мая 1938 года». Стояла краешком печать. Сперва я не могла разобрать, что за буквы на ней, потом прочла, но не поверила своим глазам... На печати значилось: «Мужик сердитый».

Глава 3 Машина № МБ 56-93

Не знаю, не помню, не представляю себе, как досидела я третьего мая в школе до конца последнего урока. Я не слышала, о чем говорят в классе, и Тате пришлось несколько раз ткнуть меня в бок и щипнуть за локоть, прежде чем я услышала, что меня вызывает

учительница географии:

— Что с вами, Крупицына? Вы словно отсутствуете. Где витают ваши мысли?

— Она еще после праздника не в себе, — сказал с места Ромка.

— Каштан, я вас не спрашиваю! — остановила его учительница. — Вы нездоровы, Крупицына?

— Да, голова что-то болит, — соврала я.

— Ты правда сегодня, Сима, какая-то странная, — удивилась Тата.

Ребята ждали, что, после того что произошло на вечеринке, я приду сама не своя, и сговорились, должно быть, ни о чем мне не напоминать. Но состояние тревоги, ожидания, в котором я была, мало походило на смущение или сожаление. Ребята не знали, как со мной заговорить, а мне было не до них. Я не спала почти всю ночь, я строила сотни самых необыкновенных предположений. Для чего я понадобилась этим двум непонятным автомобилистам? Что это за странный вопрос о героине?.. Почему они выбрали именно меня, узнали для чего-то мой адрес? Зачем они заставили меня произнести несколько слов по-французски?..

Я собиралась было рассказать обо всем отцу, но потом раздумала: конечно, он бы меня никуда не пустил и первое в моей жизни приключение сразу бы на этом и закончилось.

Без четверти три я уже была на улице у своих ворот. Я так переволновалась, что теперь меня страшило только одно: вдруг все было шуткой и машина не придет? Я не сводила глаз с того конца улицы, который обращен к мосту, я ждала машину с минуты на минуту. А ее всё не было.

— Ты кого это ждешь, кому назначила?

Передо мной стоял Ромка. Вот уж некстати! А может быть, сказать ему? Все-таки не так страшно.

— А я иду мимо, — сказал Ромка, — и думаю: что это у меня в глазах рябит? Смотрю — оказывается, Крупицына стоит.

— Ну тебя, Ромка! Думаешь, сострил? Нисколечко меня твои глупости не трогают!

— А у Бурмиловой-то кто в амбицию полез?

— И вовсе не оттого, как ты думаешь. У меня теперь такие дела, что мне обижаться нет времени.

— Это какие же такие дела?

— Такие. Узнаешь после.

— Воображаю!

Еще немножко, и я бы, вероятно, не утерпела и рассказала, но тут вдруг, совсем не там, где я ждала, а с другого конца улицы, из переулка, выкатилась небольшая черная машина. Я не обратила на нее внимания, все ждала ту зеленую. Сердитый шофер приоткрыл дверцу и высунулся из машины:

— Эй, слышь, где тут семнадцатый номер дома?

— Квартиру четыре вам, да? Это за мной.

— Дадут адрес, не найдешь! — ворчал шофер. — Бирка-то есть?

Я протянула ему бумажку с печатью: «Мужик сердитый». Шофер взглянул краешком глаза на бирку и мотнул головой назад:

— Садись. Кругом, с той стороны. Тут дверца сломана.

Я обошла машину. Мне снова сделалось очень страшно, и вдруг счастливая мысль пришла мне в голову. Я успела взглянуть на номер машины.

— Ромка, — прошептала я, — если я не вернусь... ну, что-нибудь случится... в общем, запомни, Ромка: машина номер МБ 56–93.

Надо было видеть, как посмотрел на меня Ромка! Я никогда не видела его таким растерянным и сбитым с толку. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, я влезла в машину, шофер дал газ, и мы помчались.

Некоторое время мы ехали молча, потом я решила обратиться к мрачному водителю:
— А куда вы меня сейчас повезете?
— Куда велели, туда прямым сообщением и повезу. Мне долго развезить-то некогда. Мне еще за талонами на бензин ехать, да, того и жди, задний баллон спустит. Резины не дают, а гоняют!

— А это далеко? — Я робко скосила глаза на угрюмого шофера.

— А тебе какая забота? Села и езжай. Далеко ли, близко ли...

Минут пять мы ехали молча. Я уже сбилась с направления и не могла угадать, где мы находимся. Улицы были незнакомые, дома делались все меньше и меньше. Я чувствовала, что мы подъезжаем к окраинам.

— Что, для мужика, наверно, сердитого? — вдруг сам заговорил шофер, поглядывая на меня в зеркало. — Сколько я уж возил таких девчонок! Все набиваются, а в расчете только слезы!

— А вы много уже девочек возили?

— Да не соврать, штук шестнадцать.

— Ну, а потом? Потом с ними что было?

— Чего было... Сами не рады, намучились зря. И на том конец.

— А обратно они... ну, эти девочки то есть, они возвратились?

— Нет. Уж раз, видать, не годна, так вертать ее незачем.

Мне стало совсем скверно. Я уже бранила себя в душе, зачем понесла меня нелегкая в это страшное путешествие.

Вдруг позади нас раздался пронзительный милицейский свисток, и шофер резко затормозил машину. Он сидел молча, не оглядываясь, с каменным лицом.

Подошел милиционер. Вот хороший момент, чтобы кончить все разом.

— Товарищ водитель, — сказал милиционер, — здесь нет левого поворота. Зачем вы нарушаете?

— Так что ж, что нет? Я вижу — встречного транспорта не предвидится...

— Ваши права? — прервал его милиционер.

И шофер мой стал рыться в карманах.

— Понаставили вашего брата на нашу голову!.. — проворчал он. — Права... Я вот спрашиваю, какие у тебя права зря человеку свистеть? У меня, того и жди, и так баллон сядет.

— Запишу ваш номер, — проговорил милиционер, вынимая книжечку.

— МБ 56-93! — сама того не ожидая, крикнула я что есть силы.

Милиционер удивленно взглянул на меня, усмехнулся, обошел машину и записал номер. Мне стало немножко легче. Ладно, пусть и он на всякий случай знает, что за машина увезла меня неизвестно куда...

Глава 4

Портрет моего двойника, или Семь Наполеонов

А машина все катила и катила, сворачивая то и дело налево, и только налево. Я чувствовала, что город оставался у нас справа. Перед нами протянулась широкая замощенная улица, обсаженная по обе стороны подстриженными деревьями. Наконец машина остановилась перед высокой каменной оградой. На воротах, подняв лапы, осклабясь, сидели каменные львы. Сквозь решетку на нас глянул какой-то старичок с винтовкой, всмотрелся в машину и стал с грохотом открывать зеленые половинки ворот. Мы въехали в парк, машина зашуршала шинами по асфальтовой дорожке, и мы остановились у высокого здания. Шофер, не глядя на меня, ни слова мне не сказав, вышел и поднялся по ступеням подъезда. У дверей он оглянулся и сделал мне знак рукой, чтобы я шла за ним. В дверях меня остановила красивая женщина с какими-то необыкновенно большими глазами.

— Это к Сан-Дмичу, — сказал шофер, — по бирке привез.

— Для «Мужика»? — спросила женщина. — Пройдите, вон вторая дверь налево.

Я пошла, озираясь, по полутемному коридору.

— Мне сюда? — громко крикнула я издали женщине, впустившей меня.

И вдруг, словно в ответ, передо мной на стене зажглась и замигала огненная надпись: «Тихо!»

И на другой стене:

«Тишина!»

Я съежилась и пошла на цыпочках. Вот и вторая дверь налево. На ней маленькая дощечка: «Мужик сердитый». Я тихонько постучала. Никто мне не ответил. Я нажала на дверь, и она бесшумно открылась. Я очутилась в небольшой, красиво убранной комнате. В глубине стоял столик с резными, тонкими, выгнутыми наружу ножками, суживающимися книзу, как у борзой. Сбоку у стены стоял не то диван, не то кушетка с такими же выгнутыми ножками, но низенькая, как такса.

Я осторожно присела на диван. На противоположной стене висел портрет какой-то девочки в тулупе. Голова ее была закутана в платок. Торчал смешной вздернутый нос. Сперва я ничего особенного в портрете не заметила, но потом что-то в нем начало меня волновать. Что за штука? Я где-то видела эту курносую физиономию, эти печальные безбровые глаза, подбородок с ямкой. Лицо показалось мне вдруг очень знакомым. Я готова была ручаться, что не раз встречала эту девчонку, и совсем недавно, вот, кажется, сейчас видела где-то. И вдруг я поняла: в зеркале, вот где я видела эту девчонку! Это же была я сама!.. Но у меня никогда не было такого тулупа, никогда я не повязывала так платка. И все же это была я.

Я подбежала к портрету, встала на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть его. Нет, это конечно, не я. Это была какая-то совсем незнакомая мне маленькая колхозница. Но эта девчонка была необыкновенно похожа на меня. «Должно быть, нас перепутали, — подумала я. — Она, верно, пропала, ее искали, встретили меня и зазвали сюда». Я сразу представила себе страшную историю. Наверно, эта девчонка убежала от шпионов, а они ее боятся — она их может выдать, — и вот они меня заманили, спутав с ней. Я уже повернулась, чтобы бежать к дверям, но столкнулась с высоким чернявым «иностранцем».

— Приехали? Доставили вас? — заговорил он. — Лады, лады! А верно похожа? — спросил он, кивнув на портрет моего двойника. — Ну, идемте со мной, вас ждут.

— А что это за дом? — осмелилась спросить я у высокого, когда мы вышли из комнаты.

Он остановился, изумленный:

— Как, вы еще не знаете? Разве я вам не сказал в прошлый раз? Вот так штука!.. И неужели никого не расспросили? Молодец! Лады! Устя настоящая.

— Вы же мне велели никому не говорить.

— Правильно. И не надо зря.

Мы вышли в парк. Перед нами высилась колоннада какого-то дворца. Люди в белых чулках, вероятно лакеи, сновали между колоннами. Я вспомнила, как в школе у нас рассказывали страшную историю про мальчишку, который заблудился, попал в руки к темным людям, а потом очнулся у каких-то иностранцев...

— Посидите здесь на скамеечке.

Скамья была каменная, холодная, и, хотя день был теплый, я сразу застыла.

Чья-то тень словно подтекла мне под ноги на дорожке. Я подняла голову и обмерла. Передо мной стоял... что это, я в театре, что ли?.. передо мной стоял Наполеон. Он был совсем такой, как у нас на комодке, только плечо у него было целое, не отбитое, и он был, конечно, гораздо крупнее. Живой Наполеон стоял передо мной, в треугольной шляпе, в белых лосинах — ну, словом, точно такой, каким я привыкла его видеть всю жизнь у нас на комодке, около зеркала. Наполеон стоял, заложив одну руку за спину, другой держась за борт жилета, и с недоумением разглядывал меня. Нет, это не был театр.

Лицо у него было настоящее, незагримированное, я бы сразу заметила. И потом, зачем

артист из театра будет ходить среди бела дня по большому парку?

— Ке фе-т иси сет фиет? — спросил он меня по-французски. — Что делает здесь эта девочка?

Я беспомощно оглядывалась.

Каково же было мое удивление, когда я увидела, как из-за дерева позади меня вышли еще три Наполеона, а когда я снова обернулась на того, первого, который заговорил со мной, их стало уже и там целых четыре... Четыре императора стояли здесь и три — по другую сторону скамьи, и все они были совершенно одинаковые, рост в рост, и эполеты у них были одинаковые, и треуголки, и белые жилеты, и высокие сапоги, и мундиры с раздваивающимися нагрудниками. И все они, заметив мое смущение, принялись хохотать. Только смеялись они неодинаково: один ухал басом, другой подвизгивал, третий беззвучно ухмылялся, четвертый мягко похохатывал, пятый мелко тряся от смеха, шестой медленно, кругло и со вкусом произносил «ах-ха-ха-ха», а седьмой даже прихрюкивал от удовольствия.

И вдруг все императоры стали серьезными, сделавшись снова совершенно одинаковыми. Все разом поднялись и, оставив меня, бросились навстречу невысокому, но ладному человеку, который легко шагал, звеня шпорами, по аллее парка. Это был нарядный гусар в высоком кивере с султаном. Он шел, гремя палашом; спущенная на шнуре сумка с вензелем билась о его сверкающие сапоги. Он приближался, поглаживая огромные, туго закрученные усы. Прижав два пальца к козырьку кивера в ответ на почтительные поклоны семи императоров, он направился мимо них прямо ко мне.

— Ну что же, хотите попробоваться? — сказал он, подбоченясь, и весело подкрутил усы. А глаза у него, какого-то удивительного синего цвета, очень весело сверкнули мне.

— Она толком не знает даже, в чем дело, — проговорил, подойдя, высокий чернявый.

— Как же так? — удивился гусар.

— Да как-то я заторопился, а потом решил, что сама сообразит, о чем речь. Но она и не догадалась и ни у кого не расспросила. Выдержала иску.

Гусар посмотрел на меня совсем одобрительно:

— Ну? Вот это характер, гроб и свечи! Подойдет для Устиньи. Молодец! Ну, Устинька, идемте пробоваться.

— А я не Устя, — робко возразила я.

— А я хочу сделать из вас Устю.

Как ни была я сбита с толку, все же какие-то догадки теперь уже успокаивали меня. Да, это все-таки, должно быть, театр.

Глава 5 Расщепей — мужик сердитый

— Позовите Евстафьяча и Павлушу, — сказал гусар, когда мы вернулись в комнату, где висел портрет моего двойника.

Он снял кивер, бросил его на стол, содрал один ус, потом другой.

Хотя на нем еще был лохматый черный парик с белым клоком спереди, я уже теперь разглядела его: это был тот самый седой, что вел на мосту зеленую машину.

— Вы меня, наверно, знаете. Я Расщепей. Слышали про такого? Ну, я вам напомню. «Поручика Лермонтова» в кино видели? Я Лермонтова играл. И, помните, еще такая картина была: «Лейтенант Шмидт». Я ставил. Ну и, наконец, это вы уж наверняка знаете: «Владимир Ильич». Я Ленина играл и ставил эту картину.

— Это вы! — только и могла проговорить я. — И Ленина?!

Ну конечно, я видела все эти картины, и некоторые даже по три раза. Поэтому мне и показались еще вчера на мосту такими знакомыми эти веселые, любопытные глаза.

— А теперь я новую одну штуку начал. Про Отечественную войну. Восемьсот двенадцатый год, труба-барабан! Видели? Это я со всей Москвы, со всех театров Наполеонов сегодня согнал. Пробую, какой лучше. Пока все не то, хрен и редька! Ничего, найдем и

Наполеона. Свет не без Наполеонов. А называться будет картина «Мужик сердитый». Здорово? А почему «Мужик сердитый»? Народное прозвище. Сперва так Наполеона звали сами мужики. Зря, говорили, наш царь мужика сердитого раздражил. А потом народ сам рассердился, и оказался наш мужик сердитый посильнее Наполеона. Понятно? Вы про Наполеона-то читали? Знаете вообще?

— Ну конечно!.. Хотя уж не так хорошо... У нас это еще в классе не проходили подробно.

— Ничего, мы с вами сами с усами. Все пройдем, огонь и воду. Так вот. Прогнали наши мужики, осердившись, вместе с армией, с Кутузовым, мужика сердитого — Бонапарта. Прогнали, наломали хвост и гриву как следует. Вот надо об этом картину сделать. Напомнить. И нам и другим.

Он встал и прошелся по комнате, позвякивая шпорами, отстегнул палаш, поставил его в угол.

— И вот там, в этом фильме, есть ролика одна, очень подходящая ролика: Устинья Бирюкова. Устя-партизанка. Была такая. И забыли про нее историки. Обошли девчонку. А я откопал. Рылся тут в разных материалах, в источниках, и вот вытянул ее на свет божий. Это была очень славная девчурка.

Он вдруг так хорошо улыбнулся, будто ясно представил себе, что за славная девчурка была эта Устя Бирюкова, его старая знакомая, и он вспомнил что-то хорошее, одному ему про нее известное.

— Я вот и портрет ее разыскал. Видите, тут написано: «Партизанка Устинья». Это старая гравюра, неизвестный художник.

Он снял со стены портрет моего двойника, сдунул пыль со стекла.

— Тут дело не в том, что вы похожи. В вас есть какая-то внутренняя общность. Ну как бы вам объяснить попроще? Вы, мне кажется, характером похожи. Понятно?

— У нее тут лицо чистое, а у меня... встречаются кое-где веснушки, — сказала я, рассмотрев внимательно портрет.

— Насчет веснушек история умалчивает... Не вздумайте выводить. Уж позвольте мне за это отвечать... Так хотите стать Устей? Ну?

Он весело вскинул голову и заглянул мне в глаза.

— Это для кино меня будут снимать?

— Вот именно.

— А у меня выйдет?

— У нас с вами должно выйти. Только предупреждаю: на полгода надо с головой, с сердцем, с печенкой в это дело влезть, иначе ничего не получится.

Он стал расспрашивать меня, как я живу, где наши работают, как я успеваю в школе. Я послушно отвечала, стараясь все время повернуться к нему левой щекой, так как все говорили мне, что я с этой стороны лучше.

Я все боялась, что он вдруг раздумает и скажет: «Вот, я рассмотрел вас как следует, вы не подходите».

— А почему вас называют Сан-Дмич?

— А это просто для сокращения: Александр Дмитриевич. Все равно так слышится: Сан-Дмич.

— А вы сами играть будете?

— Непременно. Есть и для меня одна подходящая ролишка. Денис Давыдов, поэт-партизан. «Анакреон под доломаном», — так о нем Вяземский, друг Пушкина, писал. — Поэт, рубака, весельчак!..» Сейчас!

Он ловко прикрепил усы, надел кивер.

Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер-чудо набекрень.

Это Пушкин о нем так сказал. А Языков добавил: «Наш боец чернокудрявый, с белым локоном на лбу». Про него даже Вальтер Скотт писал: «Блек каптэн» — черный капитан. И поэт это был замечательный.

— Мы его в классе еще не учили, — сказала я.

— Это поэт не из тех, которых учат. Он из тех, которых просто любят, помнят. Великолепный был малый, — добавил он вдруг очень просто и убежденно, — великолепный! «Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Вот Давыдов!» Это он сам о себе написал так в автобиографии. Правда, здорово?

Он вынул из стола большой портрет. Статный и пышный гусар был изображен там.

— Вот, знаменитый художник Кипренский таким его изобразил. А на самом деле он был вроде меня: курносый, маленький. И говорил писклявым голосом, хотя и старался басить. А как вы думаете, получится у меня? Он был адъютантом Багратиона, ну а у меня командир тоже неплох был... Я в гражданскую войну три года при Котовском состоял, с коня не слезал...

Тут стали входить разные люди. Появился опять высокий чернявый. Расщепей стал знакомить меня:

— Вот это Павлуша, Павел Иванович, оператор. Он вас сейчас попробует снять. Ну, с Ардановым вы уже знакомы. Это режиссер-лаборант, такой у него чин. А мы его просто для сокращения Лабарданом называем. Он не обижается... Верно, Лабардан?

Худой лысый человек со степенным, благообразным лицом, в белом халате, похожий на хирурга, подошел ко мне.

— А это наш гример, наш знаменитый Евстафьич... Павлуша, снимите пока ее так, без грима. Проверим, как на пленке получится.

Меня провели в небольшую комнату, где стояли большие зеркала и прожекторы. Павлуша, оператор, куда-то вышел на мгновение, а я, заметив, что на столике лежит коробка с гримом, схватила растушевку и для красоты — раз-раз! — быстро навела себе брови. Павлуша вернулся, ничего не заметил и усадил меня перед аппаратом. Явился Лабардан, они стали советоваться, как лучше меня снять.

— Меня снимать надо вот с этой стороны, мне так лучше, — предупредила я.

Жирный, вислогубый человек со смешным пучочком волос под носом заглянул в дверь, внимательно рассмотрел меня, пожал плечами и исчез. Но я услышала, как он что-то говорил за дверью. Послышался сердитый голос Расщепея:

— Слушайте, Причалин, не суйте вы в мои дела ваши рога и копыта!

— Однако вы же обещали племянку мою еще раз попробовать, — громким, обиженным и слегка квакающим шепотом отвечал Причалин. — Каково девочке! Ночей не спит...

— Я делаю картину, а не семейный альбом. Это уж вы ими занимаетесь.

Павлуша и Лабардан слушали, перемигиваясь.

— Но я видел, там Павлуша снимает сейчас! — шипел Причалин за дверью. — Ведь это же... Как ни говорите, публика любит, чтобы было на что посмотреть. Нужен же шарм, как называют французы! Обаяние... Именно шарм...

— Крутите эту шарманку под другими окнами, может быть, вам и вынесут что-нибудь, а у моих дверей не шатайтесь. А не то, Причалин, будут вам гроб и свечи. Понимаете это?

Павлуша, оператор, и Арданов были в восторге.

— Наш Сан-Дмич сам мужик сердитый, — говорили они и кивали на дверь.

Но дверь открылась, и они стали очень серьезными. Вошел Расщепей.

— Что такое? — сразу заговорил он, взглядываясь в меня. — Что вы с собой сделали? Сыворотка из-под простокваши! Она брови себе навела! Кто вас просил? Кому это нужно? Где Причалин? Пусть порадует... И что вы так надулись? Вы думаете, Устя должна быть зобатой?.. А ну-ка, сотрите ей ваткой!.. И не пыжьтесь, пожалуйста, сидите естественнее. Это

еще что за штуки?

Подошел гример и ватой с вазелином стер мои злосчастные брови.

— Вот, Евстафьич, — объяснил гримеру Расщепей, — на Устю будем пробовать.

— Отлично, — сказал Евстафьич и вынул записную книжечку. — Это будет у нас, значит, проба номер семнадцать. Веснушчатость будем убирать, Александр Дмитрич?

— Ни-ни! За каждую конопатинку головой мне отвечаешь.

— Учтем. На подбородок слегка тон положить надо?

— Это твое дело. Клади.

Но сперва меня переодели. В тулупчике, повязанная большим платком, я сразу сделалась такой похожей на Устинью-партизанку, что смотреть на меня сбежалось много народу. Все ходили вокруг меня, разводили руками и поражались сходству.

Потом меня снова поставили перед аппаратом.

— Дайте свет! — крикнул Павлуша.

И свет, плотный, горячий, непроглядный свет залил меня с головы до ног. Он жег щеки и слепил глаза. Он, казалось, лез в рот, я захлебывалась светом.

Перед самым моим носом Лабардан громко хлопнул одной черной дощечкой о другую. Я успела заметить, что на одной доске было начерчено мелом: «№ 17».

— Не морщиться, не морщиться!.. Вот так, повернитесь вправо. Засмейтесь теперь. Сено-солома, что вы так перекосились? Зубы у вас болят, что ли? Всем лицом смеяться надо, а не только ртом. Почему глаза не участвуют? Где глаза?

Я ничего не видела. Сплошная стена молочного обжигающего света стояла передо мной, и все голоса были по ту сторону стены и с трудом проходили сквозь нее.

— Который час? — услышала я вдруг голос Расщепей. — Милые мои! Мне же натуре надо ехать смотреть. Я с директором сговорился. Ну, вы чтоб тут без меня... Когда кончите, отправьте домой. Позвоните в гараж, машину вызовите.

— МБ 56–93, — сказала я.

И, осмелев, я рассказала, для чего мне понадобилось запоминать номер и как я боялась, когда ехала в машине. Все кругом захохотали... и внезапно стало очень темно. Выключили свет. Разом потухли все прожекторы. Погасли слепящие угли. Только там, на дне ламп, в зеркальных гранях еще тлели, остывая, красные точки. Сперва я ничего не могла разобрать в желтой темноте, а потом пригляделась и увидела, что Расщепей уже нет в комнате. И мне показалось, что это он унес из комнаты весь свет. Мне вдруг снова стало очень страшно.

— Теперь эпизод попробуем, в действии. Лады? — сказал Лабардан. — Слушай внимательно. Ты представь себя крепостной девушкой, и вот ты...

Он что-то говорил мне, но я плохо слышала его. Мне казалось, что режиссер, увидев, что я не гожусь, нарочно бросил меня здесь одну, и все вокруг меня были какие-то желтые, сумрачные, и трудно было поверить, что тут сейчас бряцал, сверкал и куролесил веселый гусар. Я сразу словно отупела. Долго бились со мной Павлуша и Лабардан. Я старалась вслушиваться, выполняла их указания, двигалась, как они велели, но сама слабо соображала, зачем я делаю все это.

— Ну, устала, видно, — пожалел меня наконец Павлуша. — Поезжай домой, отдохни. Завтра видно будет.

Меня вез обратно уже знакомый шофер. Он утешал меня:

— Что? Не пришлась впору?

— Они «до завтра» сказали.

— Всем так говорят — до завтра. Чтобы сразу, тычком не оглушить, готовят сперва... И видят ведь сразу, что не подходит. Нет, гоняют зря машину. А бензина нет. Бесхозяйственность!

Глава 6 Волшебник Сан-Дмич

Дома, должно быть, очень беспокоились, потому что, как только я вошла, мать, сперва еще не глядя на меня, крикнула в коридор:

— Поздно гуляешь, барыня!

А потом, когда я вошла в комнату, кинулась ко мне и вдруг, заметив что-то на моем лице, зашептала:

— Милые... Да она, никак, краситься стала!

Я подбежала к зеркалу. С меня плохо смыли грим. Желтоватые и розовые полосы украшали мою физиономию. Я бы ни за что не сказала матери, где я была, мне не хотелось до поры до времени делиться моей тайной, но подошел отец.

Он подошел ко мне, взял мою руку, притянул к себе и накрыл ее сверху другой ладонью:

— Симочка, ты что же это, как себе позволяешь?.. Мы тут сидим, ждем, беспокоимся... Это чем от тебя пахнет, Симочка?

И мне пришлось обо всем рассказать. Сообщение мое очень взволновало родителей. Решено было немедленно созвать семейный совет. Мне дали гривенник на автомат, и я побежала звонить. Через полчаса явилась Людмила со своим Камертоном.

— Допускаю, что налицо тут портретное сходство, — сказал Камертон, выслушав меня. — Этот шанс нельзя упускать. Он не часто выпадает. Буквально золотое дно! Только смотрите не продешевите, тут надо держаться на уровне требований.

Людмила была в полнейшем восторге:

— Господи, просто не верится: Симочка наша — и вдруг в кино представлять будет! Ай да Серафима!

— То-то! — усмехнулся отец. — Теперь Симочка-Серафимочка, а давно она у вас Сима-некрасима была?.. Я даром что слепой, а подальше вас вижу.

Решено было, что договариваться на кинофабрику пойдет с мамой настройщик, как человек бывалый и опытный по части искусства.

Когда я вошла на другой день в класс, на доске уже было выведено: «МБ 56–93». Это, должно быть, Ромка Каштан собирался выместить на мне свою вчерашнюю растерянность. И действительно, он, оказалось, уже сочинил целую историю про мою вчерашнюю поездку: будто меня послали ждать вызванное такси, а я деньги проела на мороженое и, когда машина подошла, так перетрусилась, что просила Ромку спасти меня и велела ему запомнить номер. Все очень потешались надо мной. Я отмалчивалась, и Тата даже обиделась на меня, что я скрываю от нее что-то. На уроке математики я не слышала, как учитель вызвал меня:

— Крупицына, о чем вы задумались? Повторите условия.

— Дан многочлен... — начала я.

— ...МБ 56–93, — громко подсказал с места Ромка.

В перемену я не выдержала и все рассказала Тате. Она обещала никому не говорить, но к большой перемене о моей вчерашней поездке знал уже весь класс. Меня окружили, на меня смотрели с любопытством, в котором недоверия еще было больше, чем уважения.

— Это тебя-то будут в кино снимать? — протянул насмешливо Ромка. — О, воображаю, воображаю себе звуковой мировой боевик «Гроза джунглей», в главной роли пятнистой гиены Серафима Крупицына!.. Мухами засиженная артистка республики! Знаменитая автомобилистка, машина МБ 56–93!

— Ладно, ладно, вот домой пойдем, увидите и машину.

На фабрике мне сказали вчера, что машину пришлют прямо в школу. Когда кончились уроки, я вышла к подъезду школы и стала ждать. Ребята тоже не расходились, им хотелось увидеть, как я поеду. Многие не верили, считали, что я прихвастнула.

Я очень волновалась: а вдруг что-нибудь случится с машиной, шофер не найдет школу? Тогда все пропало, ребята мне никогда не будут больше верить. Два часа... Машина должна была прийти в два. Два часа пятнадцать минут. Половина третьего. Машины не было.

— За тобой вон автобус целый подали! — смеялся Ромка, показывая на большой серый автобус, проплывший за углом.

Машины не было.

Ребятам надоело ждать, они постояли немного и стали расходиться.

— Вон карета «скорой помощи» идет, не за тобой? — насмехался Ромка. — Эх ты, воображала, хвост поджала!

Потом он ушел, распевая на всю улицу:

— «Воображала первый сорт уезжала на курорт...»

Я ждала до трех часов. Машина не пришла. Я решила ехать на трамвае.

Я добралась до кинофабрики через полтора часа. Александра Дмитриевича я застала в комнате, где висел портрет партизанки Усти. Лицо Расщепей было чужим и хмурым.

— А мы уже, собственно, не знали, посылать за вами или нет, — сказал он мне. — Ну, это, пожалуй, хорошо, что вы сами явились.

Он показал мне свернутую в ролик черную блестящую ленту.

— Что-то, понимаете, не очень хорошо получилось. Деревянность какая-то, пень-колода во всем... Это не годится. Мне казалось, у вас должно по-другому выходить.

У меня вдруг отяжелели плечи.

Расщепей внимательно посмотрел мне в лицо:

— Знаете что? Раз уж пришли, давайте еще раз попробуем. Вы только подумайте минуточку. Я вот вам сейчас расскажу задание и оставлю вас одну. Вы подумайте и вообразите себе... И пробоваться будете вместе со мной. Тема у нас, следовательно, такая: вот вы Устя, вы бежали из Москвы после пожара и встречаете отряд Дениса Давыдова... Вы его раньше знали немного... Вам жилось очень худо, совсем паршиво, гроб и свечи, вы натерпелись, намыкались, видели много тяжелого. Убийства, пожар Москвы... Домой вам возвращаться нельзя, там у вас осложнения, — я потом вам расскажу. Французы убили при вас человека, близкого вам человека. Вы хотите мстить. Понимаете? Вам очень хочется, чтобы вас взяли в отряд, чтобы Денис Давыдов принял вас к себе. Вы его просите. Умоляете. Вам ужасно хочется, чтобы вас взяли. Я вам сейчас не дам роли, вы говорите пока слова, которые сами к вам придут на сердце. Подслушайте их в себе. Вот, давайте так попробуем. Может быть, выйдет.

Меня снова одели в тулупчик, слегка подгримировали. Расщепей надел гусарский мундир Давыдова. Меня не торопили. Я целый час сидела одна в комнате, глядела на портрет Усти-партизанки, стараясь представить себе: вот это я, и я хочу, чтобы Расщепей... нет, не Расщепей — Денис Давыдов (но это все равно) принял меня к себе в отряд. Мне действительно очень хотелось, чтобы меня приняли.

Началась проба. На этот раз я уже не думала о жарком свете юпитера, об ослепительно молочной стене, которая отделяла меня от всего мира. Мне хотелось одного: чтобы меня приняли. И когда подошел ко мне в мундире Давыдова Расщепей, когда Лабардан крикнул: «Дайте тишину!», щелкнул дощечками и скомандовал: «Мотор!» — я, собрав все силы, стараясь говорить как можно убедительнее, как можно горячее, стала просить Давыдова — Расщепей:

— Пожалуйста, примите меня к себе, возьмите меня в свой отряд! Я буду очень стараться. Вы увидите, какая я. Заберите меня к себе. Вы только позвольте... Увидите потом. Вы не пожалеете, а я себя не пожалею.

— Что ты, родная? — говорил Расщепей, покручивая усы. — Поверь мне, война — не девичье дело. Здесь крестятся ведьмы и тошно чертям.

— Вы только возьмите! Увидите, как я буду служить. Я ничего не боюсь! — молила я.

— Стоп! — закричал Расщепей.

Свет потух.

— Уже гораздо лучше, — сказал Александр Дмитриевич. — Ну-ка, попробуем еще разок. Только теперь я сяду, а вы подойдите сзади и троньте меня за плечо. Вот так. Понятно?

И мы пробовали еще раз и еще раз. Гас и снова зажигался жемчужный свет прожекторов, опускались над головой серебряные лампы. Павлуша возил с места на место

свой аппарат, раздавалась команда: «Дайте тишину!.. Свет!.. Мотор!..» И я, партизанка Устя, молила Давыдова принять меня в отряд, и я упрашивала Расщепей взять меня на роль Усти.

И я уговорила!

Прощаясь со мной после пробы, Расщепей был снова по-прежнему весел и приветлив. Он дал мне бумажку со своим адресом и велел прийти к нему завтра вечером домой. Он обещал мне рассказать подробно о картине, познакомить со сценарием, объяснить мне мою роль.

На другой день меня в школе снова пытались дразнить, но я объяснила, что машина сломалась и не смогла приехать за мной. Ребята, кажется, не очень поверили, но мне теперь было все это безразлично, и я держалась так спокойно, что они сами отстали. Я с нетерпением ждала вечера.

Расщепей жил в большом новом доме за площадью Восстания.

Я думала, что такой знаменитый человек, известный всему миру, и жить должен как-то очень приметно. Мне казалось, что уже за несколько кварталов все прохожие должны чувствовать, что они приближаются к дому, где живет Александр Расщепей. Но во дворе две женщины, у которых я спросила, как пройти к Расщепею, не могли мне толком объяснить, где его квартира.

Двор был большой, асфальтированный. Прогуливали на цепочках собак, няньки катали коляски. И, громко вереща на весь двор роликами, мальчишки мчались по асфальту на самокатах. Я спросила их, как пройти к Расщепею, и они, конечно, сразу бросились хором объяснять мне, где живет Расщепей, как пройти к Расщепею, сколько ступенек до Расщепея, какая дверь у него.

— Расщепей?.. Сан-Дмич, народный СССР! — кричали мальчишки.

И я пошла по двору, окруженная ими.

Вокруг меня гарцевали на самокатах, мне показывали на окна верхнего этажа высокого дома. Меня подняли на лифте, и я позвонила у двери, на которой даже не было дощечки никакой. Мне просто не верилось, что за этой дверью и живет знаменитый режиссер. Открыла мне пожилая работница в белом фартуке, с кружевной наколкой на волосах.

— Сейчас, — сказала она, впустив меня, просунула голову в другую комнату и спросила: — Александр Дмитрич, вы у себя?

В переднюю вышел Расщепей в мягкой домашней пижаме со шнурами.

— Нет, я уже не в себе! Вы что же это опаздываете, сено-солома? Это не годится так с первого раза. Ах вы, Сима-Хама-Афета!

Он легонько ухватил мои косы и так повел меня в свою рабочую комнату.

Я ожидала, что увижу какую-нибудь необыкновенную обстановку, но тут все было очень просто. Во всю стену стояли книжные шкафы; книги, толстые и тонкие, в переплетах и в мягкой обложке, лежали всюду — на окне, на столе и даже на диване. Стоял огромный глобус, в двух вазах были свежие цветы. Висела большая звездная карта. Расщепей подвинул книги на большом диване в сторону, мы уселись, и он стал рассказывать мне о картине.

— Наша картина, — заговорил он, и я чуть не взвизгнула от радости, что он говорит «наша», считая уже и меня ее участницей, — наша картина — о народе, о гневном народе, о доблести простых людей, и ваша роль в ней — это тоже рассказ о судьбе девочки из народа.

И он рассказал мне про Устю Бирюкову.

Устя была крепостной дворовой девчонкой помещика Кореванова. Кореванов слыл просвещенным человеком и заядлым театралом. У себя в имении он построил театр, где играли крепостные артисты. В то время это было очень модно. Многие богатые помещики заводили свои театральные труппы. После спектакля артисты шли снова работать на конюшню, в девичью, на скотный двор и в кузницу. Расщепей показал мне старинное объявление: «Продается горничная девка, обученная куафюру, знает по-французски, с хорошим голосом и может искусно играть роли на театре, о чем и уведомляются любители ононого, а потом годится убирать господ и готовить хорошее кушанье. О цене справиться...»

И Устя Бирюкова, оказывается, была такой крепостной артисткой. Совсем еще маленькой она обратила на себя внимание барина: у нее был хороший голос, она отлично плясала. Ее стали обучать танцам и французскому языку, она пела куплеты и играла всевозможных амуров и зефиров. И вот однажды... Так рассказывал мне Расщепей, а сам в это время надевал на меня что-то вроде казакина и повязывал мне голову платком, отходил, прищуривался. Взглянув в зеркало, я уже не узнала себя. Я, словно по волшебству, превратилась в Устю Бирюкову.

И вот я — Устя Бирюкова, крепостная помещика Кореванова. 1812 год. Люди у нас на дворе говорят о мужике сердитом — Наполеоне. Не поладил с ним наш царь, и теперь идет мужик сердитый с огнем и громом на нашу землю. А наш барин, балующийся сочинительством и не раз уже писавший пьесы для своего театра, написал теперь новое представление:

«Нравоучительная аллегория о кровожадном корсиканце-разбойнике Средиземного моря и благодетельной пастушке Нимфодоре. С маршами, пасторалями, битвами, провалами и метаморфозами».

Роль Нимфодоры исполняю я, Устя.

Я должна спеть о честных сердцах и храбрых испанцах и потом провести среди зрителей сбор на ополчение.

К вечеру съезжаются приглашенные на спектакль соседние помещики. Перед самым спектаклем появляется неожиданный гость, черноусый и краснолицый гусар. Он отпросился у своего генерала, Багратиона, и скачет из Житомира, где он стоял, в армию. Наш барин уговаривает его передохнуть и посмотреть спектакль. Гусар неловко мнетя, глядя на пыльные ботфорты свои, и прислушивается к веселому говору, доносящемуся из гостиной...

Наконец он смущенно уступает.

— Я поклонник красоты во всех ее отраслях, — говорит он, потряхивая лохматой черной головой, на которой белеет седой локон. — Во всех отраслях — в юной деве или произведениях художеств, в подвигах ли, военном и гражданском, в словесности ли, — всюду слуга ее, везде раб ее, поэт ее!

Он еще больше краснеет и хмурится, когда хозяин представляет его гостям:

— Прошу, господа... Счастливый случай!.. Нас посетил Денис Васильевич Давыдов, славный залетный наш стихотворец!

Гости, глаза, толпой окружают гусара, и он, застенчиво улыбаясь в усы, рассказывает им походные свои истории, вспоминает, как в детстве его благословил Суворов.

«Это будет военный человек, — сказал великий полководец. — Я не умру, а он уже три сражения выиграл!»

— ...Я бросил псалтырь, — повествует Давыдов, — замахал саблей, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няньке и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество... Только розга обратила меня к миру и ученью... А семнадцати лет привязали меня, недоросля, к огромному палашу, опустили в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического моего гения мукой и треуголкой.

Помещики слушают развесив уши, а гусар, уже хвативший с дороги несколько стаканов вина, осмелев, стуча кулаками по столу так, что подпрыгивают тарелки и валятся бокалы, продолжает свой лихой рассказ:

— В юности я пострадал за «возмутительные» вирши... Что делать, господа! Рукописные лоскутки — утеха молодых, соблазн степенных. Музу я призывал во время дежурств своих в казарму, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню... Я не шаркун из гостиной. Я татарин по пращуру. А усы мои едва не примерзли в славном деле под Свеаборгом к хладным скалам Финляндии.

А потом, уступая просьбам почтенных гостей, он читает одно из своих известных залетных посланий:

Стукнем чашу с чашей дружно!

Нынче пить еще досужно:
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг отступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем.

Он грозно поводит очами и потрясает клятвенным бокалом:

Пусть мой ус, краса природы,
Черно-бурый, в завитках,
Иссечется в юны годы,
И исчезнет, яко прах!
Пусть... Но чу! Гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон — и в сечу! Вот
Пир иной нам бог дает,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Нут-ка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

Бушует гусар, бьет бокал о каблук, уже с усмешкой поглядывает на оторопевших гостей, но хозяин просит всех проследовать в театр.

И, цепляясь палашом за стулья, опрокидывая их, гусар бредет в толпе гостей смотреть аллегория и пастораль.

А я, Устя, все время слушала, как гремел диковинный гость, и поглядывала сквозь замочную скважину в дверях, а теперь, уже одетая к представлению, гляжу на него из-за занавеса и не замечаю, как подкрался Филимон, управляющий. Он больно дергает меня за ухо.

Зажжены все свечи. В парадизе, отделенном высоким барьером от чистой публики, сидят наши дворовые, а внизу, в креслах, расположились гости, и в первом ряду красуется нарядный ментик гусара.

Барин делает знак. Филимон толкает в спину дирижера.

Музыка! И представление начинается. Пастушок Степан Дерябин уже играет на дудочке, и меня, опять едва не зазевавшуюся, выталкивают на сцену.

Я пою куплет о цветах и любви, о благоденствии нашего края. Хитрый барин-сочинитель нарочно выбрал для аллегии испанцев, так как всем известно, что у Наполеона за Пиренеями дело не ладится и упрямые испанцы не хотят уступить Бонапарту свою свободу.

Разбойник злой, о корсиканец,
Тобой не утрашен испанец.

Начинается балет пастухов и пастушек. Но тут из-за прибрежных морских скал появляется кровожадный злодей, разбойник в странной треугольной шляпе, скроенной на манер наполеоновской. Я попадаю в плен, мне грозит смерть, но я держусь мужественно, потом спасаюсь бегством, потом поднимаю моих товарищей и подруг на борьбу с порабителем-разбойником. Как обещано в афише, начинаются марш, битва, провалы и

метаморфозы.

Кровожадный корсиканец-разбойник гибнет в море, и после заключительной пляски и метаморфозы я, уже в боярском кокошнике, выхожу на край сцены и призываю зрителей пожертвовать на ополчение, зову всех русских людей объединиться на борьбу с кровожадным корсиканцем, ступившим на нашу землю.

И тут летят кошельки на сцену, все вскакивают и хлопают, и громче всех кричит гусар. Он стоит в первом ряду, бьет ладонью о ладонь, кричит «Фор!» и бросает мне свой тощий кошелек. Потом под гром аплодисментов он выходит на сцену, высоко поднимает меня, потом снова ставит на землю и говорит:

— Я благословлен Суворовым, ты будешь благословлена Давыдовым.

Гости выходят из театра в парк.

Никто не заметил, как во время большого марша я, спутавшись, сбила шаг воинам на сцене и на миг расстроила ряды, и Степка Дерябин, шедший рядом со мной, чуть не упал и выронил копье.

Но барин все заметил.

Вот он медленно поднимается на сцену, пальцем подзывает меня и Степана.

— Не на театре, а на конюшне вам быть надлежит, косолапым!

И в пустом зале театра звонко раздаются две полновесные оплеухи — одна мне, другая Степану. Потом нас сажают на пустой сцене и подпирают нам шею рогатками. Так у нас наказывают в театре провинившихся актеров.

Гасят свечи в театре. Гремит засов. Мы остаемся одни, я и Степан. Слезы жгут мне опухшую щеку.

Из парка доносится музыка — это играют у пруда, где устроено гулянье и иллюминация.

— Давай убежим, — говорю я Степану.

— Некуда бежать, Устя.

— Попросим барина-гусара взять нас. Он веселый.

Возьются и пищат крысы под сценой. Очень страшно в пустом театре.

— Знаешь, Устя, — говорит Степан, — может, врут это всё про французского царя, про Наполеона этого? Говорят, от него подметные письма были, он нам, крестьянам, волю дать хочет.

— Бежим, — говорю я, — хуже не будет.

Но проходит час, другой, рогатки впиваются в шею, спать нельзя... Скоро я уже не чувствую боли, слабость и дурнота одолевают меня. Я слышу, как где-то, словно очень далеко, Степан кричит:

— Скорее, скорее! А то удавится, она уже зашлась вся...

... — Ну, Саша, будет на сегодня.

Я открываю глаза. Высокая пышноволосая женщина со строгим и прекрасным, но странно подергивающимся лицом стоит около меня. Это Ирина Михайловна, жена Расщепей. Она вошла к нам в комнату, где мы репетировали. Я не сразу прихожу в себя. Волшебник Расщепей! Он заставил меня поверить во все, что рассказывал, и сам он то делался Денисом Давыдовым, то изображал барина, то, подставив стул, превращался в Степана, бьющегося в рогатке... Смущенно я гляжу на Ирину Михайловну, которая протягивает мне руку, знакомясь.

— Ну, еще чуточку! — упрасивает Расщепей. — Одну сцену.

— Хватит, хватит! Меры не знаешь. Смотри, ты и ее замучил.

— Нет, нет, я ни капельки!

— Ему нельзя, — объясняет Ирина Михайловна, — нельзя ему так. У него сердце никуда не годится.

— И все врешь, и все ты врешь!

Александр Дмитриевич хватает жену за руки, быстро вертит ее по комнате. Она смеется, сердится, отбивается:

— Александр, ты с ума сошел!.. Честное слово... Трехлетний ребенок и то...

А он уже сам сел и обмахивается книгой.

— Вот видишь, уже одышка. Нельзя тебе.

Она зовет нас пить чай и уходит, чтобы собрать на стол. Расщепей открывает стеклянную дверь и выводит меня на балкон.

Стоит безветренный, теплый вечер, снизу доносится легкий запах бензина и копоти. Даже отсюда, с высокого здания, с холма, не видно конца-края городу. На самом горизонте мерцают его огни, над крышами, поверх труб и башен, плывет слитный рокот, взвизгивают трамваи на поворотах, бегут над улицами голубые вспышки, легонько тьявкают внизу машины, откуда-то издалека с едва заметными порывами пахучего весеннего ветерка доносятся паровозные гудки у вокзалов. И внезапно совсем близко, под нами, раздается глухой бархатный рык.

— Это, вероятно, льву приснился дурной сон. Тут ведь по соседству Зоопарк, — говорит Александр Дмитриевич. — А вон, видите, отсвечивает купол? Это Планетарий. Я в плохую погоду хожу в Планетарий. В хорошую ночь и надо мной тут звезд достаточно. Видите, вот это Кассиопея. Вот, вот. Станьте так и смотрите на мой палец... — И звезда послушно, как ручная птица, садится ему на палец. — Я, Симочка, всю жизнь мечтал стать астрономом, а вот не вышло. Наверно, уж открыл бы в небе что-нибудь путное, а сейчас только юпитером команду да кинозвезды нахожу... — И он легонько щелкнул меня по носу.

Скоро нас позвали к столу. За ужином я очень робела, и Александр Дмитриевич развлекал меня — рисовал в воздухе папиросным дымом тающие узоры, показывал смешные фокусы с салфеткой. И простая салфетка совершала чудеса у него в руках. То он делал из нее бороду, то заячьи уши, то пышные усы, потом повязывал голову и превращался в мавра.

Работница Ариша, красная от натуги, принесла высокий кипящий самовар. Расщепей торжественно приветствовал его:

— О, вот он, пылкий рыцарь в серебряных латах! Смотрите, это тяжелый конник в доспехах, кран — конская голова, видите? Вот эту линейку мы ему вставим в ручку — это будет копьё. Конфорка — это забрало и шлем, и страусовым пером — пар!

И обыкновенный самовар на самом деле оказался неожиданно похожим на большого, тяжелого рыцаря.

А потом меня повезли домой. Мы поехали на маленькой зеленой машине Расщепей. Машина была спортивная, двухместная.

Мне пришлось сесть сзади, на откидное сиденье в люке.

— Ничего не попишешь, такая уж система эта: двое сохнут, двое мокнут, — смеялся Расщепей.

Он сам отлично вел машину, и вскоре мы уже мчались с такой быстротой, что у меня сладко захватило дух.

— Саша, не гони, я тебя прошу, — говорила Ирина Михайловна.

Но он не слушал ее. Мелькали цветные огни светофоров слева и справа, слева и справа пролетали матовые, добела раскаленные ядра фонарей. Улицы, расходясь, отслаивались, и переулки мелькали по обеим сторонам машины... Так, я видела потом, мелькают клинки у скачущих на рубку кавалеристов. А я сидела себе сзади одна в уютном люке, смотрела в спину Расщепею и его жене, ветер дул между ними мне в лицо, в ушах гремел плотный ветер, и мне было так весело, так хорошо, что, жмурясь и тряся закинутой головой, я тихонько повизгивала:

— И-и-и!..

Глава 7 Великая маета

И началась работа!..

После того как дирекция кинофабрики прислала в школу письмо с просьбой отпустить меня с последнего урока на сбор группы фильма «Мужик сердитый», в классе уверовали.

В перемену все обступили мою парту:

— Симка! Неужели ты в кино будешь участвовать?

— Вот это так Крупицына, ребята!

— Симочка, а как же учиться? Бросишь?

— Сказала тоже! Одно другому не мешает.

— Ну, Симка, и счастливая ты, я тебе скажу!..

— Да, это выкинула номер!

— Крупицына, а картина звуковая будет?

— Нет, видовая, — ехидно заметил Ромка. — Научно-популярная — санитария и гигиена. Крупицына будет исполнять роль пятновыводительши...

— Помолчи, Каштан, хоть раз в жизни, — степенно остановила его Соня Крук.

— Ребята! — закричала, проталкиваясь ко мне, Катя Ваточкина. — Я считаю, мы все должны помочь Симе, просто обязаны, я считаю... Нет, серьезно! Снимать ее кто будет? Сам Александр Расщепей, народный СССР, на весь мир известный. Значит, все станут, вот увидите, говорить: «Крупицына? Из какой это школы Крупицына? Из какого она класса?» И всякое тому подобное. А мы будем очень красиво выглядеть, если Симка у нас поплывет по математике и по другим...

— Большому кораблю — большое плавание, — негромко отозвался Ромка.

— По-моему, неуместно... Я говорю, мы должны, ну просто обязаны по очереди помогать ей, чтоб она не отстала... Ромка, помолчи! В конце концов, пионер ты или нет, одно из двух?!

— Два из одного, — не растерялся и тут Ромка. — Я готов помогать Крупицыной один по двум предметам. Только с условием, что потом буду ходить бесплатно в кино и чтоб на афише было написано: научная дрессировка известного бесстрашного укротителя Р. Каштана.

Я вскочила и погналась за увернувшимся Ромкой. Мне помогала Катя. Соня снисходительно следила за нашей возней.

— Караул! — кричал Ромка. — Дикие звери на свободе!.. Спешите видеть! Дразнение и кормление ежедневно от часу до двух!

Так мы его и не словили. Запыхавшись, отдуваясь, вернулись на место и пообещали Ромке, что изловим его все равно и отлупим рано или поздно.

Я грозила ему издали кулаком, но мне самой было смешно, и шумела я больше по обязанности. На другой день Тата сказала мне:

— Ну, если уж тебя снимают, Симка, то меня-то уж факт возьмут. Если ты настоящая подруга, сведи меня туда, к твоему режиссеру.

Сказать откровенно, мне не очень хотелось знакомить Тату с Александром Дмитриевичем. Мне жалко было показывать его другим... Конечно, его знали миллионы людей — все видели его картины, — но я знала его теперь не на экране, а в жизни, дома и на работе, знала, как он шутит, как огорчается или бранится («сено-солома», «рога и копыта»). Никто в классе у нас этого не знал и не мог знать... Но я понимала, что это не очень похвальное чувство, и, когда Тата попросила меня познакомить ее с Расщепеем, я не могла отказать. Это было бы не по-пионерски и просто не по-товарищески, да и сама я в душе считала Тату красавицей. Вероятно, ей найдется какая-нибудь роль в картине.

Хотелось мне показать также Тате, как я запросто разговариваю со знаменитым человеком. И я стала просить Александра Дмитриевича, чтобы он посмотрел мою подругу. Расщепей не проявил большого интереса.

— Ну что ж, приводите, если хотите, — сказал он равнодушно, — поглядим.

А сама я немного боялась: вдруг Тата сразу затмит меня и Расщепей поймет, что мне с моей физиономией и соваться в кино нечего?

Однажды прямо после школы мы с Татой отправились к Александру Дмитриевичу. Мы

посидели у него в кабинете около получаса. Он показывал нам кокосовые орехи, бумеранги, копия папуасов, индейские уборы из перьев — множество интересных вещей, привезенных им из путешествий по Америке и Африке. Потом Расщепей встал и деловито сказал:

— Ну, контора, пора за работу.

И подал руку Тате. Она поняла, что он прощается с ней, вспыхнула вся, уничтожающе взглянула на меня и ушла.

— Хорошая подруга, очень хорошая подруга, — задумчиво проговорил Расщепей, когда мы остались одни.

— Вам понравилась она?

— Нет, я говорю, вы хорошая подруга... Я все понимаю, Симочка. А она, может быть, и очень славная девочка, только в кино ей делать нечего. Смазливенькая мордашка, больше ничего. Ну, займемся.

Теперь, когда он так сказал о Тате, мне вдруг действительно совершенно искренне захотелось, чтобы он как-нибудь устроил мою подругу сниматься. Меня уже по-настоящему огорчало, что Тата совсем не понравилась Расщепею. Но, когда я еще раз попробовала сунуться с этим к Александру Дмитриевичу, он хмуро остановил меня и попросил не заниматься благотворительностью.

Я теперь вообще нечаянно сделалась большой персоной. Дома меня считали влиятельным лицом. После того как договор о моем участии в картине был подписан мамой, Людмилин настройщик, заходя к нам, стал заискивающе обращаться ко мне:

— Симочка, ты бы поговорила там, на фабрике, замолвила словечко. Может, им нужен хороший настройщик. У них ведь есть инструменты. Я бы пошел работать в культурную обстановку.

Людмила неумоимо, заранее уже готовая восторгаться, расспрашивала, как живет Расщепей, какая у него квартира, какие платья носит Ирина Михайловна. Только отец ничего не расспрашивал — он ждал, что я ему сама все расскажу. И, вернувшись от Расщепея или со съемки, я бросалась на кровать, а отец садился рядом, прикладывал мне на обожженные светом глаза холодные борные примочки и шутил, чтоб скрыть свое беспокойство:

— Ну вот, оба мы теперь с наглазниками. Сравнялись. А ты бы, Симочка, поберегла как-нибудь глаза-то. Это ведь не шутки.

Я каждый раз рассказывала ему о том, что делалось на фабрике, какой кусок мы репетировали или снимали, как поживают Устя и Денис Давыдов и что замышляет Наполеон. Я очень уставала и была занята весь день. Расщепей прикрепил ко мне специального репетитора, который следил за тем, чтобы я не отставала от школы. Затем я должна была брать уроки старинных танцев. Меня обучали французскому языку ради песенки-куплета, который я должна была исполнять в фильме. Два раза в неделю я обязана была посещать с Расщепеем манеж. Сам Расщепей был превосходным кавалеристом, в седле сидел как влитой; он знал толк в лошадях, любил их и заставлял меня часами упражняться в верховой езде. Но как ни билась, а лихой всадницы из меня не получалось... И я по ночам иногда даже плакала из-за этого. Мне седлали кроткую и задумчивую кобылу Гитану, которую в манеже все звали попросту Гитарой за ее длинную шею и широкий зад. Но и с нее я ухитрилась два раза свалиться, причем бедная моя, добрая Гитара выглядела в эти минуты еще более сконфуженной, чем я. Она сразу останавливалась и виновато косила на меня темным глазом, пока я подымалась, выплевывая опилки... Хорошо хоть, что меня не видел при этом Ромка Каштан.

Работал сам Расщепей с неистощимым азартом и нас всех увлекал за собой. Он таскал меня, Павлушу и Лабардана по музеям, рылся в старинных гравюрах, водил нас в картинную галерею, заставлял читать толстые книги о 1812 годе и ругательски ругал своих помощников, если ловил их на том, что они не всё внимательно прочли. Приходя на фабрику, я никогда не спрашивала, тут ли Александр Дмитриевич или еще не приехал: по тому, как торопливо говорил со мной Павлуша, как носился по коридору Лабардан, как озабоченно заглядывал в

комнату гример Евстафьич, можно было безошибочно установить: Расщепей где-то тут, поблизости.

Он не знал жалости и снисхождения к себе.

— Не выходит, не получается, не так это все! — бормотал он и внезапно останавливал репетицию, уходил мрачный к себе, сидел один, стиснув виски кулаками, потом вдруг вскакивал: — Лыко-мочало, снова! — и по десять, двадцать, тридцать раз репетировал, пробовал один и тот же кусок, И на съемках все подчинялось ему, все — от директора фабрики до осветителя — трепетали перед нашим режиссером.

В июне Расщепей снимал Бородинский бой.

Сперва в студии были сняты отдельные эпизоды боя, те, что не требовали большого пространства.

Я была, когда Александр Дмитриевич снимал утро Бородинского сражения: Наполеон выходит из шатра и отдает приказ своей армии двигаться на русских: «Вперед, откроем ворота Москвы!» Над русским лагерем восходит солнце. Император поднимает руку и произносит, весь залитый багровым светом восхода: «Вот оно, солнце Аустерлица!»

Сорок семь раз счетом вынужден был произнести эти слова запарившийся Наполеон. Сорок семь раз всходило в этот день солнце Аустерлица.

Сняты были сцены с Кутузовым, отдельные моменты боя на Багратионовых флешах. Теперь осталось снять общую панораму сражения. В съемках должны были участвовать несколько тысяч человек, конница и артиллерия. Целую неделю шли репетиции на выбранной для этого местности.

— «И вот нашли большое поле: есть разгуляться где на воле! Построили редут...» — напевал довольный Расщепей, возбужденный подготовкой к большому дню.

Мне позволили присутствовать при съемке. Павлуша заехал за мной на рассвете. Минут через сорок мы были на нашем «Бородинском» поле. Несмотря на то что было раннее утро, зной уже стоял над полем. Небо было ясное, слегка белесое от жары. С холма, откуда должна была производиться общая съемка боя, хорошо была видна вся местность.

На поле были построены редуты и флешы, в разных концах его уже ржали лошади, сидели на земле тысячи людей, одетые в форму французских и русских солдат времен Отечественной войны.

Во всех пунктах поля, скрытые за редутами, ретраншементами и насыпями, спрятались наши операторы. Они должны были снимать бой с близкого расстояния и как бы изнутри. А на холме расположился со своей разнообразной и сложной машинерией главный оператор, белозубый, уже успевший загореть до черноты Павлуша. Тут же был установлен столик с полевыми телефонами, которые связывали командный пункт со всеми точками поля. Все это походило на подготовку к какому-то настоящему большому сражению.

От того, что я рано встала, от молчаливого, напряженного ожидания, в котором находились тысячи людей, меня, несмотря на жару, стало чуточку познабливать.

Но вот на поле показалась знакомая всем нам приземистая зеленая машина. Она мчалась мимо укреплений. За рулем сидел человек в белом. И там, где появлялась машина, люди вскакивали с земли, окружали ее. Машина трогалась дальше, неслась по полю, собирала вокруг себя следующую группу. Это Расщепей делал последний объезд своих войск. Через несколько минут он поднялся к нам на холм. На нем был белый тропический шлем, легкий полотняный костюм, рукава были засучены, он держал большой полевой бинокль. Он подошел к аппарату, приложился, отдал короткие распоряжения, проверил телефон. Слова и движения его были в это утро особенно точны, и все это подтягивало окружающих, делало их серьезными и взволнованными. Никто не улыбался.

К холму подъехали два всадника. Один — маленький, коренастый, нахохленный, в треугольной шляпе, другой — тучный, седой, в фуражке-бескозырке. Это были актеры, исполнявшие роли Наполеона и Кутузова.

— Почему вы не на месте? — закричал им с холма через рупор-мегафон Расщепей. — Вам тут делать нечего, через десять минут сигнал. Марш, марш! Все на своих пунктах!

И два великих полководца повернули своих коней, послушно разъехались и затрусили по полю. Наполеон — в одну сторону, Кутузов — в другую.

И, честное слово, мне, да и, наверно, всем нам — и Павлуше и Лабардану, — всем в эту минуту Расщепей казался самым великим из всех полководцев мира. Вот он расхаживает перед нами в белом шлеме, и по одному его знаку загремят сейчас пушки, все придет в движение. И это он, волшебник, снова посадил на коней Кутузова и Наполеона и позволил людям увидеть то, что было сто двадцать шесть лет назад.

Накануне уже все было отрепетировано. Теперь ждали условного сигнала, войска стояли на исходных позициях. Расщепей поднял тяжелый бинокль к глазам, медленно оглядел поле. На секунду оторвавшись от окуляров, не опуская бинокля, он посмотрел на часы, что были у него на руке, потом быстро подошел к столу и нажал кнопку на ящике. Где-то далеко затрещали звонки, на столе загорелась красная лампочка. Стало очень тихо.

— Павлуша, — негромко сказал Расщепей, — начнем, пожалуй. Сено-солома, была не была!

Лукаво оглядел нас всех и снова нахмурился. Потом вдруг, глядя куда-то в сторону, поднял руку и резко опустил ее.

Фрр-шт!.. Вам!..

Над полем, шипя и расверкивая брызги неяркого огня, повисла ракета. Вдалеке пушки беззвучно выдохнули пламя, и спустя мгновение волна воздуха тронула уши. Загрохотало. Взорвались петарды в разных концах поля, набухли, раздались вширь, просквозили огнем желтые клубы дыма, стали пепельными, закосматились черным. Заржали лошади. Сомкнутым строем, распустив знамена, блистая штыками, сквозь дым двинулись войска. Начался Бородинский бой.

Павлуша припал к аппарату, вращая ручку. Ассистенты склонились над телефонами. Расщепей стоял на возвышении, дирижировал боем, отдавал приказания ассистентам. По телефону его приказы уходили в разные концы поля. На поле шел рукопашный бой, медленно поднимался густой дым; здесь и там возникали слепящие красные вспышки остроугольного пламени.

— Первый отбой! — скомандовал Расщепей. — К чертям годится... Убрать поле, через пятнадцать минут повторим снова, лыко-мочало!

Он снял шлем, вытер платком вспотевшую шею и лоб, сел на угол стола. Какие-то люди, одетые во французские мундиры, бежали к холму.

— В чем дело? — крикнул им через мегафон Расщепей.

Те бежали, не отвечая. Когда они приблизились к командному пункту, из группы подбежавших вышел вперед высокий человек в гренадерском мундире.

— Товарищ Расщепей, — сказал он, вытянувшись во фронт, — превеликая к вам просьба от всех ребят. Ведь это как-никак несправедливость получается: почему же всё мы да мы французы? Дозвольте хоть раз за русских сняться.

— Нельзя, нельзя, — сказал Расщепей. — Вы мне график сегодня сорвете. Маршируйте на место.

— Товарищ Расщепей, — не унимался гренадер, — ведь это же просто получается довольно обидно! Ведь народ кино смотреть будет, а мы всё французы, словно прикаянные.

— Будет вам дурить, сено-солома! — закричал вниз Расщепей. — Этак ко мне сейчас Наполеон явится, попросит его Кутузовым назначить!

И через четверть часа снова прочертила небо сигнальная ракета, и снова двинулись в дыму, огне и шуме сражения французские и русские войска по приказу великого полководца Расщепея. Мне минутами становилось страшно — так это было похоже на настоящие сражения, по крайней мере на те, что были нарисованы на картинах...

И мне захотелось, чтоб Расщепей скорее кончил все это, пошутил бы со мной, помог мне убедиться в том, что все это происходит не на самом деле, а лишь как будто... Я заглянула в лицо Александру Дмитриевичу. Глаза его были закрыты окулярами бинокля, втиснутыми под брови. Но меня поразила бледность его лица, выражение боли и ярости.

Губы его были искривлены немного и быстро шевелились. Гром взрывающихся петард, крики «ура», команды ассистентов сливались в тревожный оглушающий гам, и я не могла разобрать, что он шепчет. Но вот он отнял бинокль от глаз и заметил меня:

— Вот так, Симочка... вот так они пропадали, наши... Навалом клали... А держатся как, держатся как!.. Родные вы мои! Как врытые стоят!

Он вдруг резко мотнул головой, провел быстро рукой по лицу, будто паутину снял, смущенно покосившись на меня, кинулся к телефону.

— Фу ты, простокваша я!.. На самого нашло. Отходите! — кричал он в телефон. — Вы уже должны оставлять флешки! Какого шута вы уперлись там? Путаєте мне! Что значит — не хотят отдавать флешки? Здорово живешь, сено-солома! Я ж не виноват, что так было. Репетировали, репетировали — и пожалуйте!.. Что значит — увлеклись? Я приказываю немедленно отступить... Видали? — обратился он ко мне, повеселев. — Так вошли в роль, что не хотят отходить ни на шаг.

Жара была нестерпимая.

От дыма и пыли поднялась и повисла над полем душная мгла.

Приходилось прерывать иногда съемку, чтобы дать отстояться воздуху, рассеяться пыли и копоти.

Вдруг, случайно взглянув на Александра Дмитриевича, я заметила, что лицо у него стало совершенно серым, он как-то неловко согнулся и, не отпуская мегафона, свободной рукой хватался за левый бок.

— Александр Дмитриевич, вы что?

Продолжая командовать в рупор, не оглядываясь, лишь скосив в мою сторону свои яростные глаза, он легонько оттолкнул меня рукой назад. Пальцы у него были как лед и влажные...

— Александр Дмитриевич, — не унималась я, — вы же совсем больной, я сейчас покричу кого-нибудь!

Тогда он быстро поставил мегафон, схватил меня левой рукой за руку и сердито прошептал:

— Тихо! Что за крик!.. Ничего, уже отпускает. Сердце немного было... припадок. А вы ни слова. Цыц! Пройдет. А то график сорвем, день-то сегодня — золото. Жди потом такого.

И вдруг снова закричал молодым, звонким голосом в мегафон:

— Егерский, егерский, куда заходите? Режетесь, в кадр не попадаете! Держитесь вешек!

Потом ему, должно быть, стало опять плохо... Он дернул ворот, распахнул рубашку.

— Черт знает, гроб и свечи... Никуда я, верно, не гожусь. Позвоните, Симочка, вон по тому телефону от моего имени, чтобы девятый пункт сейчас начал крутить. У них сейчас там хорошая атака идет... А потом, когда я скажу, нажмете эту кнопку.

Его бледность заметили вскоре и другие. Напрасно Лабардан и Павлуша упрашивали, чтобы он ушел отдохнуть. Он и слушать не хотел. Съемка продолжалась.

Он сидел на краю стола, около телефонов, охватив руками колени, тяжело, со стоном дыша сквозь стиснутые зубы, иногда пригибаясь от боли. Его уговаривали, чтобы он лег хотя бы.

— Нельзя, нельзя, — твердил он. — Не наводите паники, пожалуйста! Как увидят, что меня нет, так пойдет халтура, рога и копыта! Что я, не знаю, что ли? Давайте дальше.

А потом он оглянулся на меня, поймал меня за локоть и подтянул к себе:

— Ничего, Сима-победиша, еще поживем, труба-барабан! Завтра будем эпизод с Устей в Кремле снимать. Я там интересные вещи придумал, как это сделать... Только вы это... смотрите Ирине Михайловне насчет меня ни-ни... Ну что вы на меня так испуганно смотрите? Вы что думали, это игрушки? Нет, дружок мой, это тяжелый труд... топор и пила... пот и слезы, великая маета искусства...

Когда уже солнце начало склоняться, когда основные сцены сражения были готовы, его почти силком усадили в машину. Верные адъютанты его, Павлуша и Лабардан, вскочили с

обеих сторон на подножки, и, бледный, задыхающийся, с запекшимся ртом, который все еще силился улыбнуться, с запавшими глазами, откидываясь минутами на подушки машины, он ехал по полю, изрытому петардами, и тысячи людей, одетых в старинные мундиры русских и французских солдат, махали ему вслед, подымали тяжелые знамена, провожая его, как полководца, сраженного в бою, но победившего.

Глава 8 Цветы Бородина

Расщепей слег. И так непривычно тихо, так пусто было без него на фабрике, что и мы все говорили вполголоса, словно больной был где-то здесь, рядом с нами, и мы могли повредить ему шумом. Печально бродил по коридорам фабрики молчаливый Павлуша, хмурился присмиривший Лабардан, и только вислогубый Причалин, который явно побаивался Расщепей и избегал его, ожил, словно воспрянул духом. Он теперь заглядывал в комнату нашей группы, просил показать ему пробы, заговаривал со мной:

— Как тебя, кстати, звать, девочка?.. Серафима? Ах, вот как! Да, каюсь, каюсь, я буквально ошибся в тебе. Факт! Не вник... А ты вон какова!..

Убедившись, что Лабардана и Павлуши поблизости нет, он уже по-приятельски поучал меня:

— Расщепей, конечно, даровит, спору нет. Только смотри не потакай во всем, не теряй своего лица.

Я сперва не понимала, о чем это он.

— А Александр Дмитриевич и так меня гримировать почти не позволяет, только чуточку самую.

— Эка ты бестолковая какая! Я не к тому клоню... Эти так называемые великие режиссеры — они деспоты. Они обезличивают всех вокруг себя, калечат, а когда картина готова, оказывается, видно только их и больше, увы, никого. Это я тебе просто по-дружески, по-таковски.

И, завидя приближающихся Лабардана и Павлушу, спешно откланивался.

— Будьте счастливы, товарищи расщепеевцы! Лихая вы команда, молодцы! Вояки вы, честное слово. Ну, киваю!

Лабардан сверкал ему вслед своими глазищами. Мне очень хотелось навестить Александра Дмитриевича. Пользуясь тем, что съемки из-за его болезни не производились, я поехала на пригородном поезде до остановки, где было поле «Бородинского боя». Укрепления еще не были разобраны. Я бродила среди насыпей, траншей и рвов. Помятая трава уже встала. Над полем теперь мирно трещали кузнечики, и там, где на днях в дыму носились знамена, порхали сегодня пестрые крапивницы. Я нарвала большой букет тимофеевки, золотистых лютиков, душистой кашки и шалфея. В некоторых местах поля трава выгорела от взрывов, и я нарочно добавила к букету пучок пожелтевших, обуглившихся былинков. Потом я вернулась в Москву. Но к Расщепею меня не пустили. Работница Ариша встретила меня не очень приветливо и сказала через цепочку двери:

— Он у себя, только больной лежит. Может, другой раз зайдете?

Но тут послышался голос Ирины Михайловны:

— Ариша, вы с кем там? Впустите.

Ариша, ворча, впустила меня в переднюю. Я увидела спокойное, но слегка осунувшееся лицо Ирины Михайловны.

— Вы хотели Александра Дмитриевича навестить? Знаете что, лучше не надо. Ему необходимо отлежаться как следует, а он ведь с вами сразу начнет опять выдумывать всякие штуки для фильма. Я ведь его знаю. А цветы я ему передам, он очень любит цветы. Ух, какая прелесть! А это вы что, спалили?..

— Нет, нет, — испугалась я, — вы это скажите ему... Это цветы с нашего Бородина. Я туда нарочно ездила сегодня и нарвала.

Мне показалось, что Ирина Михайловна улыбнулась мне одними глазами, но лицо у нее по-прежнему оставалось строгим.

Вернувшись домой, я написала письмо Александру Дмитриевичу.

«У Вас, конечно, очень много друзей, — писала я, — но, к сожалению, не все они уж такие верные. А я, знаете, буду Вам всегда самый верный друг. Теперь со мной может случиться какая угодно беда. Пусть! Мне уже ничего не страшно, потому что я узнала, что на свете есть такие люди, как Вы. Пожалуйста, не болейте, а то Лабардан и Павлуша уже начинают ссориться без Вас. А я без Вас совсем не могу. Ваша Сима».

Я два раза переписывала это письмо и старалась не делать переносов со строки на строку: у меня с ними дело всегда не ладилось...

Я эти дни подолгу бывала дома и узнала о некоторых вещах, которых прежде не замечала. Оказалось, что у отца с мамой последнее время были ссоры из-за меня. Отец требовал, чтобы деньги, которые платила кинофабрика маме, для того чтобы я могла усиленно питаться, тратились только на меня. Меня так захватила работа в группе Расщепея, что я совсем не думала об этих делах. Я брала у мамы немножко денег, чтобы покупать в буфете фабрики бутерброды и сласти, но так как меня всегда угощал Расщепей, то я тихонько откладывала эти деньги, копя их, чтобы купить папе хороший радиоприемник «СИ». Я уже давно задумала это. Но скоро у нас на столе появилась новая скатерть, и вот из-за этой-то скатерти отец и рассорился с мамой. Он считал, что деньги заработаны мной, и кричал, что не позволит мне работать на всех. Я еле успокоила его, уверив, что сама хотела подарить что-нибудь маме.

А тут еще настройщик Арсений Валерианович услышал, что на другой кинофабрике какой-то девочке платили больше. Он сейчас же сообщил об этом маме.

— Этого нельзя позволять! — возмутился он. — Надо, чтобы Симочка извлекала из этого практическую пользу.

Он подбивал маму, чтобы она потребовала у фабрики прибавки, но тут молчавший обычно отец стукнул кулаком по столу так, что попал прямо в блюдечко для варенья и разбил его.

— Никуда ты, мать, не пойдешь! Вы что, на этом деле Симке приданое составить хотите, что ли? Скатерти завели, салфет вашей милости!..

И вдруг, совсем рассердившись, схватил и сдернул со стола на пол новую скатерть, так что мать еле успела подхватить поднос с посудой.

Три дня не было Расщепея, на четвертый он появился, и сразу все пошло колесом на фабрике. Засиял тихий Павлуша, забегал неугомонный Лабардан, собрались актеры. Увидев меня, Расщепей закричал:

— А ну-ка, идите сюда, я выдеру вас за косы! Вы чего это мне цветочки посылаете? А знаете, товарищи, — обратился он вдруг к собравшимся, — сия мудрая девица надоумила меня сделать одну интересную вещь. Мы снимем обратный проход наполеоновской армии через поле Бородина. Вы только представьте себе... — Он вскочил и возбужденно заходил по комнате. — Огромное поле, луна (это уж Павлуша снимет!), груды разбитых орудий, взорванные лафеты, не убранные еще трупы, конские туши и воронье. Тишина, тяжелый солдатский шаг, и только вороны: «Каррр, карр...» И армия уходит из Москвы... Идут несолоно хлебавши... А всё ваши обгорелые цветочки, Сима.

Когда все ушли на съемку и мы остались вдвоем с Расщепеем, он подошел ко мне, положил обе руки мне на плечи и внимательно посмотрел в глаза.

— Старый я уже тарантас! — И он взъерошил свои редкие, седеющие волосы.

— Александр Дмитриевич, — сказала я и прокашлялась, так как голос изменил мне, — я, наверно, ужасная дура... но мне до того хочется сделать вам что-нибудь хорошее! Я даже сама не знаю что. Вот если бы у вас были дети, я бы в няньки к ним пошла, честное слово...

— Да, детей у нас нет, — нахмурившись, быстро проговорил Расщепей, — кино взяло. Был сынишка — недоглядели. Пришлось уехать в срочную экспедицию, «Лейтенанта

Шмидта» снимал. Вам сколько сейчас?.. Тринадцать? Товарищ бы был. Ирине Михайловне не напоминайте об этом. Она ведь, Сима, тоже снималась. Прекрасная была актриса. А вот после этого тик нервный начался... и нельзя ей сниматься...

Он замолчал. А я не знала, какие слова мне нужно сказать теперь. Я, как мне казалось, очень глупела при Александре Дмитриевиче, часто хихикала невпопад, вдруг начинала ломаться. И сама чувствовала, что говорю не так, не то, но меня сносило куда-то в сторону; я барахталась в словах, и мне казалось, что из-под меня уходит земля. Это было как полет во сне: непонятная легкость и сознание, что все это неестественно, и безвольное замирание, и поиски опоры, и страх — ох, оборвусь сейчас! Расщепей понимающе смотрел на меня.

— Серафимочка! — раздался за дверью голос Причалина.

В дверях показалась его оплывшая фигура. Увидев Расщепей, он от неожиданности открыл рот, но тотчас оправился:

— Каково! Уже на коне! А позволили вскакивать вам? Не рано поднялись? Как здоровычко, Александр Дмитриевич?

— На страх врагам, — отвечал Расщепей, сердито поглядывая на вошедшего. — Ну, зачем пожаловал? А?.. Просто так... Слушайте, Причалин, следуйте транзитом по своему назначению. Я занят.

— Товарищ Расщепей, что за тон, в конце концов! Я бы попросил вас...

— Нет уж, давайте я вас попрошу, — сказал Расщепей и распахнул дверь перед Причалиным.

Причалин, негодуя, исчез.

— Ох, и липучий человек!.. Просто смерть мухам!

Мне была непонятна эта грубость Расщепей. Я набралась смелости и прямо спросила его:

— Александр Дмитриевич, а за что вы его так? Он, что ли, против вас?

— Нет, я против него! — резко остановил меня Расщепей. — Таких надо гнать на выстрел от искусства. Мы вот все — Павлуша, Лабардан, я — мы сердцем живем... А эти Причалины — они всю жизнь словно по льду ходят: прежде чем шагнуть, сперва всё ножкой пробуют, а где потоньше, там на брюхе, ползком. Квакша он!

Вошел Павлуша и сообщил, что все готово к съемке.

Глава 9 Москва горит

Осенний рассвет. Вчера разезды, затем авангард Мюрата вошли в город. Наполеон остался ночевать в пустом доме у Дорогомилова.

Утром император переезжает в Кремль. Город пуст и гулок, как ночью. Тишина угнетает Наполеона. Он подозрительно всматривается в мертвые окна домов.

А в одной из подворотен Арбата, притаившись, не смея шелохнуться, стою я, Устя Бирюкова, и Степан Дерябин. Прошло меньше двух месяцев о того дня, как за ошибку в аллегории наказал меня барин Кореванов. Бежать нам со Степаном некуда было... Неправду говорили о французском императоре, выдумкой были слухи о том, что хочет он дать волю крестьянам. И люди, бежавшие от французского нашествия, рассказывали, какое разорение, позор и муку несут с собой непрошенные гости.

Все тревожнее становятся эти слухи, все сильнее слышится гром — французы приближаются. И барин наш, нагрузив добром кареты, взяв меня, Степана и еще кое-кого из дворни, мчится в Москву.

Но к осени враг подошел и к Москве. Барин велел нам готовиться к отъезду. В Москве всё еще не верили, что город будет сдан, а когда стало известно, что судьба Москвы решена, что не сегодня-завтра полчища Наполеона вступят в древнюю столицу, началось бегство.

Наши кареты застряли у Коломенской заставы. Тысячи людей бежали на Рязань, вся Московская дорога была запружена колясками, каретами, дрожками, ржали лошади, повозки

наезжали одна на другую. Мы со Степаном шли пешком за последней нашей каретой. Во рту у нас пересохло, мы спустились с дороги к ручью, чтобы напиться, а когда поднялись обратно, коревановских карет уже нигде не было видно.

И мы решили вернуться в Москву.

Ночь. Пустой дом. Помертвевший город. Только изредка топот копыт. Это патрули французов разъезжают по улицам.

Ночи в сентябре длинные, но на этот раз заря занимается над городом очень рано. На улицах светлеет. Зловещий красный рассвет чуть не с полуночи встает над Москвой.

Император просыпается и не верит своим глазам. За окнами дворца, за зубчатой Кремлевской стеной, горит жаркий багровый день.

— Что это? — спрашивает Наполеон. — Уже заря?

— Нет, сир, — отвечают ему, — это пожар. Москва горит.

Наполеон подходит к окну. Раскаленная буря, неизмеримо страшнее, чем знойные пески Египта, более лютая, чем альпийские лавины, ревет над городом. Тучи искр... Раскаленная метель бушует за окнами, могучая тяга ветра раздувает пожарище. Столбы кровавого дыма подпирают докрасна накаленное небо. Молча, ежась со сна, стоит у окна угрюмый император.

— Варвары! — тихо произносит он. — Какая свирепая решимость! Это они сами поджигают. Что за люди! Это скифы.

— Горит! — кричит Степан, и я просыпаюсь. В комнате светло как днем. Зловещий красный свет врывается в окна.

— Где горит? — спрашиваю я.

— Кругом горит, — шепчет Степан и прислушивается.

Тяжелые удары разносятся по пустому дому. Кто-то ломится во входную дверь. Степан, как был, босой, не обуваясь, бросился к дверям, и сразу весь дом наполняется хриплыми, пьяными голосами солдат, тяжелым топотаньем, звоном разбиваемой посуды.

— Что вы делаете, побойтесь бога, господа французы! Ведь барин с нас спросит! Нам в ответе быть...

Плечистый черноусый солдат в высокой медвежьей шапке отталкивает Степана. Но Степан недаром славится у нас в Коревановке как первый силач. Он повел плечом, и француз с размаху стучается о противоположную стену.

— А, дьявол! — кричит он. — Татарин, казак... Ребята, берите его! Это зажигатель!

Солдаты скрутили руки Степану.

— Зажигателя поймали! — кричат они. — Император приказал истреблять их!

Степана волокут на улицу. Перепуганная, я со страху ничком валюсь на пол. Я слышу, как кричат солдаты, взявшие Степана:

— Канальи!.. Они собираются нас зажарить в своей вонючей Москве! Мы его сами испечем на вертеле!

И тут оцепенение спадает с меня. Я выбегаю на улицу, хватаю за ноги высокого солдата, который первый ударил Степана.

— Он не зажигатель! — кричу я. — Нон! Нон! Это наш Степан, нотр Стефан. Он кузнец. Господин солдат, месье солдат, барин солдат!..

Чьи-то руки оттаскивают меня, и в остервенении я что есть силы кусаю эти руки. Тяжелый удар заставляет меня упасть на землю. Я слышу залп, со звоном разлетаются стекла, осыпается штукатурка со стены. И мне кажется, что вся стена медленно оседает. Но это тихо оползает Степан, неловко подогнув ноги, ладонями вывернутых рук и спиной скользя по стене.

— Что здесь у вас происходит? — слышу я чей-то жесткий голос.

Солдаты вытягиваются во фронт.

— Зажигателя расстреляли, мой капитан, — неуверенно кашлянув, но стараясь держаться браво, говорит один из солдат.

— А это что за девочка? — спрашивает капитан.

— Бешеная девчонка, мой капитан: она искусила сержанта Мишо. Зажигательница.

И надо мной повисает острый штык, красный не то от зарева, не то от крови.

— Стыдитесь, ребята... Вы французы. Император не воюет с девчонками, — брезгливо говорит офицер. — Отведите ее, пусть военная комиссия побеседует с ней.

Подвал. Холодные и скользкие стены. На влажном полу вповалку лежат лакеи, маляры, портные, пономарь и несколько дворовых людей — это всё «поджигатели». Я сижу, забившись в угол, на гнилой соломе. За решеткой — кусок красного неба. Наверху, грохнув железом, открывается дверь. Офицер, арестовавший меня, спускается в подвал и, пригнувшись, оглядывается. Но вот он заметил меня:

— Марш за мной! Быстро! Император пожелал сам взглянуть на бешеную девчонку.

Огромная лестница. Один марш. Второй. Третий. Я поднимаюсь по лестнице и чувствую себя очень маленькой и несчастной. Со мной давешний офицер. Мы останавливаемся у тяжелых, окованных медью дверей. По обеим сторонам их застыли два великана в мундирах с красными нагрудниками, в белых жилетах, в высоких медвежьих шапках с золотым передком и султаном. Офицер открывает дверь большого зала. Мы пересекаем его скользкий сверкающий пол, входим во второй зал, затем в третий. Последняя дверь. Офицер выпрямляется, обдернув рукава, потом тихонько приоткрывает дверь... Через минуту я, продрогшая, грязная, стою перед большим столом. На столе — кипа бумаг, тяжелые ветвистые подсвечники. В комнате окна плотно занавешены, чтобы не впускать отсветов тревожного зарева. Колеблющееся над шандалами пламя свечей мешает мне рассмотреть, кто сидит по ту сторону стола.

— Сир, — говорит офицер, вытянувшись, — вот та поджигательница, о которой вам было доложено.

— Позовите переводчика, — слышу я голос из-за стола.

Большая карта, которая заслоняла от меня сидевшего за столом человека, медленно опускается, и я вижу белый жилет, разлапистые эполеты на прямых, слегка приподнятых плечах, тяжелый подбородок, резко прочерченный рот, прямо смотрящие глаза и прядку черных волос, спадающих на лоб. Император тяжело поднимается, подходит ко мне.

— Какая решимость! Что за народ! Даже дети... Спросите ее, — приказывает он бесшумно вошедшему переводчику, — спросите ее, кто надоумил ее поджигать.

— Я совсем не поджигала! — кричу я. — Они сами на нас напали.

— Она говорит по-французски! — изумленно произносит Наполеон. — Кто ты такая?

И я, дрожа, запинаясь, путаясь в словах, стараюсь припомнить все, чему меня обучала в усадьбе сердитая мадам, рассказываю, что я крепостная господ Коревановых, что я играла на театре и обучена французскому, что барин бежал, а мы отстали, что солдаты грабили дом, Степан заступился за господское добро и его убили.

— Рабы и варвары, — мрачно говорит император, и подобострастный переводчик быстро записывает в свою книжечку новое изречение его величества. — Рабы и варвары! Сегодня он еще охраняет дом своего господина, чтобы завтра сжечь его. Дикий народ! Власть без жалости и милосердия — вот что здесь нужно... Что говорит обо мне ваш народ — мужики? — спрашивает он внезапно меня.

— У нас на дворе говорили, что вы сами... мужик сердитый.

— О, это великолепно — мужик сердитый!

Император, протянув пухлую руку, вдруг берет меня за щеку и треплет.

— Я бы мог одним движением вот этого пера, — говорит он задумчиво, прохаживаясь, взяв двумя пальцами большое гусиное перо, торчащее на столе, — одним движением пера распустить всю армию вашего государя. Достаточно мне было бы подписать декрет об освобождении ваших крестьян. Ни одного солдата не осталось бы у Александра. Но я сам монарх. Я не могу подымать чернь на другого монарха, хотя бы он и был моим врагом. Нет, никогда! Слишком много крови. Вы варвары и рабы.

И император погружается в задумчивость, успев краешком глаза взглянуть, записал ли переводчик его слова, все ли присутствующие слышали.

Это говорится не для меня, а для истории (так объяснял эту сцену Расщепей на репетициях).

— Позовите этих актеров, — говорит затем император и обращается к вошедшим, почтительно согнувшимся людям в пышных жабо, во фраках и ботинках с пряжками: — Господа, вам это интересно как артистам. Это маленькая комедиантка и певица, так называемая крепостная актриса. Не правда ли, занятная встреча в Московском Кремле для актеров Французской комедии? Может, мы попросим ее что-нибудь исполнить нам? Русские песни очень хороши, я слышал.

И вдруг страшная злоба и отчаяние охватывают меня. Я бросаюсь на пол ничком, я стучу кулаками по паркету, судорожно мотая головой, так что у меня в разные стороны разлетаются косы, и кричу:

— Не буду я для вас представлять, не буду! Можете убивать! Зачем Степана так?..

Офицер, пришедший со мной, рывком подымает меня с пола, жестоко встряхивает.

— Пой! — шепчет он, не разжимая зубов. — С ума сошла... Бешеная девчонка!

И я, встав в позицию, как учили меня на театре, пою. Я пою песенку о пастушке, о злом корсиканце, разбойнике Средиземного моря:

Разбойник злой, о корсиканец,
Тобой не уstraшен испанец.

Офицер громко кашляет за моей спиной. Господа актеры Французской комедии — в великом смущении.

— Кто научил тебя этой бессмыслице? — спрашивает император, морщась.

— Наш барин.

— Как мне попадется твой барин, я велю расстрелять его за то, что он берется не за свое дело: сочиняет такие бездарные стихи.

Но в это мгновение в кабинет врываются два генерала, роскошно одетые, блестящие золотом (как написано в сценарии, это вице-король Италии Евгений и маршал Бертье). Вбежав, они падают на колени перед императором.

— Кремль горит! — кричат они. — Сир, мы умоляем вас покинуть Кремль... Будет поздно...

Наполеон подходит к окну, отдергивает тяжелую штору. Все в комнате становится багровым. Горит одна из кремлевских башен.

Со всех сторон окруженные огнем, маршалы ведут императора по пылающим улицам. Рушатся горящие балки, роятся искры над треуголками идущих, раскаленные головешки подкатываются под ноги. От упавшего угля загорелся сюртук на императоре, маршалы тушат огонь руками. Задыхаясь, прикрывая плащом лицо от жара, пробирается завоеватель через гибнущий, но неукротенный город.

Офицер, арестовавший меня, отмахиваясь от искр, летящих над нами, тихо говорит мне:

— Беги! Твое счастье, если вылезешь отсюда, из этого пекла... Отчаянная, бешеная девчонка!

И, усмехнувшись, оставляет меня среди горящих развалин.

Дым выедаёт мне глаза, кожа на лице готова треснуть от жара. Но я бегу, сколько у меня есть сил, руками гашу на себе тлеющую юбку... Должен же где-нибудь быть конец этому пламени, есть же где-нибудь синее небо, и ветер без копоты, и воздух, которым можно дышать!

А в это время Кутузов, уведший русскую армию через Красную Пахру на старую Калужскую дорогу, остановился в деревне. Он сидит, понутив тяжелую седую голову, и медленно, глотками попивает чай с блюдечка. Мужики окружили его и горестно показывают на зарево в полнеба, там, где Москва:

— Вся занялась, матушка!..

Старый фельдмаршал, вздохнув, ударяет себя по лбу:
— Жалко... Это правда, что жалко. Но погодите, я ему голову проломлю!
Так со слов Расщепея, стараясь все запомнить, а иногда под его диктовку веду я в своей тетрадке запись по картине «Мужик сердитый».

Глава 10 Судьба Усти-партизанки

— Лыко-мочало, снова!..

Гаснет свет юпитеров, актеры покорно возвращаются на свои места.

Восемнадцатый раз репетируется сцена, где я попадаю в лагерь русских войск. Никак не ладится она у меня.

— Что такое? Вы всё забыли! Как, я вам говорил, надо вести сцену? Ведь вы уже не та Устинька, которая поет куплеттики в домашнем театре. Вы повзрослели, вы хлебнули горя, вы уже знаете, почем фунт лиха. Меньше жеманства, больше мужества. Повторим.

Но беда в том, что сцена крепостного театра сниматься будет только завтра — задержались декорации, — и только завтра я по-настоящему представлю себе, какой я была до бегства в Москву. Все это очень сбивает, и я иной раз готова реветь — такой беспомощной, вконец запутавшейся и ничего не понимающей выгляжу я на съемке. Но Расщепей терпеливо работает со мной, проходит дома сцену за сценой, заставляет меня в особой тетрадке вести «дневник Усти». Дневник этот отличается от обыкновенных дневников тем, что записи там делаются не о прошедшем дне, а о будущем. Накануне съемки я подробно записываю в тетрадку все, что должно произойти завтра в жизни Усти, и ставлю дату: «25 сентября 1812 года».

Вот этот день:

«Я открываю глаза и не могу понять, где я.

Незнакомая бедная горенка. Я боюсь взглянуть в окно. От одной мысли, что я увижу опять страшное багровое небо, меня начинает трясти. Все же посмотреть надо. И, решившись, вытянув сколько можно шею, я заглядываю в окошко. Свинцово-серое осеннее небо в окне, но мне там виден совсем маленький просвет в тучах, и в просвете — синева, яркая и умытая. Значит, есть снова на свете синее небо!

Я очень слаба. С трудом поднимаю голову и осматриваюсь. На мне просторная мужская рубаха с подвернутыми рукавами.

— Лежи, лежи, не шебаршись, — говорит кто-то, и я вижу маленькую опрятную старушку.

— Бабушка, это я где?

— У мене. Вот ты где. Мой сын Петруха тебя из полымя вытянул. На тебе уже все лоскуточки занялись. Лежи.

— Бабушка, — говорю я, — а я у самого Наполеона была.

— У Наполеона?.. Ты лежи, лежи, а то у тебя, видно, ум зашелся».

«Прошло около месяца» — такая надпись будет на экране в картине, такую запись сделала и я в «дневнике Усти», прежде чем рассказать о дне 19 октября.

«Тяжелые, глушащие взрывы сотрясают Москву. Бабка крестится. А я, уже оправившаяся на харчах у добрых людей, бегу на улицу, чтобы узнать, где это так гремит и ухает.

— Французы Кремль рвут! — говорят люди, пробирающиеся из города.

И снова страшный удар, словно с неба, падает на город, раскачиваются двери, как при урагане, стекла вылетают из окон. Но любопытство одолевает меня. Я влезаю на высокую березу, и отсюда, с горы, где живет бабка, приютившая меня, с вершины высокой березы видно: по Калужской дороге уходит из Москвы французская армия.

А вечером я слышу снова перестук копыт, выглядываю из-за забора. Это тихо пробирается окраинами города казачий отряд; впереди едет молодой офицер. Я выбегаю на

улицу и бросаюсь к его лошади:

— Барин офицер!.. А французы нынче утекли.

— Куда утекли? — спрашивает, подозрительно оглядываясь, офицер.

— Не ведаю куда, только вовсе ушли... Повзрывали там чего-то да и бросили Москву.

Офицер снимает каску, поднимает руку и уже собирается перекреститься, как вдруг рука останавливается в воздухе, и, разжав щепоть, офицер грозит мне пальцем:

— А ты, коза, не врешь? Ну-ка, садись со мной, поедem разведем. Смотри, если наврала, вместе убьют.

Мы скачем по пустым улицам города сквозь погорелые кварталы. Ни души кругом — ни французов, ни русских. Мы подъезжаем к самому Кремлю. Спешившись, казаки, сопровождающие нас, осторожно выглядывают из-за угла, просматривая улицу.

Последний французский обоз гремит вдали.

И вскоре мы мчимся к расположению русских войск. Я сижу поперек седла, крепко держась за гриву лошади. Наш маленький отряд карьером врывается в лагерь. Все выбегают нам навстречу, и офицер, везущий меня, срывая шапку, плача, кричит на весь лагерь:

— Наполеон ушел! Москва свободна!

Гром и сборы в русском лагере. У костра, намотав длинный ус на палец, сидит кудрявый гусар в расстегнутом ментике. Я слышу его зычный голос:

Гусары, братцы, удалцы,
Рубаки — черт мою взял душу!
Я с вами, братцы, молодцы,
Я с вами черта не потрушу!
Лишь только дайте мне стакан,
Позвольте выпить по порядку,
Тогда лоханка — океан!
Француза по щеке...

Грохот барабанов, конский топот заглушают его, но я уже узнала этот голос. Я подбегаю к костру.

— Барин Денис Васильевич! — кричу я. — Помните, в Коревановке?..

Секунду он всматривается в меня:

— А, прекрасная пастушка! Так это ты принесла добрую весть из Москвы?.. Братцы, виват в честь прекрасной пастушки! Вот она, добрая ласточка. Виват ей!

Меня сажают к огню, среди брошенных седел и сбри.

— Виват! — кричат усачи.

— Ну, Устинья, — говорит Давыдов, — будем бить твоего корсиканца. Чай, ты слышала о моих партизанах? Завтра начну отпускать бороду, надену армяк, на грудь икону Николая-чудотворца повешу — и с богом в дело! Ударим по тылам француза.

— Барин Денис Васильевич, — решаюсь вдруг я, — примите и меня в свою партию. Я уже и в огне была, и с самим ихним Наполеоном поругалась...

— Что ты, касатка! Это не девичье дело, тут крестятся ведьмы и тошно чертям... А где же это ты с самим великим Наполеоном поругалась?

Хохочут гусары:

— Ай Устинья, сильна!»

Расщепей объясняет перед съемкой:

...Медленно выползает из России французская армия. Голодные, оборванные, полуодетые, бредут французы, немцы, итальянцы, голландцы, иллирийцы, поляки. Вражда раздрает их ряды, страх дробит отряды, и только голод теперь объединяет их в грабежах. Ранняя зима настигает их. Вязнут в снегу и падают, изнемогая, солдаты погибающей армии, и на брошенных древках знамен вместо обломанных императорских орлов сидит, каркая, воронье. Казаки и партизаны вьются вокруг, отбивают обозы, рубят отстающих...»

Я кашеварю в нашем отряде, но у меня на всякий случай есть охотничья фузья, которая стреляет так громко, что партизаны называли ее «царь-пушка». Впрочем, никто не смеется над моим оружием — у других и такого нет, а ходят в бой просто с топорами да вилами и рогатинами.

Однажды упустили мы большой обоз французов. А с ним везли важные бумаги.

Ночью у костра созывает Давыдов своих залетных партизан. Не узнать нарядного гусара в бородатом предводителе нашем.

— Надобно разведать, куда пойдет сей обоз, где он заночует, какую охрану выставит. Кто хочет пуститься на разведку?

Первой отзываюсь я. Денис Васильевич добродушно отмахивается от меня. Но я прошу... Лихое дело замыслила я. Накануне мы захватили вместе с отставшим отрядом маленького барабанщика. Мальчишка как раз мне под рост. И вот решено — я отправлюсь в расположение французов в мундире барабанщика, разгляжу все, что надо, а если поймают, что ж — скажу, что отстал от отряда. Сумка и номер при мне.

— А строй добро знаешь? — спрашивает меня Давыдов.

— Маленько имею понятие. Пригляделась.

— А ну стань во фронт.

Я щелкнула каблуками, вытянулась и замерла.

— А барабан пропори, — советует Давыдов, — а то заставят еще дробь бить.

Он крестит меня на прощанье и отворачивается, сопя. Накинув для тепла конскую попону, увязая в снегу, я пробираюсь лесом к обозу. Вдруг:

— Стой! Кто идет?

Спотыкаясь, волоча за собой по снегу продырявленный барабан, я спешу к часовому, крича по-французски:

— Ради бога... я погибаю... помогите мне!

Через несколько минут я у костра. Забыла я в лесу порядком, и мне не надо особенно стараться, чтобы показать, как счастлив маленький барабанщик, набредший на огонек костра.

Отогревшись, я начинаю врать, что казаки разгромили наш отряд, а я, барабанщик Мишель, спасся и бежал через лес. Меня угощают, кормят, поят, и, поперхнувшись, я глотаю обжигающую горло ароматную жидкость из предложенной мне офицерской фляги. Офицер, прислушиваясь к моему произношению, вдруг спрашивает:

— Ты что, бретонец?

Я бормочу что-то неясное и опасливо поглядываю на окружающих. Но кому может прийти в голову, что в мундире французского барабанщика 14-го егерского полка скрывается дворовая девчонка господ Коревановых Устя Бирюкова? И при мне громко спорят о том, куда следует идти отряду с обозом, чтобы не попасть в руки партизан, от которых я бежал... А я слушаю и стараюсь все запомнить.

И вдруг я слышу чей-то очень знакомый голос... Ну, так и есть: это тот офицер, который отвел занесенный надо мной штык в ночь, когда убили Степана. Это тот офицер, который сопровождал меня к Наполеону. Я плотно кутаюсь в попону, поворачиваюсь спиной к костру и делаю вид, что засыпаю сидя. Костер догорает, солдаты бредут к обозу, и я, пользуясь тем, что меня оставили одну, тихонько отползаю подальше, потом вскакиваю и бегу через лес к своим. Крепко обнимает и трижды целует меня Денис Васильевич Давыдов.

— Устинья... голубка... Россия узнает о тебе... отчаянная ты голова...

Отряд наш разбивается надвое. Мы с Давыдовым уходим в засаду, чтобы встретить французский обоз на пути, про который я выведала. Другая половина отряда заходит французам в тыл.

Утром обоз — в наших руках. С пиками, топорами, рогатинами и вилами бросаются на французов наши партизаны и казаки, и скоро к Давыдову приводят моего знакомого офицера.

— Добрый день, мой капитан, — говорю я ему, — вот теперь и вы у меня в плену.

Офицер медленно подымает на меня безразличные, усталые глаза.

— О, мон дъё! — говорит он, узнав. — Маленькая поджигательница, бешеная девчонка!

Выгнаны французы, и русские солдаты шагают по Европе. Где-то там, далеко, на чужих землях, на чужих полях, бьется мой командир Денис Васильевич, забирая на свой страх и риск, не дожидаясь приказа начальства, иноземные города.

А я снова в Кореванове, и снова мы репетируем аллегорию, сочиненную нашим баринком по случаю изгнания французов.

Барин сидит в первом ряду, хлопает ладонью о кресло, отбивая такт.

— Как ты ступаешь, косолапая? — кричит он. — На конюшне тебе надлежит быть!

Он, кряхтя, взбирается на сцену и больно дергает меня за ухо.

— Барин, коли вы так... — начинаю я.

— Что? Я из вас эти партизанские вольности вышибу!

И обидная, тяжелая и звонкая пощечина оглушает меня.

Не дожидаясь конца репетиции, я убегаю за ограду усадьбы; я бегу по крутому холму, валюсь ничком на холодную, мокрую траву и лежу так, сплетя пальцы на затылке. Мне все равно, пусть тащат на конюшню, пусть запирают в холодную, пусть сажают в рогатку... А надо мной по небу — так задумал Расщепей, — надо мной медленно проступают слова: «Крестьяне, верный наш народ, да получают мзду от бога».

Это единственная строка о мужиках, выгнавших Наполеона, во всемилоостивейшем и щедром манифесте императора Александра Первого.

Так будет кончатся картина.

Глава 11 Я всхожу над горизонтом

К концу лета группа Расщепея уехала в экспедицию. Ряд сцен надо было снять в лесах под Вязьмой. Работы в поездке было меньше, чем дома, попадались пустые дни из-за плохой погоды. Тогда мы собирались в избе, где жил Расщепей, и начинались бесконечные рассказы.

Много повидал в жизни Александр Дмитриевич. Он рассказывал нам о гражданской войне, о том, как он воевал вместе с Котовским, как ставился в первый раз красноармейский спектакль, как сыграл он в своей жизни первую роль — казачьего есаула... Только играть пришлось ему не на сцене, и спектакль продолжался две недели, а главным режиссером был сам Котовский.

Это была известная многим история о том, как Котовский, чтобы выманить из тамбовских лесов банду Антонова, передел бойцов своего отряда в казаков, велелшить на штаны лампасы, а сам стал будто бы казачьим полковником. Уловка удалась: банда решила слиться с «казачьим полком» и вышла из лесов. Котовцы, переодетые казаками, и антоновцы остановились в одном селе. Антонов и Котовский встретились на совещании в большой избе, и, как было условлено, Котовский выстрелом из нагана дал сигнал к нападению. Банда была истреблена.

— Да, это была, доложу я вам, аллегория с маршами и метаморфозами, — рассказывал Расщепей. — Я там не только есаула играл, но еще и осветителем был. Когда началась пальба, я первым делом — бац из нагана в лампу.

— Зачем же?

— Мы свой план наизусть выучили и с закрытыми глазами знали, в кого и куда стрелять, ну, а тем в потемках не разобраться было...

В ясные звездные вечера мы сидели на завалинке, и Расщепей читал нам целые лекции по астрономии. Это была его давнишняя страсть, и он всюду возил с собой небольшой, портативный, складывающийся телескоп. Когда я в первый раз посмотрела через трубу на луну, мне стало немного жутко.

Впервые я сама увидела, что луна — шар.

Очень страшно было видеть этот корявый, окоченевший мир, висящий в пустом черном небе. Я даже схватилась скорее за теплую руку стоявшего рядом Расщепея.

— Вы знаете, — сказала я как-то ему, — вы для меня прямо, Александр Дмитриевич, сами словно телескоп. Честное слово! Через вас мне все на свете теперь по-другому выглядит, я и себя по-иному рассмотрела.

— Ну, и как? Понравилась себе? — хитро прищурившись, спросил Расщепей.

— Не очень еще, а все-таки...

— Однако какие мы научились образы и метафоры запускать!

— Смейтесь, смейтесь... Все равно это правда так!

Вечера удлиннялись и делались свежее. Кончался август. Часто падали звезды. И раз вечером, глядя на остывающий в небе след метеора, Расщепей сказал:

— Самый сейчас звездопад. Скоро и листья полетят... А вы, сударыня... — он сделал шутливо-свирепое лицо, — довольно вам на небо глядеть. Пора на себя оборотиться и в учебник заглянуть. Время, время, дорогая моя партизаночка. Сентябрь на носу. Не наверстаете потом.

И действительно, на следующий день он, как только кончили снимать, повел меня к старенькому учителю местной школы.

— Вот, Никанор Никанорович, привел под уздцы. Это та самая норовистая лошадка, о которой мы с вами договаривались. По математике мы хромаем, да и по русскому языку иногда сбой у нас бывает. Не возьметесь подковать немножко?

— Отчего же!.. С превеликим удовольствием, — засмеялся старичок. — Как можем, подкуем. Лошадка, видно, резвая.

Так стала я заниматься с Никанором Никаноровичем. Старик был доволен мной, нахваливал меня Расщепею, уверял, что у меня «совершенно выдающиеся способности»... Вот поди ж ты, разберись тут. А в школе меня считали мало на что годной. Я старалась не разочаровывать Расщепея и занималась довольно усердно. Времени свободного у меня теперь совсем не было. Я даже не собралась ответить на письмо Таты, которое получила еще в августе.

В Москву мы вернулись в конце сентября. Я соскучилась по городу и с удовольствием шагала по улицам, мимо дымящихся асфальтовых котлов, по золотистым бульварам, где за решеткой, около беспрестанно мигающей красной лампочки, висели над трамвайными путями предупредительные знаки московской осени: «Осторожно! Листопад».

Дома у нас на всю комнату пел приемник, который я перед отъездом подарила отцу. Расцеловавшись со мной, отец тотчас же сообщил:

— А позавчера тебя, Симочка, по радио упомянули. По станции «Коминтерна». Что исполняешь роль. Ну, и про Александра Дмитриевича, конечно.

И, коснувшись двумя пальцами усов, он двинул губами сперва в одну сторону, потом в другую, приглаживая седые волосы. Так он делал, когда был чем-нибудь тайно доволен.

В школе меня встретили с уважительным любопытством.

— А, из дальних странствий возвратись! — закричал Ромка.

Тата поздоровалась со мной несколько суховато, как мне показалось.

— Ты что же не ответила на мое письмо? — спросила она меня.

Я рассказала ей, как много пришлось мне работать, не оставалось свободной минуты...

— Ну конечно, где же тебе теперь для меня время находить! — Тата надула губы, отгибая и загибая уголок тетради. — Только ты, пожалуйста, не думай, что один Расщепей на свете такой знаменитый. А я тут без тебя с кем познако-оми-лась!.. Ты даже не догадаешься. С самим Сошниковым из Большого театра. У него на целый орден больше, чем у твоего Расщепея.

Она раскрыла тетрадь и, заслоня что-то обеими ладонями, хитро озираясь, сказала мне:

— Смотри сюда... Вот, под рукой.

Я увидела пушистый хвостик.

— Это мы у него дома были, на концерт ходили звать, а в передней шуба неубранная висит, я взяла и хвостик с шубы отодрала на память. Правда, миленький?

— Ну и очень глупо, по-моему, — сказала я совершенно искренне, потому что мне стало очень обидно, как Татка смеет сравнивать мою дружбу с Расщепеем и свое хихикающее увлечение, какие были у многих из наших девчонок. — Подумаешь, святыня! Стоит хранить! — добавила я жестко. — Ты бы еще на память у него галошу стащила из передней.

— Ну, Симка, знаешь, ты очень какая-то стала...

— Какая?

— Изменилась, вот какая.

— В сторону чего же изменилась?

— В сторону, которая тебе не идет...

Тут вошел математик, и нам пришлось замолчать.

— Антон Петрович! — Я подняла руку.

— А, Крупицына... — сказал математик.

— Антон Петрович, я хочу сегодня отвечать.

— То есть?

— Я хочу, чтобы вы меня вызвали.

В классе все с удивлением взглянули на меня.

— Но вы же опоздали почти на месяц. Надо дать вам время подтянуться.

— А я уже все прошла, со мной занимались... я могу отвечать.

— Не верю своим ушам! — воскликнул математик. — Хочу поверить глазам. Пожалуйста к доске, берите мел.

Я вышла к доске, взяла мел, победоносно взглянула на Ромку, обвела спокойным взором весь класс.

— Ну, допустим, — сказал математик, — что дан треугольник... и нам известно...

Через пять минут он мог своими глазами убедиться в том, что уши его не обманули.

В перемену я сбегала в аптеку напротив и по автомату позвонила Расщепею:

— Александр Дмитриевич, это Сима говорит. Александр Дмитриевич, я сейчас получила у математика «отлично».

— Ага, — услышала я голос Расщепея. — То-то! Можем, если захотим. Смотрите, чтобы и дальше так...

Целый месяц шли павильонные съемки. Расщепей не хотел ждать снега, поэтому все зимние сцены были сняты тоже в студии. На искусственном снегу, среди деревьев из папье-маше снимали сцены у костра, в обозе французов. Но лес был сделан так искусно, так сверкал на ветвях снег, что трудно было поверить: неужели это не настоящий лес? Потом шли большие съемки без моего участия. Это были эпизоды страшной мужицкой войны — рассерженный народ гнал и истреблял врагов своих. Эти сцены Расщепей считал очень ответственными, и, когда я робко заикнулась как-то, почему же я не участвую в этих эпизодах, Расщепей, строго посмотрев на меня, сказал:

— Фильм, между прочим, называется «Мужик сердитый», а не «Устя Бирюкова». Понятно?

Больше я не спрашивала.

А через месяц начался период озвучивания и монтажа.

Расщепей заперся у себя в кабинете. Целые дни туда бегали люди с нотами, с круглыми жестяными коробками, в которых были смотанные куски фильма.

Похудевший от бессонных ночей, лязгая ножницами, сбиваясь с ног, носился Лабардан. Расщепей совсем переехал жить на фабрику. Он и спал у себя в кабинете, туда ему носили еду. Я только раз видела его, когда он шел в просмотрную. Он был небрит и бледен, глаза у него были красные, натруженные. Молча пожал он мне руку, заморгал опухшими веками и

прошел. От него пахло грушевой эссенцией, которой склеивают пленку, и табачным дымом.

Я ничего не посмела сказать ему, ничего не спросила. Я чувствовала, что ему не до меня.

Через полчаса он вернулся из просмотровой. Лабардан и помощники несли за ним круглые коробки, ролики, ленты. Вид у Александра Дмитриевича был такой же озабоченный, но чуточку повеселевший.

Он остановился передо мной и вдруг, точно сейчас только узнав, протянул руку:

— А, Сима! Сима-победиша! Я что-то давно вас не видел. Ну, как математика, пифагоровы штаны? Так чему равен квадрат гипотенузы?

И, не дожидаясь ответа, потрепав меня по плечу, ушел к себе. Но я успела крикнуть ему вслед:

— Сумме квадратов катетов!..

Над большим серым домом на Пушкинской площади по вечерам уже бежали, огнем выписываясь в небе, слова световой рекламы: «Смотрите скоро новый большой звуковой исторический фильм «Мужик сердитый». Постановка режиссера-орденоносца Александра Расщепея». И однажды, придя домой, дождавшись, когда все легли, сама перед собой конфузясь, я вынула заветную папку с коллекцией знаменитых девушек и воровато вложила в нее новую вырезку из вечерней газеты. В ней было написано: «Ученица 637-й школы Сима Крупицына в роли партизанки Усти Бирюковой из фильма режиссера А. Расщепея «Мужик сердитый».

В декабре на фабрике был устроен закрытый просмотр почти уже готового фильма. В небольшом и низком зале с маленьким экраном собрались руководители фабрики, артисты, участвовавшие в нашей картине, несколько журналистов. В углу зала скромно села Ирина Михайловна. Наконец появился Расщепей. Я никогда не видела его таким нарядным. Он был в темно-синем костюме, на широком лацкане модного пиджака красиво выделялись два ордена — Ленина и Боевого Красного Знамени. Расщепей, как всегда, сопровождали неразлучные Павлуша и Лабардан.

У стены, противоположной экрану, под двумя маленькими окошечками кинобудки стояли столик с микшером и большое кожаное кресло.

Расщепей вышел к экрану, обернулся лицом к сидящим, молча прошелся перед рядами, потом резко тряхнул головой, так что редкие седые волосы его взлетели и не упали.

— Товарищи, — сказал он негромко, — сейчас мы вам покажем нашу картину. Должен предупредить, что один кусок у нас пойдет на двух роликах и кое-что мы собираемся перезаписать. Но, в общем, представление получить можно.

Я ждала, что он произнесет торжественную речь по случаю окончания картины. Но он прошел на свое место, нажал кнопку. За стеной задребезжал звонок.

За окошечком раздался глухой голос механика:

— Можно начинать, Александр Дмитриевич?

— Поехали, поехали, — сказал Расщепей.

Свет потух. Над столиками зажглись пригашенные темными колпачками лампы. Я видела освещенный снизу подбородок Расщепея, полные губы, широкие крылья вздернутого носа; остальное все растворилось в темноте.

На экране вспыхнуло:

«Мужик сердитый». Сценарий и постановка Александра Расщепея. В главных ролях:

Фельдмаршал Кутузов — заслуженный артист республики Степницкий.

Наполеон, французский император, — народный артист РСФСР Шергин-Стахов.

Кореванов, помещик, — артист Петлин.

Устя Бирюкова, крепостная Кореванова, — Сима Крупицына...»

У меня гулко застучало сердце; удары его так отдавались в ушах, что я даже не слышала тихой, но грозной музыки, которая уже лилась из-за экрана. Пробежали надписи, музыка из глухой, далекой и рокошущей вдруг стала близкой, потекла ласковая мелодия песенки, которую мне столько раз приходилось разучивать перед съемками. В зале вдруг стало светлее. Я увидела на экране знакомую еще с прошлой весны усадьбу Коревановку... А вот и я сама, в сарафане, босая, прячусь за колоннами...

Я себе очень не понравилась. Не такой представляла я Устю, и не так, мне казалось, я хожу и бегаю. Мне было просто противно глядеть на себя. Зато голос у меня оказался неожиданно очень сильным и чистым. Я не подозревала, что могу так хорошо петь. Вообще все было совсем не так, как я представляла себе. Многие из того, что я предвкушала увидеть, совсем не показали в картине. Эпизоды, которые отнимали у нас по нескольку дней на съемках, здесь заняли всего несколько минут. Потом начались какие-то совсем непонятные вещи. Вот, например, я никогда так не прыгала с горящей ограды через пламя, а на экране было ясно видно, как, спасаясь от пожара, я совершаю головокружительный прыжок. И никогда в жизни я не мчалась таким бешеным карьером на лошади через лес. Да моя Гитара никогда бы так и не поскакала. А на экране я летела вскачь, припадая к разметавшейся гриве, мимо мелькали деревья, лошадь моя легко брала ручьи и овражки...

Я растерянно глядела на экран, оглядывалась на Расщепея, ничего не понимая.

Вспыхнул свет, и все заговорили, повскакав с мест, обступая Расщепея. Я слышала:

— Александр Дмитриевич, позвольте вас поздравить... Это просто событие!

— Товарищ Расщепей, это потрясающе!..

Я видела, что многие сморкаются, вытирают глаза. Все были очень взволнованы, другие режиссеры обнимали Расщепея, трясли ему руку. Причалин суетился вокруг журналистов, обступивших Расщепея, причитал:

— А? Каково! Каково!.. Толково?.. Феноменально, совершенно феноменально! Удача за удачей, сплошная удача!.. — и разводил руками.

Расщепей стоял потупившись, улыбался в вырез жилета, похмыкивал:

— Нравится? Хм... Это очень приятно. Спасибо, спасибо, товарищи... Ну, ну, это вы чересчур... Хм! Сено-солома! Прямо чертовски приятно!

Кто-то мягко обнял меня сзади. Я обернулась. За мной стояла Ирина Михайловна. Она склонилась надо мной, я увидела еще не просохшие следы слез на ее щеках, и вдруг Ирина Михайловна, строгая и прекрасная Ирина Михайловна, которую я все время побаивалась в душе, порывисто нагнулась, сжала мне виски своими горячими ладонями и крепко поцеловала меня в лоб.

— Да позвольте же, — услышала я голос Расщепея, — что же вы меня всё хвалите, хвалите, а главную-то героиню забыли? Вот она, Сима-победиша, Устя-партизанка, краса и гордость, труба-барабан!

Тут все окружили меня и стали поздравлять, расхваливать, говорить, что я «такая маленькая — и уже...», и всякое такое... Но я все еще не могла прийти в себя, и, когда народ немножко успокоился, я отвела в сторону Расщепея и тихонько спросила:

— Александр Дмитриевич, а как же это так получилось? Я ведь не прыгала через огонь, и потом еще вот на лошади, когда я скачу... Разве так было?

Давно я не видела, чтобы Расщепей так хохотал.

— Милая вы моя, сено-солома... Да неужели я бы стал подвергать вас таким штукам? Это мы вас подменили тут, опытную наездницу из цирка снимали, специально подобрали... И прыгала тоже акробатка одна известная. Неужели вы не заметили, что это уже не вы? И поете не вы. Это мы из театра приглашали за вас петь. А вы только рот открываете... Раскрывает рыбка рот, а не слышно, что поет. А потом за вас напели. Но это здорово, значит, снято, если вы сами не заметили. Павлуша молодец!

Он был очень доволен, а я грустила. Мне было очень обидно, что мою Устю, любимую Устю, под именем которой я прожила столько времени, кое-где изображаю не я, а какие-то чужие актрисы. И пела не я, и прыгала не я, и скакала так великолепно на коне

нанятая взамен меня наездница из цирка. Я вернулась домой огорченная.

Прошла неделя, и на Театральной площади появилась огромная реклама нашего фильма. Моя физиономия висела над сквером у Большого театра. Художник не поскупился на веснушки, каждая была с тарелку. И это меня несколько огорчило. Но рядом были крупно изображены сцены из фильма — я с Наполеоном, Расщепей в роли Давыдова. Люди проходили, останавливались, задирали головы, говорили: «Это, наверное, интересно, надо будет сходить». И дома Людмила, едва войдя, разматывая платок, восторженно рассказывала:

— Иду сегодня в гастроном, вдруг, можете себе представить, вижу — напротив, на углу, Симка наша вот такими буквами висит!..

В выходной день картину пустили на все центральные экраны Москвы.

Расщепей добыл мне целую кипу бесплатных билетов, я раздала дома нашим и в классе надела всех своих друзей. Даже Ромке Каштану дала два билета — пусть уж идет смотрит и убеждается... Отец в этот день отказался от моих услуг и пошел в парикмахерскую; вернулся оттуда не похожий на себя, смешной и словно похудевший. Мать надела свое лучшее платье, хотя раздеваться в кино не требовалось. За нами заехали на такси (кутить так кутить!) Людмила с Камертоном, и мы поехали в кино «Ударник».

Около кино, залитая светом, стояла большая толпа. Все билеты были проданы. Над входом, искусно освещенная красными лампочками, висела панорама горящей Москвы. Зал кино был битком набит, и наши места в первом ряду балкона оказались уже кем-то занятыми. Настройщик очень обиделся.

— Вы, граждане, на чужих билетах расположились, — сказал он, — попрошу подняться...

Но сидевшие сами, посмотрев на наши билеты, вздохнули и поднялись, освобождая места. Только какая-то толстая девчонка, нарочно толкнув меня, пробормотала:

— Подумаешь, какие важные! Нечего опаздывать! А то...

Она взглянула на меня и осеклась. Что-то, видно, поразило ее в моем лице, потому что она вдруг смущенно заглянула в иллюстрированную программку, которую держала, стала что-то шептать своим, и те, оглянувшись, долго с любопытством рассматривали меня.

Но вот медленно погасли люстры, в темноте слабо загорелись красным дощечки над дверями, молочная струя света брызнула из будки. В зале стали громко и вразнобой читать фамилии участников. Я услышала в разных концах зала свое имя. Пошла картина.

Я танцевала испанскую пастораль и пела французскую песенку. Громко, на весь огромный зал, звенела эта песенка, такая знакомая мне и теперь ставшая известной всем сидящим тут. Гремел на экране, подкручивал ус, сверкая в публику сердитыми, горячими глазами, добрый мой Александр Дмитриевич в гусарском мундире. Подымался рваный дым Бородина. Под тревожный шепот зала убивали Степана. Пылала Москва. Сам император Наполеон разговаривал со мной во всеуслышание. Хитро поглядывал с экрана умный глаз Кутузова. Зал то замирал, то аплодировал, а отец, приложив руку к уху, повернувшись боком к экрану, шепотом спрашивал:

— А Симочка сейчас чего делает?.. Это она кому говорит?.. А это чего хлопают?.. А Симочка наша сейчас где?..

И вот я, заломив руки, лежу ничком на холодной, мокрой траве. Все кончено. И всплывают в сером небе надо мной слова заключительного титра: «Крестьяне, верный наш народ, да получают мзду от бога».

Медленно возникает за экраном рыдающая нота, становится все тоньше и пронзительнее и обрывается. Конец. Вспыхивает свет, люди вокруг меня сконфуженно прячут носовые платки, отворачиваются, покашливая. Отец сидит неподвижно, опустив голову.

— Сказали бы мне сейчас: «Хочешь глянуть и умереть?» — я бы часом не задумался... Хоть бы на один вечер мне глаза кто дал!

И проводит пальцем под черными стеклами очков. У мамы и у Людмилы —

совершенно запухшие от слез, восторженно-распаренные лица.

— Симочка, ой, до чего же ты, милочка, хорошо сыграла! — шепчет мне Людмила.

— Смотрела бы да не насмотрелась, — говорит мать.

Я жду, что скажет настройщик, который всегда любит оставлять за собой последнее слово. Но он молчит, он молчит на этот раз, и это поражает меня больше всего.

У выхода нас окружает толпа, и та толстая девчонка, которую мы согнали с места, тыча в меня пальцем, громко говорит:

— Вот она, Устя!

— Извиняюсь, это не вы в картине сняты? — спрашивают меня.

— Она, она самая, — говорит за меня мать и скромно добавляет: — Дочка.

— Устя, Устя! — кричат мальчишки, продираясь под локтями.

Подходят Тата и Ромка, Катя Ваточкина и Соня Крук.

Медленно раздвинув толпу, ко мне приблизился коренастый, мрачного вида человек, и я узнала в нем того самого сердитого шофера, который возил меня на первую пробу к Расщепею.

— Гляди-ка ты, — промолвил он, покачивая головой, — не зря я тогда возил. Прямо в самую пору пришлась. Сильно захватывающая картина!

И вдруг я вижу там, сбоку лестницы, притиснутого толпой к колонне Расщепея. Его никто не замечает, его пинают, оттирают в сторону. И он кротко отодвигается, чтобы не мешать, чтобы все могли всласть меня разглядеть.

Я чувствую, как горячая краска заливает мне лицо.

— Александр Дмитриевич, — кричу я, — идите сюда! Александр Дмитриевич... Товарищи, это и есть сам Расщепей, который Давыдова играет!

— Где, где? — вертя головами, спрашивают меня зрители.

Но Расщепей, помахав мне рукой, бесследно исчезает в одну из дверей.

А там, в зале, и еще в десятке залов Москвы, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Минске снова уже погас свет, и опять пляшет, поет, плачет, гибнет, спасается, совершает подвиги и падает ничком девочка с моими веснушками — моя Устя...

Глава 12 Звезда или планета

— Ну, вот и всё, — говорит мне на другой день Расщепей, когда я пришла к нему. — Вот и всё. Теперь отдохну месяц, полечусь немного, да пора приниматься и за новую работу. Я уже надумал кое-что, Симочка.

И он ходит по комнате, ерошит легкие свои волосы, тербит себя за нос, останавливается, смотрит вверх меня.

— Это будет картина об очень простом нашем человеке, совсем незаметном. Так и будет называться: «Мелкий служащий». А душа у него — дай бог каждому. И он видит правду нашего дела. Он скромница, а как гражданин — гордец. Сам сыграю...

А я слушаю его, и мне грустно, что кончилось что-то очень большое и завтра мне уже не надо репетировать, мучиться, вести дневник Усти Бирюковой, лежать с примочками на обожженных глазах, падать с моей доброй Гитары. Кончилось это необыкновенное время. Вот и всё. Но Расщепей уже понял мое настроение. Его большие глаза всем своим синим огнем так и светят мне прямо в лицо.

— Ну-ну!.. Чего это вы скисли, сено-солома? Погодите. Давайте сядем и поговорим по душам.

Он придвинул ко мне стул, сел боком, положив на спинку скрещенные руки, упираясь на них подбородком и внимательно глядя на меня.

— Что, с Устей расставаться жалко? А не надо... Устя должна остаться в вас. Но пусть она не держит вас, а толкает вперед, дальше! Ведь Устя бы сама далеко пошла, не будь тогда жизнь такая проклятая. А у вас судьба — с Устиной и не сравнить. Вон какое время вам на

жизнь выпало. Как бы вам Устя позавидовала!.. И вы сами шагайте смело. О кино пока больше думать не надо. Учиться надо. Не топчитесь на месте. Толк в жизни из вас выйдет.

— А ходить к вам мне можно будет?

— Что за вопрос! Конечно, можно. Будем дружить по-старому. «Никто пути пройденного у нас не отберет!» — так в песне поется.

Во всех газетах напечатаны огромные статьи о нашей картине. Все они расхваливают фильм, называют Расщепея крупнейшим мастером, блестящим художником, могучим талантом... Хвалят и меня за простоту и искренность.

Когда я вернулась после первого показа картины домой, я нашла в комнате большую корзину цветов от Ирины Михайловны, маленький фотоаппарат — подарок Расщепея и альбом, в котором были собраны фотографии всех участников фильма и увеличенные кадры сцен, где я была снята. Этот альбом прислали мне Лабардан и Павлуша.

В школе теперь стали относиться ко мне совсем по-иному.

Даже математик Антон Петрович как-то в перемену подошел к моей парте и сказал:

— Вот видите, Крупицына, не такая уж страшная вещь эта математика, а при ваших способностях ничего не стоит идти все время с отличными оценками... Я, между прочим, был вчера в кино. Скажите, вы не знаете, Расщепей — это не родственник профессору Расщепею, который читал в Петербургском университете? Хотя тот, кажется, был Расщепейко...

На уроке истории преподаватель говорил так:

— Ну, что касается вопроса о пожаре Москвы во времена Наполеона, после которого город был почти целиком перестроен, то тут нам, я думаю, может рассказать что-нибудь интересное... — он делал паузу, глядел на меня, — тут, я думаю, нам может рассказать что-нибудь интересное Крупицына, которая некоторым образом была очевидцем.

И все в классе, обернувшись ко мне, по-хорошему смеялись. Ромка Каштан теперь тоже присмирел, и раз на улице я даже слышала, как он говорил одному парню из другой школы:

— Вон, гляди, с того боку крайняя... Это Крупицына идет, Симка. Знаешь, которая Устю-партизанку играет... «Мужик сердитый» видел? Она в нашем классе учится.

Два месяца не сходила с экрана наша картина. Кажется, не было человека в Москве, который бы не посмотрел ее. И бывало так, что какой-нибудь солидный дядя в трамвае долго пялил на меня глаза, силясь что-то припомнить, и потом, уже у выходной двери, вдруг решался и, перегнувшись ко мне, тихонько спрашивал:

— Девочка, извиняюсь, это не вы в «Мужике сердитом»? Кино такое есть...

А потом картину сняли с центральных экранов и она стала постепенно уходить сперва за Бульварное кольцо, потом за Садовое и совсем ушла из Москвы, а на Театральной площади уже стояли рекламные щиты какого-то нового фильма. И в школе стали постепенно забывать, что я была когда-то Устей-партизанкой. Я снова помирилась с Татой (ей нечему уже было завидовать), но дружила я теперь главным образом с Катей Ваточкиной. Только учиться стала я немного лучше. И не потому, что считала это теперь каким-то своим особенным долгом, не ради чести, а просто расшевелил что-то во мне Александр Дмитриевич. В жизни оказалось много интереснейших вещей, о которых я не имела представления. Мне захотелось много знать, много сделать. Это было главное. А может быть, самое важное было в том, что теперь я поверила в себя, увидела, что могу пригодиться в жизни и участвовать в ней не хуже других.

И в то же время росла во мне какая-то обидная тоска. Мне казалось, что прошла и никогда уже не вернется самая лучшая полоса в моей жизни. Вот я снова самая обыкновенная школьница, ничем от других не отличающаяся, такая же, как все в нашем классе. А не вспоминать о том, что было, я не могла, да и нельзя было забыть об этом. Расщепей был слишком знаменит. О нем писали в газетах. Он выступал по радио. В журналах я видела его портреты. Газеты писали о его планах, о новой начатой им картине, и у меня росла обида: вот теперь я ему уже не нужна, уехал и не вспомнит меня, а небось раньше, когда делал картину, так «Симочка, Симочка»!

И бывали дни, когда все валилось у меня из рук. Я бралась за уроки, но, вместо того чтобы заниматься, рисовала в общей тетради фигурки Наполеона, гусарские кивера... Или вдруг мне приходило в голову, что вот сейчас где-нибудь идет наша картина, люди сидят в зале, смеются, волнуются, как Устя выберется из французского обоза, хлопают ее хитрой удаче, и никому, никому из них дела нет, что корпит сейчас эта самая Устя над задачей, а проклятый икс никак, хоть ты лопни, не сходитесь с ответом... В один из таких вечеров я не выдержала и поехала к Расщепею. Когда я позвонила у знакомой двери, за ней раздался голос Ирины Михайловны:

— Кто там?.. Ах, Сима! Входите. Раздевайтесь. Только на меня не смотрите...

Она впустила меня, а сама убежала, мягко шлепая ночными туфлями, и через минуту вернулась, кутаясь в пушистый купальный халат. Голова у нее была замотана вафельным полотенцем, словно чалмой.

— Никого нет, я одна и только что из ванны... Александр Дмитриевич на фабрике. Ежедневно до ночи. Работа не ладится, да и с дирекцией там у него что-то... Умоляю его хоть денек отдохнуть. Губит себя... Ну, что вы стали? Входите.

Я стояла в нерешительности:

— Нет, что ж... я тогда пойду...

— Со мной, значит, не желаете водиться?

— Что вы, Ирина Михайловна! Только... Нет, вы не думайте... Я просто вас очень не смею...

— Во-первых, пора уже «сметь», — сказала она, как всегда без улыбки. — Во-вторых, не рассуждайте, проходите, будем пить чай с кексом, устроим девичник.

Мы сидели на широкой тахте, с ногами забравшись на нее, и пили чай с кексом на низеньком столике.

Ирина Михайловна сбросила свой тюрбан. Тяжелая сырая коса упала ей на колени. И такой молодой, такой простой показалась мне недоступная, всегда немножко подтянутая Ирина Михайловна, что я скоро по-хорошему разговорилась с ней. И так понемножку, слово за слово, я покаялась в своей обиде.

— Да, я-то хорошо знаю, как это трудно, о-ох, как трудно! — сказала она, и лицо ее стало вздрагивать все чаще и чаще. — Я ведь, Сима, была актрисой, и, говорили, хорошей актрисой.

— Я знаю. Мне Александр Дмитриевич рассказывал. Только он про это не велел с вами говорить...

— Ну, а мы с вами поговорим тайком от него. Я очень хорошо понимаю ваше состояние, Сима. Только поддаваться самой себе не надо. Иногда, Сима, приходится себя за волосы подымать.

— Но у меня ничего, ничего не получается, Ирина Михайловна! За что ни берусь, только...

— А откуда вы знаете? Вы разве за многое уже брались?

— Нет, я, наверно, ужасно неспособная... В кино у меня вышло, а больше, я уже чувствую, ничего у меня в жизни не выйдет. Я уж чувствую.

— Ну зачем вы глупости говорите, Сима! Вы же умная девочка.

— Я не могу... я не могу... не могу заниматься. Я все думаю и думаю. Мне даже иногда страшно делается, что я ничего не смогу.

— А Усте-партизанке тоже, верно, страшновато было уйти от жаркого костра в черный лес... А она пошла. Знала, что надо, и пошла. И я думаю, что пионерка Сима не уступит партизанке Усте. А?

— Нет, Ирина Михайловна... если б вы только знали... если бы вы сами...

— А я, может быть, именно сама! — перебила меня Ирина Михайловна. — Но мне было хуже, куда тяжелей! Ведь вас это только случайно захватило, и впереди у вас столько еще всего, а для меня в этом вся жизнь была! И пришлось бросить... Нельзя было больше сниматься. Видите этот тик?.. Как ни лечилась — ничего. Ну и что ж, пришлось начинать

жизнь заново. Вот стала изучать историю, с головой в это ушла. А мои знания оченьгодились Александру Дмитриевичу. И видите, ничего, справилась. Вот я и говорю, я имею право вам говорить: трудно все это, но преодолимо.

Она принесла кипу фотографий. Тут были девичьи карточки, с которых смотрели ее спокойные, широко открытые глаза; увеличенные кадры из картин с ее участием; снимки, сделанные во время путешествий с Расщепеем. Вот они вдвоем на борту океанского парохода, оба молодые и щеголеватые.

Вот Расщепей — молоденький студент, а тут он уже в военной гимнастерке с красным бантом и португеей. Я перебирала эти фотографии. И видела, как редеют волосы, как густеют морщинки у глаз. Только взгляд не меняется — вот такой же и на первых его снимках, ясный и горячий!

Когда я уходила, Ирина Михайловна еще раз, уже в дверях, напутствовала меня:

— Не цепляйтесь сейчас за это, растите пока, там видно будет. Не надо, Сима милая, не надо. Думаете, мало у нас несчастных, которые возомнили себя бог весть чем, а потом всю жизнь мыкаются, завидуют чужой удаче...

На меня очень сильно подействовал этот разговор. Все вспоминался он мне — вот как мы сидели и разговаривали, словно две подруги. Я взяла себя в руки, стала подгонять упущенное за последние дни в школе.

Так прошла неделя, другая. Но тут встретился мне на улице Причалин.

Он радушно приветствовал меня:

— А, каково! Великая Серафима, знаменитая расщепеевка... Что ж совсем забыла нас?..

И дал мне билет во Дворец кино. Там я встретила кое с кем из знакомых по фабрике, меня пригласили на завтрашний просмотр.

И я зачастила туда.

Расщепей встретил меня раз вечером в зале Дворца кино, крепко, до боли, взял за руку, отвел в сторону и очень сердито спросил меня:

— Вы чего это тут околачиваетесь? Мне Павлуша говорил, что он вас тут каждый день видит. Это еще что за новая мода?

Я молчала, высвобождая руку, и стояла вся красная, низко опустив голову. Он спросил меня:

— Ну, как в школе дела идут? Пень-колода?..

А что я могла ответить ему? Рассказать, как позавчера математик, ставя мне опять «посредственно», грустно вздохнул и покачал головой? Сказать о том, как меня тянет сюда, крикнуть ему, что он сам дал мне эту сладкую отраву и приворожил к экрану, журчанию аппарата, свету юпитеров?

Но я ничего не сказала. А через несколько дней я получила вызов на фабрику к Причалину. И Причалин сообщил мне, что он будет ставить веселую музыкальную комедию из колхозной жизни, под названием «Музыка, туш!». Он звал меня сниматься в одной из главных ролей.

— Ну, каково? У меня вы сможете пышнее раскрыться, — говорил он мне. — Расщепей, не в пику ему будь сказано, зажимает дарование, при нем не разгуляешься... У меня вам будет свободнее, сбросите оковы. И вам будет интересно еще раз сняться в совсем другой, очень пикантной роли. Сделаем картину — конфетку! — Он причмокнул своими жирными губами. — А то что же это такое — успех у вас был, и не использовать! Публика вас любит. Ковать, ковать надо железо! Я знаю Расщепея, он людей не жалеет. Отснял — и до свиданья! Ему дальше дела нет. А вам каково?

Потом Причалин протянул мне баночку с каким-то кремом:

— Вот, первым делом веснушки надо будет вывести. Я не Расщепей, у меня иные принципы. С веснушками надо будет расстаться. Ну, киваю!

Четыре дня я опять была сама не своя от радости. Ура, я снова буду сниматься! А на пятый день меня в коридоре фабрики встретил Расщепей и позвал к себе в кабинет:

— Вас что это, Сима, Причалин сниматься зовет? Вы, конечно, можете меня не слушаться, это ваше дело, но я этого Причалина, этот трензель-бубен, давно бы с фабрики погнал. Не надо, Симочка, это неподходящее для вас дело, и ничего хорошего не получится. Он гад и проныра, он, Симочка, пустоглазый, разве вы не видите? У этих людей липкие и холодные руки. Они когда за портфель берутся, так у портфеля и то по коже пупырышки идут. В искусстве их надо истреблять безжалостно. Это штамповщики. У них и слова, и мысли, и чувства — все под копирку!

— Александр Дмитриевич, — робко возразила я, — я не могу, мне очень хочется сниматься. Все равно уже... Я и занятия в школе запустила.

Расщепей помрачнел:

— Симочка, я понимаю, это я первый сбил вас с панталыку. Так вы учились и учились. Но мы же с вами большое дело сделали. Какую картину нашему народу подарили! Ведь вся страна смотрит. А этот напустит пошлятины.

Я молчала.

— Не надо вам с ним связываться, Симочка. Вот снялась раз — и уже считает себя звездой. Давайте говорить прямо. Вы уже большая. Какая же вы звезда? Вы в лучшем случае планета. Помните, я вам в экспедиции лекции читал? Планета. Своего сияния у вас нет, попали в хорошую систему — засверкали и давали хороший, ровный, честный свет. А теперь вам надо учиться, своими руками загребать жар, чтобы потом греть и освещать то дело, которое будет в вашей жизни главным делом, а не случайным. Понятно вам это?

— Александр Дмитриевич, — я заплакала, — вы, конечно, рассердитесь, только я все равно... Я все равно буду сниматься. Вы сами учили, что надо все отдавать, если любишь искусство.

— Ну вот! — закричал он, вконец расстроившись. — Чтобы отдавать все, надо уже иметь что-то, надо созреть сперва... Ну вот, например, когда женщина готовится стать матерью, она все свои силы, все жизненные соки своему ребенку отдает. Но организм должен быть зрелым, совершенно зрелым, а иначе это болезнь, уродство, бледная немочь.

Я молчала.

Глава 13 Моя измена

Но я не могла молчать. Я запомнила каждое слово, сказанное мне Расщепеем, и смутно чувствовала, что Александр Дмитриевич был прав, отговаривая меня, но мне так хотелось сниматься, что я невольно начала искать, кто бы мог передо мной защитить мое желание, опрокинуть тяжелые и прочные доводы Расщепея. Рассказать обо всем кому-нибудь из подруг мне не хотелось, мать вряд ли бы меня поняла. Отцу? Но он бы, конечно, стал на сторону Расщепея, которого заочно очень уважал и считал великим человеком. А где-то меня цапала обида на Расщепея: «Чего он сам меня не снимает и другим не хочет дать?»

Я очень вытянулась за зиму, сразу обогнала своих подруг. Даже Людмила признала, что я выровнялась, но я слышала, как кто-то на фабрике сказал за моей спиной:

— Смотрите, какая дылда стала! Удивительно, как все они превращаются в однотип. Вовремя ее Расщепей отснял.

Отснял... Неужели меня уже отсняли навсегда?

И я упрямо решила, что все равно, несмотря ни на какие отговоры, сниматься буду! Уже в этом была измена моей дружбе с Расщепеем. А еще гаже было, что я рассказала Причалину о моем разговоре с Александром Дмитриевичем. Произошло это нечаянно: я хотела только сказать, что меня отговаривают, а потом сорвалась — и все передала. Причалин, услышав мой рассказ, весь взвинтился, забежал по комнате, зашлепал своими жирными губами, кричал, что Александр Дмитриевич заводит склоку в творческой среде и он положит конец этому деспотизму Расщепея. Он был мне очень противен в эти минуты, но я сдержала себя. Я решила все стерпеть: искусство, как говорил Расщепей, требовало жертв.

Договор на мое участие в картине Причалина пошел подписывать на этот раз настройщик. Причалин пообещал устроить его работать в музыкальный сектор кинофабрики. Настройщик вернулся домой в самом победном настроении и долго рассказывал нам, как он обламывал Причалина.

— С этим человеком приятно поговорить, — разглагольствовал он, — практически мыслящий человек. Ты, Симочка, не упускай этот шанс.

Но Расщепей был не из тех, кто легко отступает. Под выходной день, к вечеру, мы только что кончили белить кухню, и я замывала полы. Мыть полы — дело довольно скучное... Особенно когда уже наизусть знаешь каждую половицу: вот на этой выжжены упавшими когда-то из печки углями щербинки, тут из пазов выколупалась шпаклевка, а сейчас пойдет доска с пятном от пролитых однажды чернил (так и не выскоблили!), а рядом будет половица с большим сучком, под который вечно набиваются какие-то махры... И я как могла разнообразила это занятие.

Прежде, когда я была поменьше, я, моя полы, играла сама с собой в классы: надо было, пятясь не глядя, наступать на загаданные половицы. Иногда я любила глядеть назад, себе под ноги, — комната переворачивалась, и я воображала, что бесстрашно карабкаюсь по потолку. Можно было еще с размаху плюхнуть тряпку о пол так, чтоб во все стороны разбежались головастые струйки, и потом развозить их тряпкой — у каждой была своя судьба. Неплохо также было обводить сухие островки, рассекать их каналами, устраивать наводнения... Не помню уж, каким способом я мыла полы в этот раз, но вдруг под окном рывкнула певучая сирена расщепеевской машины. Я сразу узнала ее, разогнулась мигом, чуть не опрокинула ведро, застыла с колотящимся сердцем... Но в кухню уже входил Александр Дмитриевич.

Он вошел, снял меховую шапку с длинными ластами наушников, а я стояла перед ним босая, с мокрыми ногами, в грязном переднике, растрепанная, держа в руке тяжелую, невыкрученную тряпку, с которой натекло на пол... Я даже руки не могла подать. Мать захлопотала, схватила табурет, сдула с него пыль, поставила гостю.

— Господи батюшки, а у нас беспорядок такой, уборку затеяли... Уж вы извините нас.

Расщепей, не раздеваясь, сел на табурет верхом. Я плечом убрала со лба лезшие на глаза волосы и молча смотрела на Александра Дмитриевича, не зная, что сказать. А мать кинулась в нашу комнату; слышно было, как гремят там раздвигаемые стулья. Расщепей молча смотрел на меня. Вышел отец, громко издали поздоровался и, услышав ответное приветствие Расщепея, уже на голос протянул руку.

— Пожалуйте, пожалуйста, пройдите в комнату, — заторопилась мать. — Серафима, брось, потом домоешь.

Как назло, у нас были в тот час Людмила и Камертон. Расщепей познакомился, присел у стола, медленно заговорил:

— Вы меня... это... извините. Незванный лезу в чужие дела. Но видите, какая штука. Дочка у вас хорошая, и мы с ней большие друзья... Верно, Сима?

Он весело поглядел на меня, и я, вся залившись краской, быстро закивала ему.

— Она мне очень помогла, — продолжал Расщепей. — Видите, какую мы с ней картину соорудили. На весь мир гремит. Сейчас вот нам пишут, восторгаются. Одним словом, лицом в грязь не ударили... А вот теперь ей надо спокойно учиться.

— Способность-то у нее к этому делу есть? — спросил осторожно отец.

— Простите, как ваше имя-отчество — Андрей...

— Семеныч, — подсказала мать.

— Да, Андрей Семеныч, девочка она способная, хотя и с ленцой, что говорить... Но только, понимаете, какая вещь... — Расщепей замаялся, оглянулся на меня. — У меня кое-какой опыт есть по этой части, со мной у нее дело получилось, но это совсем не значит, что она уже сейчас законченная киноактриса. Да, если говорить строго, оснований больших для того, чтобы ей избрать путь такой, сейчас еще нет. Тут, понимаете, много случайного: сходство поразительное, образ ей очень близок, общая наша работа. Это было для нее, понимаете, вроде большой игры. А сейчас она видите какая уже вымахала! Сейчас все это

может не получиться. А со своего нормального пути она сбивается. Ей надо учиться, учиться прежде всего, а все остальное уже потом видно будет. Может быть, и кино займется, а в жизни много интересного и кроме кино.

— Я, Александр Дмитриевич, — вдруг заговорил отец, — хотя и не вижу сам, но понимаю, что значит это самое искусство... Мне дочка в кино по ходу действия объясняет, что происходит. Халтуры терпеть никак невозможно.

— Вот-вот, — обрадовался Расщепей, — именно халтуры. А ее сейчас заманивают на это. Вот я и заехал к вам, хотел отсоветовать... Не надо, Симочка, сейчас за это браться.

Наступило неловкое молчание. Настройщик забарабанил пальцами по столу и наклонил голову набок:

— Разрешите мне слово, уважаемый Александр Дмитриевич.

— Пожалуйста, я не председатель. У нас тут не заседание, просто душевный, домашний разговор.

— Видите, Александр Дмитриевич, — начал настройщик, наклонил голову в другую сторону и пробарабанил пальцами по краю стола, — я отчасти тоже имею отношение к этой материи, и я так считаю, что раз способность есть и такой шанс выпал, то отвертываться от своего счастья зачем же? Люди мы, конечно, небольшие, живем по средствам довольно ограниченно, а Симочка, она уже довольно-таки подросла и в состоянии некоторое облегчение дать... Да, да, папа... Неуместно тут кулаком о стол брякать!.. Так что вы извините меня, конечно, но я тут не могу с вами иметь в данном вопросе полную солидарность.

Видно было, что настройщик старательно подбирает самые красивые слова.

— Как хотите, как хотите, — сказал Расщепей, резко вставая и не глядя на настройщика. — Я только хотел посоветовать... Ну, извините, мне надо ехать.

— Куда же вы так сразу, а чайку с нами? — вскочила мать.

Но Расщепей затряс головой, простился со всеми и уехал. Некоторое время все молчали.

— Большой человек, — задумчиво сказал отец, — и далеко смотрит.

— Не спорю, личность, конечно, примечательная, — поспешил согласиться настройщик. — Только в данном обороте имеет совершенно неправильное суждение. У каждого человека имеется свой шанс в жизни. Вот у Симочки сейчас он выскочил. Нельзя этого дела упускать. Ему хорошо так говорить, он уже свое в жизни приобрел: и машина, и квартира, и ордена...

Отец хотел что-то возразить, но настройщик опередил его, делая знаки нам, чтобы мы молчали:

— Я вам скажу, папа, что, если бы вы Симочкину игру видели своими глазами, вы бы сами не спорили.

И отец, как всегда в таких случаях, когда кто-нибудь грубо напоминал ему о его слепоте, сразу весь как-то обвис и больше уже не спорил.

Между тем на фабрике стали поговаривать, что у Расщепея неудача с новой картиной. Наш директор Бодров, с которым Расщепей работал много лет, получил большое назначение в Главный комитет. Временным директором остался его бывший заместитель. Он был, как говорили, приятелем Причалина.

Расщепей при встречах со мной, коротко кивнув, болезненно улыбался. Я не смела подойти к нему.

А Павлуша и Лабардан просто перестали со мной здороваться. Чудаки! Словно я была в чем-то виновата. Только один раз Лабардан, боком загородив мне путь в коридоре, глядя на меня сверху вниз, сказал:

— Ты, девчонка (я впервые заметила, что он говорит с легким кавказским акцентом), ты понимаешь, что ты делаешь?

А увидевший нас Павлуша крикнул с другого конца коридора:

— Что ты с ней толкуешь! Она же теперь — музыка-чушь!

Так они называли фильм, в котором я теперь снималась.

У нас с Причалиным дело тоже не вытанцовывалось. Я должна была играть маленькую колхозницу-огородницу, которая выращивает на колхозном огороде чудо-морковь, прославляет колхоз и в то же время занимает первое место на смотре самодеятельности, играя на рояле. Взглянуть на мою неслыханную морковь приезжают крупнейшие ученые страны, журналисты. Тут председатель колхоза влюбляется в молодую журналистку. Но в это время в колхоз под видом гостей приезжают двое вредителей. Они замышляют злодейское убийство председателя, я подслушиваю их разговор и в последнюю минуту спасаю председателя. Вредителей арестовывают, я играю на вечере самодеятельности марш из оперы «Аида». Председатель обнимает свою возлюбленную, и на этом фильм заканчивается.

Так все как будто было в порядке.

Я знала, что есть на свете вредители, что наши юные натуралисты выращивают действительно невиданные овощи, я слышала, как хорошо играют ребята-музыканты. Все это было в жизни. Но в картине, которую делал Причалин, мне было почему-то очень неловко играть. Я громко произносила слова и не верила им, изображала действие и сама чувствовала, что так люди не поступают. Случайности были нагромождены одна на другую без всякого разбора. Я сбивалась с тона и никак не могла понять, какой же я должна быть в этой картине, что во мне самое главное, какой у меня характер. А Причалин не умел объяснить это. Он начинал раздраженно орать на меня.

— Эка ты бестолковая какая!.. Как ты колорита не уловишь? — кричал он мне на съемках. — Ты что, снимаешься или так ходишь? Ты играй, играй, накачивай образ, лепи, лепи его!

А когда я однажды, не вытерпев, робко напомнила ему, что Расщепей учил меня действовать совсем не так — прежде всего старался объяснить мне самую суть эпизода, настроение, Причалин страшно обиделся:

— «Расщепей, Расщепей!»! Какое к этому касательство имеет Расщепей? Что ты мне тычешь Расщепея?

Но он и сам видел, что ничего у нас не получается. Когда мы просматривали готовые куски, я смотреть на себя не могла — так нелепо, фальшиво, заученно, так неестественно было все, что происходило на экране. Там двигалась неуклюжая, долговязая дура, говорила деланным голосом, двигала наведенными бровями, тарщила глаза. И это была я!

Однажды на таком просмотре в темноте вдруг раздался из угла знакомый голос:

— Что вы делаете с девчонкой?! Во что вы превратили девчонку?

Что произошло дальше, мне и сейчас трудно вспоминать. Дали свет. Причалин, шлепая обеими ладонями по столу, брызжа слюной, кричал что-то на всю просмотровую.

Прибежал новый директор. В дверь заглядывали работники фабрики. Меня выпроваживали, но я заупрямилась.

— Не уйду я...

— Сима, — очень тихо, но внятно сказал Расщепей, — надо уйти...

Я вышла в коридор. Дверь в просмотровую закрылась.

Что там происходило, я не знаю. Сперва слышались поперебой голоса Расщепея и Причалина. Потом что-то грохнуло, словно стул резко отодвинули.

И внезапно там, за дверью, стало очень тихо. Кто-то выбежал, оставив за собой дверь незакрытой. Я заглянула туда и увидела Расщепея. Кровинки не было у него в лице, и, криво закусив губу, он медленно сползал по стене, совсем как Степан Дерябин в нашей картине. Я успела обеими руками зажать себе рот и вцепилась зубами в ладонь, чтобы не закричать на весь коридор.

Лабардан, оттолкнув меня, ворвался в просмотровую и подхватил Расщепея. Кто-то нес, расплескивая по полу, воду в стакане, кто-то бежал к телефону. Меня оттерли в сторону.

Вышел Причалин, бледный, но сравнительно спокойный, стал в стороне, презрительно искривив рыхлый рот:

— Эка они, эти квёлые герои!

Тихий Павлуша подошел к нему и, сжав зубы так, что они скрипнули, спокойно сказал:

— Эх, и жабья вы личность!..

Меня трясло, как в ознобе, я должна была держать рукой подбородок, чтобы он не прыгал. Из просмотровой вышел директор:

— Товарищи, давайте спокойненько разойдемся. Ничего страшного. У товарища Расщепея обычный припадок, сейчас ему лучше.

Оказавшийся рядом Причалин сдержанно хихикнул:

— Удивительно, как порой кстати бывают эти припадки.

Они уходили вдвоем с директором. Причалин оживленно жестикулировал на ходу, и до меня доносился его квакающий голос. Я уловила обрывки фраз:

— Нет, каково? Как вам это... Как квалифицировать? Я должен расквитаться... поставить на актив. Я съезжу в комитет. Нельзя потакать...

Итак, Причалин еще думал расквитаться с ним!

Глава 14 **«Спасите его!»**

Все про меня забыли, и я просидела в темном коридоре до тех пор, пока не приехала вызванная по телефону Ирина Михайловна. Я не подняла головы, но слышала, как торопливо простучали мимо меня ее высокие каблуки. Потом Лабардан и Павлуша провели, поддерживая под руки, Александра Дмитриевича, и у подъезда фабрики загудела отъезжающая машина.

Пока я сидела так в полутемном коридоре, я все обдумала. Итак, решено: сниматься я больше у Причалина ни за что не буду! А теперь я должна искупить свою измену, я должна помочь Расщепею! О н и хотят расправиться с ним, собираются осудить его на собрании, они этим окончательно добьют его.

Воображение мое разыгралось. Все теперь стало рисоваться мне в самом зловещем виде. Мне уже казалось, что против Расщепея составлен целый заговор. Александру Дмитриевичу грозит смертельная опасность...

Я решила немедленно идти в Главный комитет. Там я расскажу, как работал со мной Расщепей, как хотел восстановить меня против него Причалин. Наш бывший директор товарищ Бодров теперь большой начальник в комитете, он поверит мне, он знает Расщепея...

Когда я вышла на улицу, уже совсем почти стемнело. Апрель стоял холодный, снега на улицах уже не было, его давно счистили, и простывшая улица казалась голой и неудобной. Ветер гнал холодную и колючую пыль по асфальту; мне сразу что-то попало в глаз, но я, не останавливаясь, бежала в комитет. Там у ворот вахтер сказал, что товарищ Бодров уехал и будет не скоро, только вечером на просмотре. Меня не пустили в комитет. Продрогшая, я ходила несколько минут перед высокой решеткой, огораживающей двор комитета, потом вспомнила, что в переулке в ограде есть незаметный пролом: мы однажды лазили через него с девчонками из Дворца кино на закрытый просмотр заграничной картины. В переулке никого не было, и я подтянулась к решетке и проскользнула во двор. Через минуту я была уже внутри здания.

По опустевшим коридорам комитета, с ведрами и щетками в руках, кропя желтой мастикой паркет, бродили одинокие босые полотеры. Я решила, что проберусь в кабинет Бодрова и дождусь его прихода. Ступая через желтые лужи мастики, стараясь не шуметь, я прошла по коридору, увидела на дверях дощечку с именем Бодрова и осторожно вошла в комнату. Это была комната секретарши. Ее сейчас не было тут. Я спряталась за портьеру. Вдруг на столе зазвонил телефон. «Пусть его!» — подумала я. Но телефон продолжал звонить. Он замолкал на секунду, опять звонил, он названивал неутомимо через короткие промежутки. Я испугалась, что кто-нибудь услышит телефон, войдет и еще заметит меня. Я на цыпочках подошла к столу и сняла трубку. Телефон покурлыкал немножко и замолк. Но

через минуту стал звонить телефон на другом столике. У этого звонок был еще голосистее. Дребезг его раздавался на весь коридор. Тогда я взяла трубку и, изменив голос, сказала:

— Я слушаю.

В трубке квакал знакомый голос:

— Клавочка? Доброго здоровья! Клавочка, Бодрова нет? Ты скажи, пожалуйста, ему, что Причалин звонил. Хотим заехать вечерком с директором. У нас тут такая катавасия с Расщепеем... Обнаглел, понимаешь, до крайности... Правда, спохватился, симулировал припадок. А? Каково? Знаешь его штучки? Так передашь? Ну, киваю!

— Передам, — пискнула я и положила трубку. Я постояла несколько мгновений у телефона и, услышав шаги в коридоре, спряталась за портьеру.

— Степанов, — услышала я резкий девичий голос, — вы бы поаккуратнее натирали. Смотрите, кто это по ковру наследил?

Проклятая мастика! Я, видно, измазала в ней ноги, и теперь следы выдавали меня.

— Мы, товарищ Глухова, и не натирали тут еще и не заходили сюда вовсе, — услышала я голос полотера.

— Как не заходили? Кто же тут навозил?

Я стояла за портьерой ни жива ни мертва. Но вдруг тяжелая материя зашевелилась, и я предстала перед изумленными взорами секретарши и полотера.

— Девочка, что ты здесь делаешь?

— Мне товарища Бодрова... Очень важное, и скорее надо. Я Сима Крупицына.

— Ну что ж, что ты Сима Крупицына? Зачем же ты тут стоишь?

— Я у товарища Расщепея снималась в «Мужике сердитом». Мне надо товарища Бодрова.

— Девочка, — сказала секретарша, — товарищ Бодров приедет сегодня поздно. У него просмотр, он не сможет с тобой говорить. Приходи завтра. Я доложу о тебе. Что это еще за прятки!

Минуту спустя я понуро брела по коридору к выходу, а за мной шел со щеткой в руках босой полотер и назидательно говорил:

— Когда недельная натирка идет, тут уж никакой ходьбы быть не может. А то что же получится — мы грунт наводим, а ты ноги макаешь. Иди, иди, следовой куда надо...

На улице было мокро. Мне сразу залепил все лицо мерзкий, липкий снег. И, как назло, я не послушалась мамы, не надела ботики. Кляклая жижа уже покрывала асфальт. Я шла по расквашенным тротуарам, и ноги у меня через несколько минут промокли. Но я решила добиться своего. Я должна была спасти Расщепея. Ждать Бодрова на улице было нелепо — кто его знает, когда он приедет. Я решила идти напрямиком в Кремль.

Долго я ходила около ворот Спасской башни. Мокрая метель шлепала меня по щекам. Сверху сквозь падавший сплошной стеной снег доносились близкие удары курантов.

— Эй, девочка, вы чего это тут все ждете? Простынете так.

Коренастый командир с мокрым румяным лицом, видневшимся из-под нахлобученного резинового капюшона, подошел ко мне.

— А как мне к товарищу...

Громкий гудок машины, выезжавшей в это мгновение из ворот кремлевской башни, заглушил мой голос, но командир понял.

— Вы, девочка, напишите лучше письмо, изложите там ваше дело... Можете занести сюда или в почтовый ящик опустите. Завтра его получат. А так зачем же стоять, мокнуть?

Я вернулась домой такая продрогшая, что долго не могла справиться с губами, чтобы произнести хоть слово, И отец, почуяв неладное, тронув ладонью мое мокрое лицо, кинулся переодевать меня, растер мне заочеченные ноги.

Мама уже спала. Я обо всем рассказала отцу. Потом я села к столу и написала два письма. Одно короткое — Расщепею. Я умоляла понять меня и не сердиться, простить мне измену и снова дружить со мной. Второе письмо я написала в Центральный Комитет партии.

«Вам пишет бывшая Устя-партизанка. Вы меня, конечно, не помните, но, наверно,

видели в кино, — писала я. — А в жизни я ученица 637-й школы Крупицына Серафима. Но это все неважно. Я прошу не за себя...»

Я заклеила письма в конверты, которые купила по дороге домой на почте, написала два адреса и собралась уже идти. Но отец сказал, что никуда меня не пустит, велел мне немедленно лечь, накрыться потеплее. Он сказал, что пойдет и сам бросит письма в почтовый ящик. Он заставил меня лечь, укрыл толстым стеганым одеялом, подоткнул с боков, погладил мне лоб, потом взял письма со стола, оделся и ушел. Я не скоро согрелась, меня познабливало. Но я собралась в комочек, подтянула колени к подбородку и незаметно для себя заснула. Так я и не слышала, как вернулся отец.

Глава 15 Яхта «Фламарион»

Три недели я пролежала с тяжелым бронхитом. Отец взял отпуск, днем и ночью я видела его около своей постели. Он сидел на стуле сухой, согнувшийся и дремал, но стоило мне только пошевелиться, как он сразу поворачивался ко мне и осторожной рукой касался подушки, неслышно добираясь до моего лба. Меня навещали друзья, часто приходила Катя, рассказывала о том, что происходит в классе, какие новости в школе. Даже Ромка Каштан однажды пришел навестить меня и принес журнал «Крокодил». А Александр Дмитриевич прислал мне маленькое письмецо:

«Сима-победиша! Все хорошо, труба-барабан! Хворать не надо, сниматься — тоже. Причалин отчалил от фабрики. А. Р.»

От настройщика мы узнали, что через несколько дней после истории на просмотре из Главного комитета прибыла специальная комиссия, картина Причалина была решительно забракована, временный директор и Причалин были отстранены от работы на фабрике. Звонили из Центрального Комитета, справлялись о здоровье Расцепей. Александр Дмитриевич был назначен художественным руководителем всей фабрики.

Я лежала и молчала, тихонько смеясь про себя. Я-то хорошо знала, кто помог так быстро решить все это дело.

Мама по-всякому старалась угодить мне, чуть что — бросалась к моей кровати, но папа ревниво перехватывал все у нее из рук и сам кормил меня, сам лекарства давал.

Однажды, когда отец ушел в аптеку, мама подошла к моей кровати и, глядя в мокрую тарелку, которую вытирала полотенцем, тихо вздохнула:

— Симушка... Ты на меня не серчай.

— Что ты, мама!

— Конечно, и моя вина. Не пускать бы, отговорить мне тебя тогда... А я послушалась этого Арсения Валерьяновича-то. Думала, ученый человек! А он... Вот уж правда, что Скрипичный Ключ!

— Да не надо, мама, забудь об этом. Вот еще!..

Но маме, видно, хотелось выговориться.

— А с чего все это? От старой жизни осталось, Симушка. Все ловчиться приходилось, боишься, бывало, свой час упустить, вот и изворачиваешься... А что я скатерть-то купила тогда, так ведь это я для общего обзаведения, для себя разве?

— Мамочка, ну что ты зря расстраиваешься!

Мама села на краешек постели, обняла меня, и мы с ней первый раз в жизни очень славно всплакнули вместе.

Когда я уже начала подниматься, приехал навестить меня сам Расцепей. Он был очень весел, лицо у него посвежело, глаза, казалось, стали еще синее. Он привез мне коробку конфет, наташил кучу книг по астрономии. Он рассказал мне, что сам ездил в школу, чтобы уладить там мои запутанные дела, и взял с меня слово, что я постараюсь нагнать упущенное в классе. Расцепей приехал проститься со мной перед отъездом в экспедицию. Картина «Мелкий служащий» снималась полным ходом. Мое письмо, должно быть, все объяснило

ему. Он был по-прежнему ласков со мной, обворожил всех наших. Пошутил с мамой, так что она замахала на него; крепко, как хорошему знакомому, пожал руку отцу и уехал. Я ничего ему не сказала о том, втором письме. Я решила, что он не должен знать об этом. Но в душе я очень гордилась собой: вот какую большую услугу я оказала своему другу и не хвастаюсь, молчу... Кто бы еще так утерпел в нашем классе?!

...Кончился учебный год. У меня было только одно «посредственно» — по немецкому языку, но зато по математике я имела годовую отметку «отлично».

Нелегко мне далось это «отлично». Были минуты, когда мне хотелось махнуть рукой на все и лишь как-нибудь, с грехом пополам, окончить год. Надо отдать справедливость нашим ребятам — они отнеслись ко мне очень чутко. И Тата, и Катя Ваточкина, и Соня Крук, и Ромка Каштан — каждый помогал мне по тому предмету, в котором сам был силен.

Терпеливая, медлительная Соня Крук занималась со мной по русскому языку. Дела у нас шли не очень быстро. В грамматике она была сильна, сразу замечала малейшую ошибку в тетради, но в жизни часто делала неверные ударения и ставила не те падежи. Она была родом с юга, и в семье у нее говорили неправильно. И могу теперь сознаться, что я была рада этому: по крайней мере, Сонька не могла важничать передо мной, поймав ошибку в моей тетради, — я через минуту ловила ее на невозможном ударении.

— Сима, ты опять написала третьего лица изъявительного наклонения «становится» через мягкий знак. Ты наверно получишь так «плохо».

— Не «третьего лица», а «в третьем лице», не «наверно», а «навёрное».

И мы были квиты. Занятия продолжались.

Катя Ваточкина во всем старалась подражать нашей учительнице немецкого языка: так же, как она, стучала карандашом по книге, отбивая: «Дер, дес, дем, ден...» И мы с ней два раза чуть не поссорились, потому что я не всегда могла сдержаться и фыркала, видя, как она старается изо всех сил выглядеть учительницей. Чтоб она тоже не слишком уж важничала, я иногда нарочно произносила выученные во время съемок французские фразы и спрашивала, как это будет звучать по-немецки. Бедная Катя мучилась, краснела, карабкалась со слова на слово, а потом обиженно заявляла, что по-немецки так вообще не говорится, это непереводаемо.

Ромка Каштан, принимаясь разъяснять мне урок, говорил каждый раз:

— Итак, следующий номер нашей программы: бесстрашный юноша смело входит в клетку пантеры. (Он уже повысил меня в чине.) Алле-гоп! Дан угол ABC. Требуется...

По математике он шел в классе первым. Объяснял Ромка все точно и со вкусом. Неожиданно он оказался очень терпеливым репетитором, подолгу засиживался со мной в классе после уроков и даже не острил, а только шумно вздыхал, когда я что-нибудь путала. В классе уже посмеивались над нами: поднимали глаза к небу и притворно вздыхали, когда видели нас вместе. А Ромка мрачнел.

— Думаешь, я не понимаю, для кого ты так стараешься? — сказал он мне однажды. — Это все Расщепей...

Я, должно быть, очень покраснела, потому что Ромка, запихивая учебники в портфель, с невиданной в нем серьезностью сказал:

— Эх, Крупицына, я ведь все понимаю...

Тут уже и я кое-что поняла:

— Ничего ты, Ромка, не понимаешь! Я действительно дала слово, но ты на это как-то глупо смотришь.

— Ну да... А я тебе нужен, только чтоб помочь слово сдержать.

— Рома, я к тебе очень хорошо отношусь всегда, а ты вечно сам мне пакости говорил, дразнился...

— А ты все сердишься на шутки, Сима? — проговорил он, взглянув на меня исподлобья, но тут же перешел на свой обычный тон: — Несчастный случай в клетке! Гибель юного укротителя на глазах у публики. Остались от мальчика рожки да ножки. Спешите видеть!

— Ромка, не надо, — сказала я, ну совсем как говорил мне Расщепей. — Ты же умный мальчишка! Давай дружить по-хорошему.

— Давай, — вяло согласился он.

И больше не заговаривал об этом.

Так с помощью ребят я нагнала упущенное, и когда вернулся из экспедиции Расщепей, я могла показать ему вполне приличную ведомость о годовых успехах.

Кроме того, я записалась в кружок юных астрономов при городском Доме пионеров и занималась там по выходным дням. Из картонной трубки и двух линз я соорудила небольшой телескоп для нашего отряда и, совсем расхрабрившись, на последнем перед каникулами сборе сделала даже доклад: «Как по солнцу и звездам ориентироваться в походе». Ребята были очень довольны, а Рома Каштан, когда кончили хлопотать мне, сказал:

— Ну, поздравляю! Теперь у нас в отряде уже не Крупицына, а Джордано Бруницына... Смотри только, если напутала нам со звездами и мы из-за тебя заблудимся, не попадайся к нам на костер!

Кончились занятия, и часть ребят нашего класса уехала в подмосковный пионерский лагерь. Я оставалась в городе, так как собиралась съездить к тете в деревню, под Егорьевск. Ребята прислали мне письмо из лагеря, прося поговорить с Расщепеем. Им очень хотелось, чтобы Александр Дмитриевич приехал в лагерь и побеседовал с пионерами у костра. У них уже побывали там знаменитый летчик и детский писатель. Теперь ребята просили уговорить Расщепея. Я позвонила Александру Дмитриевичу, сообщила ему о просьбе ребят, рассказала о том, как хорошо помогали мне мои товарищи в классе, и он, к моей радости, согласился:

— Ладно, съездим! Идет! Потолкуем с вашими.

А когда узнал, что наш лагерь недалеко от канала Москва — Волга, за четвертым шлюзом, совсем обрадовался:

— О, это здорово! Поплывем, труба-барабан! Я, кстати, и яхту уже спустил. Очень здорово!

Рано утром в выходной день он заехал за мной на своей золотисто-зеленой машине, и через час мы были у речного вокзала в Химках. Легкий ветер дул с водохранилища; осторожно, как стрекозы, садились на воду большие белые гидросамолеты и бежали, скользя по зеркалу, в котором отражалась белая воздушная громада дворца-вокзала с высоко поднятой в небо золотой звездой. Где-то, невидимая, скрытая от глаз, уже играла музыка, на верандах вокзала прогуливались приехавшие сюда спозаранку праздничные москвичи, шипели фонтаны, и от них утро казалось еще свежее и прозрачнее.

Яхта Расщепея стояла у берега, заведенная в маленькую бухточку. Это было легкое и красивое судно, с низенькой каютой, стройной мачтой. На солнце сверкали зеркальные окна каюты, медная отделка борта и иллюминаторов; на полосатой лакированной палубе, выгнув короткие медные шеи, по-галочьи разинули красные глотки вентиляторы. Ветер гнал легкую волну с водохранилища, и яхта подрагивала, сдерживаемая расчалками, как горячий конь в стойле, поводила крутыми боками, готовая, казалось, вот-вот прыгнуть вперед и помчаться. На белоснежном борту ее, у самого носа, накладными золочеными буквами было набито название: «Фламарион». У самого носа, под якорными клюзами, был укреплен обведенный красным кружок со стрелкой — наискось вперед. Это был астрономический знак планеты Марс — кружок со стрелкой, — похожий на ветку с двумя листочками и яблоком.

На берегу, у парапета, сгрудилось много народу, любясь красавицей яхтой. А на палубе длинный, как жердь, мальчишка с завернутыми по колено штанами, в замасленной матросской робе наждачной шкуркой надраивал медяшку.

— Котька! Здоров, приятель! — крикнул сверху Расщепей.

Длинный мальчишка сдвинул на затылок старую водническую фуражку, вскочил, подхватил швабру, лежавшую на палубе, выпрямился, потом словно провалился, исчезнув в люке, и в ту же секунду на мачту яхты взлетела пестрая гирлянда сигнальных флажков — красных, синих, желтых...

— Молодец! — сказал Расщепей. — Знает порядок.

Мы спустились вниз на мостик. Из люка яхты выпрыгнул и соскочил на берег длинный мальчишка. Клёши его были уже отвернуты во всю длину, роба застегнута; он отдал честь Расщепею, браво стукнув голыми пятками.

— Судно готово к отплытию, — сильно окая и неодобрительно покосившись на меня, сказал он. — Мотор в порядке, заправка окончена, продовольствие погружено, происшествий нет.

— Вольно! — сказал Расщепей.

И мальчишка совсем другим голосом, очень просительно сказал:

— Александр Дмитриевич, а вы про обещанную книжку не позабыли? Самого этого Фламариона сочинение сулили привезть. А то, на самом деле, хожу, хожу на посуде, а не знаю, к чему оно такое звание дадено.

— Привез, привез.

— Не одни, выходит, пойдем? — спросил мальчишка, снова метнув в мою сторону далеко не равнодушный взгляд.

— Да уж, смирись, — заметил Расщепей. — Вот, познакомьтесь кстати: это знаменитая Устя-партизанка (я заметила, что тут мальчишка завистливо посмотрел на меня), а вот это геройский подмосковный моряк Константин Чиликин. Мой друг, юнга нашего корабля и мой спаситель.

«Еще один спаситель», — подумала я без особого удовольствия.

Мы перетащили из машины припасы. Расщепей велел мне прибраться в уютной каютке, где на зеркальных окнах висели шелковые занавески с помпончиками. Сам он прошел на переднее место — там был штурвал, щиток управления мотором. Котька Чиликин через стеклянную дверцу с водительского места подозрительно приглядывал за мной.

— Ну, ты все проверил как надо? — спросил Расщепей у Котьки.

— Да чего вы сумлеаетесь? Сказано — все в порядке, значит, в порядке, — грубовато отвечал Котька. — А за это зря руками не хватаетесь, мотор этого не любит, чтобы его по-пустому ширяли.

— Ну ладно, ладно, не буду, не сердись, — примирительно сказал Расщепей.

Меня ужасно возмущал хозяйский тон Котьки. Как он смеет так разговаривать с Александром Дмитриевичем!

— Рывком-то не давайте, — поучал Котька. — Я знаю, вы это норовите всегда рывком, а к мотору подход знать нужно. Этак его и запороть недолго.

— Хорошо, хорошо, Котька, слушаюсь, — кротко соглашался Расщепей и незаметно подмигивал мне. — Ну-ка, — крикнул он вдруг капитанским голосом, — живо, Котька, отдай концы!

— Есть отдать концы! — с показным и бравым послушанием отозвался Котька, выскочил на палубу, отвязал расчалки и спрятал веревку.

Под полом каюты что-то загремело, заскрежетало, сзади вытолкнулась вместе с дымом струя желтой воды, и нас вынесло на середину водохранилища. Здесь Расщепей выключил мотор и распорядился поднять парус. Парус взвился, натянулся, затрепетал, солнце пронизало его насквозь, прозрачная тень легла на все судно, и яхта, наклонившись, бесшумно заскользила мимо речного вокзала, мимо высоких белых пароходов, мимо пляжа, у которого визжали и барахтались.

А я тем временем хозяйничала в каюте: убрала свертки с диванов, расставила складной столик, накрыла скатертью, распаковала припасы. Свернув парус, на моторе мы прошли глубокую выемку — узкий тенистый туннель, где внизу была вода, наверху — голубое небо, а с обоих боков — зеленые срезы крутых берегов. Потом опять, остановив мотор, подняв парус, мы скользили по водохранилищу мимо зеленого мыса и встречных яхт. У «Фламариона» был чудесный ход. Он легко резал носом струю, мягко разваливая ее и пропуская вдоль своих скользких белых бортов.

Сперва молчаливый, Котька постепенно разговорился, сообщил мне, что он «нижегородский, ходил по верховьям», а теперь учится в водном ФЗУ на канале и к

Александр Дмитриевичу приближен за спасение на водах... А учиться кончит — пойдет на большой теплоход.

Когда он сменил за штурвалом Расщепя, Александр Дмитриевич тихо сказал мне:

— Чудный парень, главное — дело свое любит, очень приятный парень. А он действительно однажды меня из воды тащил. Я сорвался. Правда, — он понизил голос и лукаво взглянул на спину сидящего впереди Котьки, — правда, я превосходно плаваю, полагаю, что и без него не утонул бы, но важно, что он бросился, не задумываясь, в новых штиблетах, не разулся даже. Хороший парень!

Днем мы побродили по озерам-водохранилищам. Бросали якорь в глубоких уютных бухточках, под нависающими деревьями, и мачта наша уходила в листву. Потом мы прошлюзовались и к вечеру пристали за четвертым шлюзом. Ромка Каштан ждал нас здесь уже со смешными, комариного вида дрожками на высоких тонкоспицых колесах под задранными вверх крыльями. Ромка был очень горд, что ему доверена лошадь; он ходил вокруг смиренного пегого мерина и все кричал грубым кучерским голосом:

— Стой, Спирька, стой, тебе говорят, а то как дам! Прррр, окаянный!

Котька категорически отказался оставить яхту и ехать с нами в лагерь:

— Моя должность — при судне быть, — сурово сказал он, — в случае чего, может, отваливать придется. А ты, — сказал он тихо, отведя меня в сторону, — ты за Александром Дмитриевичем там поглядывай, чтобы ребята там его не замаяли. Он ведь больной, за ним надобно присматривать.

Хотя Ромка хорошо усвоил кучерской бас, Спирька его не слушался и все норовил свернуть куда-то влево.

— Что, это тебе, видно, Ромка, не гиен укрощать? — шепнула я ему.

Он покраснел. Пришлось, к великому конфузу Ромки, вожжи взять Расщепю. Александр Дмитриевич легонько присвистнул, натянул вожжи, и лошадь, словно почувствовав руку бывшего человека, с опаской покосилась назад, разом рванула вперед и пошла широким, спокойным махом.

В лагере нас встретили страшным гамом, коллективным приветствием Расщепю («Да здрав-ству-ет наш лю-би-мый ар-тист!» и т. д.). А когда чуточку стемнело, в ложбинке за лагерным лесом сложили пирамиду из сухих елей. Ребята из кочегарной команды, обнаженные по пояс, подошли с факелами, пламя коснулось сухих ветвей, и под громкое пионерское «ура», под дробь барабанов и раскаты горна вскинулся, затрещал жаркий лагерный костер. Ребята сидели чуточку поодаль, расположившись полукругом на склоне холма.

— Просим, просим! — кричали ребята и хлопали.

Расщепей поднялся с травы, вышел вперед, стал спиной к костру. За ним бушевало пламя, лица Расщепя не было видно, вся его небольшая крепкая фигура была словно обведена раскаленным контуром.

— О чем же мы с вами будем говорить, ребята?

— Расскажите о себе... Как вы сделали таким...

— Хорошо, я вам расскажу, ребята, о себе и как я сделался артистом и режиссером. И вообще давайте потолкуем о том, что такое удача в жизни и как люди добывают счастье.

Он рассказал, как мальчишкой его выгнали из гимназии за то, что он участвовал в подпольных кружках, разносил нелегальную литературу; рассказал, как ушел он на фронт в гражданскую войну из университета, где он собирался остаться при кафедре астрономии. Потом я еще раз услышала уже знакомую мне историю с Котовским, когда он вместе с легендарным комбригом, переодевшись в казачьего есаула, ловил банду Антонова. Говорил он затем о своей работе, об искусстве, о том, как работал со мной в кино.

— А еще Крупицыну вы будете снимать? — крикнул кто-то из ребят.

— Нет, друзья мои, я думаю, ей сейчас больше сниматься пока что не стоит. Пусть сейчас учится. А там видно будет. В искусстве путь к совершенству, к мастерству очень мучителен. Я вот считаю, что и учиться на «посредственно» далеко не похвальное дело, а уж

в искусстве посредственностью быть — это совсемдохлое дело, гроб и свечи.

Кто-то фыркнул, но остальные молчали, только жарко и звучно постреливали сучья в костре.

Расщепей прислушался к молчанию ребят и, видимо, что-то уловил в нем.

— Я знаю, что многие из вас думают, будто Крупицына упустила свое счастье. Есть такая глупая, скверная теория о том, что у каждого человека есть «свой раз в жизни», что надо ловить счастье, миг удачи, не терять этого шанса. Это у мещан, у обывателей самая ходовая мораль. Есть такие люди и у нас. Дорвутся до счастливой случайности и уже стараются держаться за нее всю жизнь. И если дело не выходит, они уже чувствуют себя исчерпанными до дна. На все другое их не хватает. Это жалкие люди, рыцари одного раза.

Расщепей замолчал. Опять стало слышно, как потрескивает догорающий костер.

— Можно вопрос? — крикнул Ромка Каштан. — Ну, а все-таки: ведь может быть в жизни какой-нибудь особенный, самый главный случай? Вот как знать, чтобы его не пропустить?

— Хорошо, — сказал Александр Дмитриевич, — я вам на это отвечу сказкой.

Сказка про самый крайний случай

У одного очень почтенного человека росло пятеро сыновей, — так начал свою сказку Расщепей. — Братья жили в ладу, крепко стояли друг за дружку, во всем советовались с отцом, и отец говорил, что знает их как свои пять пальцев. Он даже и звал их так: старшего — Большим, второго — Указательным, среднего — Средним, предпоследнего — Безымянным, а самого младшего — Мизинчиком. И вот однажды отец позвал всех пятерых и сказал им:

— Сыны мои, я чувствую, что скоро смерть явится за мной. Пора вам самим братья за дело и добывать себе счастье. Живите смело, дети мои, работайте честно и не трусьте. Храбро беритесь за большие дела, а коли придет черный день, крайний случай, то вот оставляю я вам на тот крайний случай эти золотые кольца. Их тут как раз пять. Это волшебные перстни, в них чудесная сила: стоит только снять такой перстень с пальца, сказать свое желание и дунуть в кольцо — и загаданное мигом исполнится. Только запомните, сынки: каждый перстень может действовать лишь один раз. Как он сослужит свое, так на палец уже обратно не наденется и сила его пропадет. Запомните это и берегите каждый свой перстень на самый крайний случай.

И отец надел перстни: старшему сыну на большой палец, второму — на указательный, среднему — на средний, предпоследнему — на безымянный, а самому младшему — на мизинчик. Вскоре после этого отец умер, и пошли искать счастья по свету пять братьев: Большой, Указательный, Средний, Безымянный и Мизинчик.

Большой Брат решил твердо выполнить завещание отца, не истратить волшебную силу перстня на пустяки. А жизнь ему выпала на долю трудная. Приходилось работать с утра до ночи. Семья у него была большая, жена костлявая и сердитая, дети золотушные, ленивые и дерзкие. Жили они в крайней нужде. Но Большому Брату все казалось, что это еще не самая крайность. Он берег перстень на самый-самый крайний случай. Жена знала, что у мужа есть заветное кольцо, которое может принести им всем счастье. Сколько раз упрашивала она мужа пустить перстень в ход! Но как ни молила, как ни кляла она упрямого муженька, тот все твердил:

— погоди, жена, не торопись, может, то еще не крайний случай, может, нам еще хуже придется. Что тогда станем делать без кольца? Давай потерпим.

Однажды поехал Большой Брат за рыбой на озеро. Поднялась буря. Огромные волны подхватили лодку и опрокинули ее. Стал Большой Брат тонуть. Лодку угнало, а Большой Брат барахтается и вот-вот захлебнется. Вспомнил он тут про кольцо. «Вот бы, — думает, — сейчас лодку новую, да поближе, загадать. Да жаль на какую-то лодчонку такое наследство тратить. Может, это еще не крайний случай. Побарахтаюсь да выплыву...» Но тут огромная

волна накрыла его с головой. Так и утонул Большой Брат вместе с заветным перстнем, ни другим, ни себе не добыв счастья.

Брат Мизинчик решил поступить совсем по-иному. Он был беспечным человеком, любил вино и веселье. Когда умер отец, Мизинчик почувствовал желание выпить.

— Чего я буду ожидать какого-то там крайнего случая, да и придет ли он еще! — закричал Мизинчик. — Я и сейчас уже чувствую крайнюю жажду. Разве этого не достаточно?

И он созвал гостей, рассадил их вокруг пустых столов, снял с мизинца заветный перстень и громко произнес:

— Хочу, чтобы все мы тут были сыты до отвала, пьяны до упаду.

С этими словами он дунул в кольцо — и тотчас же длинные столы покрылись скатертями, и тысячи блюд со всевозможными кушаньями появились на них, окруженные частоколом из бутылок. Три дня и три ночи пировал Брат Мизинчик со своими гостями. Некоторые так напились, что у них после три года душа вина не принимала. Другие так пресытились, что потом три года донимала их отрыжка. Брат Мизинчик решил, что он добился счастья, и, довольный, уснул под столом.

Но когда он проснулся на четвертый день, когда продрал он глаза, голова у него болела с похмелья, а гости уже ушли, все съев до крошки, все выпив до дна.

«Ладно, — сказал себе Мизинчик. — Пойду я к тем, кого угощал. Уж наверно они поднесут мне чарочку и закусить дадут».

Но застольная дружба не очень-то крепка, винный пар — дело не вечное. Чокались — чмокались, проспались — расстались. Многие из вчерашних гостей сегодня и смотреть на Брата Мизинчика не могли — так они насытились. У них от одного его вида к горлу подкатывало. А жены их кричали Мизинчику:

— Иди подобра-поздорову, нечего мужей наших спаивать!

Обидно стало Брату Мизинчику. Пошел он куда глаза глядят, не зная дела и не находя пристанища. Пожалел тогда, что по-пустому, для неблагодарных людей, растратил он силу волшебного перстня, да поздно уж было. Так и умер Брат Мизинчик в нищете, всеми оставленный, и ничего, кроме одного хорошего воспоминания, не было у него в жизни. А это хоть и нельзя назвать счастьем, но за утешение счесть можно.

Средний Брат был человек положительный и расчетливый. Он во всем придерживался золотой середины.

«Только дурак может потратить волшебную силу такого наследства на первую прихоть, — сказал он себе, — но нет смысла и расчета ждать всю жизнь, когда выйдет случай пустить кольцо в дело. И потом — стоит ли в один раз истратить волшебство целиком, не получив даже сдачи? Тут надо быть деловым человеком. Нет, я сделаю так, что перстень будет мне служить понемножку всю жизнь. Я пушу его в оборот. Надо только найти человека с большой бедой».

И пошел Средний Брат искать человека с большой бедой. Искать ему долго не пришлось. Бед и несчастий на свете предостаточно. И скоро он увидел в окне уютного домика чисто одетого человека с таким печальным лицом, что сразу догадался: тут, верно, имеется большое горе. От соседей Средний Брат узнал, что хозяин дома, которого он видел в окне, — уважаемый гражданин, усердный работник, муж прекрасной женщины, но очень несчастлив как отец.

Долго они с женой поджидали детей, наконец родились близнецы — мальчик и девочка. У детей были чудные личики, но росли они горбатыми. И с тех пор вместе с детьми росло в чистом домике великое родительское горе.

«Вот это мне и надобно», — сказал себе Средний Брат и постучал в дверь домика.

Ему открыла хозяйка, и у нее были такие грустные глаза, что даже сердце Среднего Брата, всегда бившееся ровно и мерно, сделало два лишних удара. Но Средний Брат взял себя в руки, и уже в следующую минуту сердце его отвесило на два удара меньше обычного, чтобы восстановить равновесие.

— Улыбнитесь, хозяйюшка, — сказал Средний Брат, — и зовите сюда хозяина. Я принес счастье в ваш дом. Я выправлю вам ваших ребят. Давайте их сюда. У меня есть верное средство. Только, разумеется, я не собираюсь выпрямлять ваших детей бесплатно. Вы должны кое-что пообещать мне.

— О, если вы действительно можете, — воскликнули муж и жена, — мы ничего не пожалеем! Сколько вы потребуете?

— Нет, денег я сейчас не возьму, — отвечал Средний Брат. — Что деньги! В наше время деньги — вещь неверная. Их могут украсть, а золото, когда оно долго лежит в монетах, дешевет и иногда превращается в медяшку. Мне нужно что-то более постоянное. Вот если вам дороги ваши дети, подпишите этот договор.

Он развернул длинную, как полотенце, бумагу. В ней были записаны условия: домик, сад, поле, все имущество отходило к Среднему Брату. Хозяева должны были вместе с детьми работать всю жизнь на Среднего Брата, кормить его и во всем ему подчиняться. Заплакали хозяин с хозяйкой, но что поделаешь! Отцу и матери дети дороже всего на свете. И хозяин подписал договор.

Привели детей, маленького горбуна и крохотную горбунью, с чудными, светлыми личиками. Брат снял со среднего пальца перстень, дунул в него — и статный красавец и гибкая, стройная девушка появились перед счастливыми родителями.

Хозяева отдали дом Среднему Брату, а сами стали жить в каморке. Они работали весь свой век на него, не смея роптать, и умерли от непосильного труда. И дети их тоже работали на своего избавителя. А он жил бездельником. Ему казалось, что он перехитрил и отца и всех братьев: заставил перстень кормить его всю жизнь. И он был уверен, что сделал себя и других счастливыми.

Однажды он услышал, как проклинали его соседи и как плакали исцеленные им сироты, и он заметил, что от работы и горя у них опять сгорбились спины. И понял тогда Средний Брат, что никого он не облагодетельствовал, что сам же он отнял счастье, которое мог бы оставить людям. Отец завещал братья за большие, добрые дела, и он бы мог сотворить что-нибудь великое, а он, думая растянуть волшебство, разменял его на мелкую монету, на поденные утехы. Ему стало стыдно за свою жизнь, за все, что он не сделал и упустил... И когда хоронили его, все молчали над могилой, потому что плохо о мертвых говорить не принято, а хорошего о покойнике сказать было нечего.

Безымянный Брат был самым робким из пятерых. Слова отца его перепугали.

— Скажите пожалуйста, — бормотал он, — черный день... крайний случай... Вот еще напасти, право! Неужели со мной когда-нибудь это случится? Это просто ужасно! Жди теперь всю жизнь этого. Нет, я хочу жить в покое и без страха. Пусть со мной никогда ничего не случается, я собираюсь жить тихо и без всяких крайностей.

И, произнеся это, он снял с безымянного пальца кольцо и дунул в него. Сразу упал ветер; тучи, собиравшиеся в небе над ним, разошлись. Одна молния, уже выскочившая стрелкой из тучи, поспешила вобраться назад, и даже комар, собравшийся сесть на нос Безымянного Брата, улетел прочь.

Так и стал жить Безымянный Брат в полном безветрии, при тихой, ясной погоде. С ним никогда ничего не случалось. Его даже мухи не кусали. Насморка и то ни разу не было. И сам он никому никаких неприятностей не доставил. И жизнь его была так легка, что сам он не заметил, что уже прожил ее: ему даже вспомнить было нечего. Жизнь была гладка, как морской камешек, не за что было и памяти зацепиться. И так ему стало скучно в старости, так захотел он, чтобы хоть что-нибудь с ним стряслось... Ну хотя бы кошка его оцарапала или ушибся бы он больно, в крайнем случае, — было бы хоть о чем вспомнить и порадоваться, когда все заживет. Но с ним так ничего и не случилось.

Тогда с тоски он решил повеситься. Но это было бы уже происшествие, а перстень действовал, как было загадано, и веревка тотчас оборвалась. Тут Безымянный Брат решил утопиться, но едва вошел он в реку, как вода отхлынула от него. Так и пришлось ему медленно умирать от скуки. И никто не заметил смерти Безымянного, потому что никто не

замечал, что он жил на свете.

Только один Брат Указательный не задумывался долго над тем, как ему поступить с завещанным перстнем.

— Пальца он не жмет, носить его не тяжело, работать мне он не мешает, разве только вот сморкаться несподручно, — сказал он, надев кольцо на указательный палец. — Ну, да долго голову ломать над ним мне некогда. А в крайнем случае, может быть, и пригодится.

И он пошел, насвистывая, искать по свету свое счастье. Он долго странствовал по городам, морям и селам, было ему и сытно и голодно, и весело и грустно, и жарко и зябко, палило его солнце и вьюга била. Но он никогда не унывал и редко вспоминал о перстне, разве только когда нос утирал, потому что человек он был простой и обходился без платков.

Однажды напал на него в лесу злой человек, увидел золотое кольцо и позарился на него. Но Брат Указательный был человек сильный и так ударил разбойника кулаком с тяжелым перстнем, что разом и вышиб дух вон.

— Вот и пригодилось уже колечко, — сказал Указательный.

В другой раз увидел Брат Указательный ребенка, который громко плакал на руках у матери. Подставив золотой свой перстень под солнечный луч, Брат Указательный пустил таких веселых зайчиков, что дитя засмеялось, потянулось ловить золотых живчиков и вскоре успокоилось.

— Вот и опять к делу пришлось, — молвил Указательный.

Вскоре Указательный Брат встретил девушку, прекраснее которой он никогда не видел. Она была так добра и ласкова, так хороша собой, что женщины, которые собирались стать матерями, приходили к ней и подолгу смотрели на ее лицо, чтобы дети у них рождались такими же красивыми. Брат Указательный всем сердцем полюбил эту девушку, и она ответила сильному и веселому человеку такой же славной любовью. Они решили стать мужем и женой и, по старому обычаю, захотели обручиться кольцами. Девушка сняла со своей руки простенькое медное колечко с вправленным в него осколком горного хрусталя, а Брат Указательный, ни секунды не размышляя, стащил с указательного пальца заветный перстень и надел на руку невесте.

— Вот наконец и нашел я ему подходящее место! — воскликнул он.

Но девушка, увидев на своей руке дорогой перстень из чистого золота, смутилась:

— Нет, нет, это слишком дорого для меня. И оно мне велико...

А когда узнала, какая волшебная сила таится в кольце, то совсем не хотела брать его:

— Нет, я не могу его взять себе, оно же тебе пригодится в крайнем случае.

— Вот как! Разве я обязан ждать крайнего горя? — воскликнул Брат Указательный. — И что мне бояться черного дня? Если ты меня всегда будешь любить, самый черный день мне покажется праздником, а если разлюбишь, и загадывать будет нечего и жить станет ни к чему...

— Хорошо, — сказала тогда девушка, — но мне теперь тоже больше ничего в жизни не надо, и я никогда не сниму кольца с руки, никогда ни за что не расстанусь с ним.

И она надела перстень, который вдруг стал сжиматься на ее пальце, пока не оказался впору ей. И они стали жить да поживать вместе. Жили они дружно. Всяко бывало у них. Было им и сытно и голодно, и жарко и холодно, и весело и грустно, и солнце их палило и вьюга их била — всяко бывало. И оба берегли свои кольца: он — простое медное колечко с осколком горного хрусталя, она — заветный золотой перстень. И оба были счастливы. Так постарели они, и уже не такими ловкими стали умелые руки Брата Указательного, и часто вываливалась из них работа.

Однажды над городом разразилась буря с грозой и ливнем. Река почернела, вспухла и двинулась на городок. Холодные черные волны разрушили домик, в котором жили Брат Указательный и его жена. Их не было в тот час дома, и все, что было скоплено за жизнь, все унесла злая река. И когда узнал об этом Брат-Указательный, он первый раз поглядел жене на руку.

— Нет, ни за что! — вскричала жена. — Мы вместе, что нам еще надо?..

А тем временем ураган стал еще сильнее, ветер и ливень обрушились на город, неся смерть и разорение людям. Брат Указательный бросился спасать женщин и детей из разрушенных домов. Много часов он помогал людям, спасал детей, но ураган делался все сильнее, все грознее, и тогда Брат Указательный решился напомнить снова жене о перстне. Но внезапно буря улеглась. Река вобралась в берега, стало тихо, и Брат Указательный услышал негромкий плач за собой. Он обернулся и увидел, что жена стоит перед ним на коленях и прячет руку за спиной. Он взял ее за плечи и поднял и тут заметил, что кольца не было на ее руке.

— Прости меня, — сказала жена, опустив голову, — я нарушила обет, я сняла кольцо и остановила им бурю. Разве можно быть счастливыми, когда кругом такое горе? А мы с тобой проживем как-нибудь.

Кто-то слышал эти слова, и скоро все узнали, кто, отказавшись от своего счастья, спас город. Благодарные горожане построили им новый дом, и они жили долго и счастливо, не зная нужды и сожалений, окруженные славой, и в старости им было что вспомнить...

Так закончил Расщепей свою сказку. Костер догорел, и только тлели еще головешки да кое-где пробегал юркий огонек.

Глава 16 Великое противостояние

— Хорошая сказка, — сказал кто-то из ребят. (И я узнала голос Кати.) — Значит, правильно поступил только Указательный?

— А как вы думаете? Не случайно я его Указательным сделал. — И Расщепей поднял палец. — Ну, а Мизинчик, — проговорил он вдруг. — Брат Мизинчик? Он тоже неплох, он мне, знаете, нравится, и счастье он все-таки узнал, хотя глупое и короткое.

— Александр Дмитриевич, — спросил неугомонный Ромка, — а если бы у вас было такое кольцо, вы что бы загадали?

— Я? — Расщепей задумался. Потом он тихо, но твердо сказал: — Я бы выхлопотал себе лишний годик жизни, ну, хоть полгодика, но наверняка. Очень хочется успеть... закончить несколько вещей. Кажется мне, что у меня выйдет. И я помогу немножко людям жить получше, вернее разглядеть свое счастье... Нет, нет, — воскликнул он, заметив, должно быть, что наступило тревожное молчание, — я умирать не собираюсь, у меня еще дел пропасть! Но вот сердце у меня иногда пошаливает, хотелось бы мне вернее заручиться здоровьем... Да и таланта прикупить не мешало бы.

— Так это, по-вашему, неверно, что у каждого есть свой р а з в жизни? — спросила на этот раз уже я.

— Погодите! Ну что значит — р а з в жизни?.. Вы знаете, у нас немало людей было, которые даже не раз в жизни делали как будто замечательные дела, а потом на поверку какими они оказались? Нет, ребята... Не раз и не два. *По-нашему, надо всю жизнь достойно, толково прожить и каждую минуту быть в готовности, если потребуется, все свое отдать до конца, все начать сызнова!*

Он помолчал, поднял вдруг голову к небу и, не ища, сразу указал пальцем на красную, низко стоящую звезду.

— Вот, например, планета Марс, — сказал он. — Видите?

Все обступили Расщепея, стараясь из-под его руки увидеть, что он показывает.

— Вы, наверное, слышали, что только раз в пятнадцать лет Марс сближается с Землей, чтоб людей посмотреть и себя показать. Называется это (Сима знает!) великим противостоянием... В это время все астрономы, ловя удачу, нацеливают свои телескопы на Марс. Тут зевать нельзя. И вот было однажды, во время великого противостояния заметил один удачливый астроном какие-то световые сигналы на Марсе. Шум, труба-барабан, поднялся невероятный! Решили, что обитатели Марса сигналият нам огоньком. Ну, а вскоре оказалось, что это были всего-навсего лишь солнечные отсветы на облаках

Марса. Кончился этот переполох разочарованием... Потом, вы знаете, Скиапарелли каналы свои на Марсе рассмотрел. Это было во время великого противостояния тысяча восемьсот семьдесят седьмого года. Люди были уверены, что вот наконец добрались до истины: там, на Марсе, есть разумные существа. Шутка ли сказать — целая сеть каналов! Астроном Лоуэл ухитрился даже определить скорость течения воды по этим каналам. Прошло время, наступило новое противостояние — хлоп! — оказалось, что и каналов-то никаких нет, а все это оптический обман.

— А на самом деле там есть кто-нибудь? — спросила Катя.

— Эй, на Марсе, есть кто? — сложив рупором ладони, громко крикнул в небо Расщепей. Все рассмеялись. — Не откликаются, — сказал Расщепей. — А ужасно хочется, чтоб и там что-нибудь жило... Вот ближайшее великое противостояние будет очень скоро — в этом году, 23 июля. Может быть, что-нибудь новое откроют... Техника становится все совершеннее, к каждому такому противостоянию земная наша наука приходит все более мощной, все более опытной. Но я к чему все это? Видите, как упряма и неумолима наука. А в жизни самого человека большие события не повторяются, конечно, с такой регулярностью, но все-таки человек, если он только растет правильно, к каждому великому противостоянию своей судьбы приходит все более зрелым, обогащенным, все более близким к истине.

Расщепей замолк, и долго мы стояли вокруг него, теснясь и вглядываясь в маленькую красную звездочку, низко повисшую над горизонтом.

— Ну, хватит философии! — заявил Расщепей. — Давайте-ка запалим снова костер и устроим танец диких... Хотите, я вас, сено-солома, научу настоящему боевому танцу племени чумбукту?..

И мы скакали, то пригибаясь, то вертясь, то хлопая в ладоши, вокруг костра, потом брались за руки и, топая, прыгали с ноги на ногу, и наш предводитель, неистовый Расщепей, с разбегу перемахивал через костер.

— Только, пожалуйста, никому не рассказывайте, чему я вас научил, — отдуваясь, говорил он, — а то попадет мне от ваших старших.

Потом он затеял играть в горелки. Ловить досталось Кате. Все, конечно, старались попасть в пару с Расщепеем. Но он сам протянул мне руку. Мы стали на место, перемигиваясь за Катиной спиной.

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо —
Птички летят...

— Звезды горят! — звонко крикнул Расщепей, и мы разбежались.

Катя бросилась за Александром Дмитриевичем. Тот ловко метнулся в сторону, но вдруг стал. Катя вцепилась в его рукав, торжествуя.

— Эх, вы! — сказала я неосторожно.

— Да, разлучили нас, Симочка, — пробормотал он, виновато улыбаясь и трудно дыша. — Не могу я, видно, бегать...

И, сразу помрачнев, стал прощаться с ребятами.

Когда мы вернулись на яхту, верный страж «Фламариона» Котька Чиликин безмятежно спал, уткнувшись лбом в спинку кормового дивана. Весь затылок, все волосы его были в репьях и колючках. Расщепей растолкал его. Он поднялся, очень смущенный.

— А что это голова у тебя вся в терниях? — спросил Расщепей.

— Это я нарочно в волосья натыкал, чтобы если засну ненароком, так головой-то приткнусь, оно в меня и вопьется, я и очухаюсь.

— Как же ты все-таки заснул? — смеясь, спросил Расщепей.

— Так кто ж его знал, что я обратно лбом вопьусь... На носе-то колючки не держатся.

Александр Дмитриевич ущемил его нос двумя пальцами и поводил им из стороны в

сторону...

Мы снялись с якоря и поплыли. Расщепей хотел пройти последний шлюз, чтобы выйти к Дмитрову, а затем спускаться на нижний бьеф канала, к Московскому морю. Но мы так заболтались в лагере, что пропустили время. Когда мы подошли к башням шлюза, там, за воротами, медленно оседая, уже уходила вниз освещенная громада шлюзовавшегося теплохода. Нам сказали, что придется подождать до утра. Мы отошли на несколько метров от ходового русла, и Котька причалил у одного из больших бетонных устоев, торчащих из воды. Котька был очень сконфужен тем, что заснул на вахте, мрачно отмалчивался, отказался от еды, лег на корме и накрылся брезентом. А мы с Александром Дмитриевичем закусили. Он достал бутылку вина, налил себе стакан и мне чуточку плеснул в чашку.

— Котька! — крикнул на корму Расщепей. — Угоститься хочешь? Слабенькое.

— Я сроду непьющий, — отвечал из-под брезента Котька.

Мы чокнулись. Расщепей поднял стакан:

— Ну, давайте выпьем за хорошую удачу, за то, чтобы она чаще приходила, за то, чтобы всегда в жизни быть готовым к великому противостоянию.

Яхта едва-едва покачивалась. Было очень тихо; слышно было, как трется о борт чалка, которая держала нас у бетонного устоя.

— Все хорошо, — сказал Расщепей, — все, Симочка, великолепно. Ужасно я рад, что в такое время родился, в самый раз попал!.. Вот только здоровье у меня, гроб и свечи! Сидит во мне тут эта грудная жаба. Когда-нибудь возьмет да и придушит. Ах, какая это важная штука — здоровье, Симочка!.. Вы смотрите, люди встречаются, что первым делом говорят? «Здравствуйте!» Ведь первый вопрос: «Ну, как здоровьице?» Расстаются — желают друг другу доброго здоровья. Славят кого-нибудь — кричат: «Да здравствует!» Человек чихнет, ему сейчас же: «Будьте здоровы!» Вот я налил сейчас себе и выпью этот стакан за ваше здоровье... Значит, это самое что ни на есть существенное — здоровье. От любого горя, от опасности, от беды можно уйти. А боль — в самом тебе. Это и есть ты сам. Это очень страшно.

На берегу громко верещали ночные кузнечики: «цирк-тырру, цирк-тырру», и стрекот их слился одну длинную, нескончаемую заунывную трель.

— Говорят про меня, что работаю я зверски, Симочка... Иногда я про себя думаю: «Вот так и букашка, видя, что ей каюк приходит, спешит отложить яички... И никакого тут геройства нет. Инстинкт продолжения рода». Нет, неправда, вру я, Симочка!.. Просто мне жалко и совестно, в случае чего, унести с собой то, что может пригодиться людям. Я разные штуки знаю и могу еще делать кое-что. И обидно — я бы еще на многое сгодился. У-у, я бы еще такое наворотил на свете, Мадрид и Лиссабон!..

— Да что вы, Александр Дмитриевич, — не вынесла я, — вы, по-моему, очень поправились.

— Да, это я что-то не вовремя по себе панихиду завел. Говорят, хороший актер на своем веку проживет тысячи жизней. Это верно. Только вот, оказывается, одну свою основную жалеешь больше, чем тысячу добавочных. А, ерунда! Я буду работать до тех пор, пока здоровье позволит. — Он на минутку остановился, и я видела, как во тьме блеснули его глаза. — Ну, а если здоровье не позволит, то я постараюсь обойтись без его разрешения. Вот! Пью за ваше здоровье!

Я долго не могла заснуть. Меня очень испугал тон Расщепей. Никогда раньше не говорил он об этом. Я лежала с открытыми глазами на узком диване в каюте «Фламариона». По воде, рассыпаясь на еле заметной ряби, бежали отблески от фонарей на шлюзе. Оттуда донесся сдвоенный бой склянок. Где-то далеко перекликались люди, все так же, не замолкая, верещали кузнечики на берегу, журчали струи воды у шлюзовых ворот. Я засыпала минутами и снова просыпалась, полная тревоги, потом забылась надолго. Когда я открыла глаза, в каюте все было уже голубоватым и часы на стене показывали четыре. Ныло плечо — отлежала на узком диване. Я поднялась осторожненько, чтобы не разбудить Расщепей. Он спал на диване у другой стены, закинув одну руку за голову, и изредка еле

слышно стонал во сне. Я долго стояла и смотрела на его спокойное лицо, чуть приоткрытые, вздрагивающие во сне губы, широкий выпуклый лоб и даже во сне не расходившуюся морщину между бровей. И я заметила у его рта новые, должно быть недавно появившиеся страдальческие складки.

Я наклонилась, не дыша, и очень тихо, едва касаясь, поцеловала закинутую на подушку руку; потом я вдруг испугалась, что он может проснуться и заметить меня. Тихонько вылезла я на корму.

Стояла предутренняя тишина. Вода была совершенно спокойна — неподвижная зеркальная целина. Мне даже стало жалко, когда я подумала, что скоро мы должны будем резать эту гладь носом яхты. Массивный бетонный причал с чугунным кольцом на одной из граней высылся, подымаясь прямо из воды. Я знала, что здесь очень глубоко, и от этого почувствовала в ногах какую-то странную неустойчивость, ощутив утлость нашего судна. Эта тишина и то, что я была сейчас одна-одинешенька, безлюдье вокруг и стальная гладь воды, отвесный бетон, гладкий и без единого выступа, — если свалишься, даже схватиться не за что... Мне стало вдруг почему-то очень страшно, меня ужаснула эта глухая неприступность. А небо быстро светлело, светлела вода, в воздухе посвежело, и от воды стал подыматься густой белый пар, как с блюдечка. Я зазябла, хотела пойти в каюту, но из нее навстречу мне поднялся, позевывая, Расщепей, и все мои страхи сразу прошли: с ним я ничего не боялась.

— Вы что не спите? — спросил Александр Дмитриевич. — Ах, воздух-то какой! Чудесное утро! Надо Котьку будить, скоро шлюзоваться будем.

Там, на выходных прямоугольных башнях шлюза, загорелись в тумане медные паруса на моделях кораблей Колумба. Выходило солнце, туман стал быстро сниматься в сторону, и за ним, как на переводной картинке, сперва лишь проглядывая, а потом вдруг разом зацветшее, полное еще влажных красок, проступило яркое утро, шлюзовые причалы, белые створные знаки в сочной зелени берега.

На башне шлюза зажегся зеленый сигнал.

Вскочивший Котька отвязал чалку, Расщепей включил мотор, и «Фламарион» тихо вошел в сонную заводь — наполненную камеру шлюза. Ни души не было вокруг, все свершалось очень таинственно. Сегменты ворот за нами всплыли и сомкнулись бесшумно, мы стали медленно опускаться, словно мягко проваливаясь, в пещерный сумрак шлюза. Потом впереди нас в высокой черной стене образовалась огненная расселина. Она ширилась. Открывались огромные молчаливые ворота. А там, за шлюзом, уже стояло наготове большое встречное солнце.

Глава 17 Последний шлюз

Напротив меня сидели рыжеватый человек в медных очках и железнодорожной фуражке, девушка с сонным лицом и молоденький аккуратный артиллерист, который в десятый раз перевязывал большой букет и, набрав в рот воды, опрыскивал цветы. А всю мою скамейку, сдвинув меня в угол, к окну, заняла маленькая старушка с бесчисленными мешками, котомками, баульчиками. Всю дорогу она их пересчитывала, закладывая на пальцах, потом сбивалась и принималась считать снова.

Прошел месяц после плавания на «Фламарионе». Я ехала погостить к тете в деревню, под Егорьевск. Поезд только что тронулся с полустанка, и паровоз зачертыхался, буксуя, взял с места, сперва медленно выдыхая, а потом, все учащенней и учащенней дыша, стал одолевать подъем.

Вагон был из новых, недавно покрашенный, еще не очень пропылившийся, только на окнах в репсовых занавесках с висюльками уже глубоко и толсто залегла пыль. Перед железнодорожником на столе лежали наушники радио. Их можно было получить в вагоне у проводника за особую плату; над каждым столиком была розетка трансляции.

Железнодорожник, сидевший против меня, мирно дремал, наушники даром лежали на столе.

Я попросила:

— Можно мне послушать немножко?

— Слушайте, барышня, — сказал железнодорожник, приоткрыв на меня один глаз.

Я надела наушники.

«...щепей. Картины его всегда занимали почетнейшие места среди лучших произведений советской и мировой кинематографии...»

У меня остановилось сердце. Я ясно почувствовала, как оно коченело, пока диктор, там, на радиостанции, медлил.

«Народный артист Союза Советских Социалистических Республик, орденосец Александр Дмитриевич Расщепей был...»

Был!.. Кажется, я закричала. Уши мои были зажаты чашечками наушников, я не слышала своего крика, я видела только, как встрепенулась сонная девушка, как удивленно взглянул на меня артиллерист и железнодорожник схватился обеими руками за очки.

Но почему же они сидят так спокойно, не бегут никуда, эти люди? Неужели их не оглушило это слово?! Я вскакиваю... Надо остановить поезд... Красная ручка тормоза совсем близко. Что-то с силой резко оттягивает мою голову назад. Железная скоба наушников, сорванная натянутым проводом с головы, больно хватает меня за горло и опрокидывает на пол. Надо мной склоняются пассажиры. Артиллерист приподнимает меня с пола, усаживает на скамью, осторожной рукой стряхивает пыль у меня с колен.

— Упали немножко? — растерянно спрашивает он.

— Видать, припадочная, — спокойно заявляет сонная девушка.

А я бьюсь головой об оконный столик и повторяю:

— Александр Дмитриевич!.. Александр Дмитриевич!

— Какого-то Александра Дмитриевича зовет, — слышится голос железнодорожника.

Вероятно, сообразив что-то, он высвобождает у меня из-под головы трубки, прикладывает к ушам.

— А, вон ведь что... — говорит он. — Должно быть, знакомый. Тут как раз передают сейчас. Умер известный Расщепей, орденосец.

Старуха соседка, поставив кошелку на колени, поспешно крестится. Потом ее рука легонько стучит мне в коленку:

— Ты, деточка, не надо так... Все мы на тот коленкор смётаны. А он тебе кем приходился-то, сродственник?

Я отчаянно мотаю головой.

— Летов-то ему уже много было?

Я опять мотаю головой.

— Стало быть, не в свой срок, — сочувственно вздыхает старуха.

На ближайшей станции артиллерист, осторожно поддерживая меня за локоть, помогает мне сойти.

— Виноват... вам, конечно, не до того, — говорит он неуверенно, — только ответьте: это вы сами, не ошибаюсь, исполняли Устю в его картине?

Я, закрыв глаза, молча киваю. Артиллерист мнетя, поправляет новенькую фуражку:

— Какой знаменитый человек был!

Был — и нет теперь уже Расщепей! Господи, как я его любила! Зачем только я уехала из Москвы? Нет Расщепей... «Да, Симочка, вот это действительно бывает только раз в жизни...» Если бы только он позволил, я бы сама сейчас умерла. Но он уже ничего не может позволить, а если бы он был жив, он бы запретил мне это.

Почти ничего не видя, вернее, ощупью я беру билет обратно в Москву, сажусь в первый попавшийся поезд.

* * *

На улицах Москвы висят афиши нового фильма: «Мелкий служащий», постановщик Александр Расщепей». На Дворце кино, во всех газетах его большие портреты в черной рамке. У колонн, увитых черным крепом и еловыми ветвями, толпится народ. Длинная очередь вытянулась по улице — это идут люди прощаться с ним.

Чья-то рука крепко берет меня за плечо. Лабардан, страшный, красноглазый, с сизыми, небритыми щеками, проталкивает меня в дверь дворца. Он бормочет что-то несвязное и вдруг начинает плакать, прижавшись щекой к моему затылку. Я чувствую, как бегут мне за шиворот горячие капли.

— Так и умер... с книгой... Фламарион... Вернулся после просмотра, лег читать, а утром пришли...

Тишина. Осторожные, шаркающие шаги многих ног и легкое сипение юпитеров. Всё те же знакомые юпитеры освещают его, журчит аппарат, и заплаканный Павлуша дрожащей рукой крутит ручку и все протирает, все-то протирает стекла объектива!..

Это последняя съемка Александра Расщепея.

Меня ставят в почетный караул. Я вижу рядом с собой стоящую у гроба прямую, строгую Ирину Михайловну; она поправляет складку материи. Я понимаю: этим жестом, легко касаясь его пиджака, она как бы подчеркивает — это прежде всего ее горе... И мне обидно. Она стоит прямая и гордая в своем ревнивом горе, словно ни с кем не хочет делить его. Красными, будто незнающими глазами смотрит она поверх меня.

А я никак не могу себя заставить взглянуть туда, где под склоненным алым знаменем — его голова, залитая сиянием прожекторов. И я не плачу сейчас. Но все во мне пересохло — горло, глаза; я только чувствую, что меня начинает раскачивать.

Я качаюсь все сильнее и сильнее, и кто-то подхватывает меня под руку, выводит в другую комнату...

В сумерки подъезд крематория похож на небольшой вокзал. К нему ведут дорожки, обсаженные багровыми каннами в черно-зеленых листьях. И сидят на скамейках провожающие.

Полон высокий зал. Огромная тихая толпа стоит во дворе и за оградой. Играет орган — то глухо содрогнется весь, то затрубит тревожно, то пройдет по верхам, точно ветер в лесу.

Молча стоят люди вокруг гроба Расщепея. Кто-то, должно быть Бодров, говорит речь:

— Товарищи, мы расстаемся сейчас с Расщепеем, нашим Расщепеем. Мы хороним замечательного человека, великого рыцаря искусства, который отдал долу нашего народа, нашей страны, своему любимому искусству всего себя вместе с большим и честным своим сердцем...

Кто-то осторожно касается моей руки. Я оглядываюсь. Ромка Каштан и Катя Ваточкина.

— Ну, чего вам?

— Симочка... — шепчет Катя, и лицо ее жалко кривится.

— Крупицына, — сурово перебивает ее Ромка, — нас ребята послали... чтобы мы тебе оказали... Ну, вообще, чтобы около тебя побыть... Но я бы, Сима, и так все равно... сам.

Но вот все немножко расступаются, и гроб начинает медленно опускаться, и я вижу лицо Расщепея в луче прожектора. Он лежит, чуть повернув набок голову, и, как тогда ночью, в каюте «Фламариона», я ясно вижу его непривычно приглаженные легкие волосы, и складку между бровей, и страдальческую черточку у насмешливых губ. И, как тогда, медленно оседает, опускается все глубже, словно судно в шлюзе, его гроб. Уже всплыли, двинулись, сойдутся сейчас створки за ним, и мой командир, мой капитан Расщепей проходит свой последний шлюз.

Но сегодня он уходит один, без меня, а я остаюсь здесь, на пустом отвесном берегу. Вот она, та самая ужасная неприступность!.. И теперь я плачу отчаянно, невыносимо, взхлеб. Потом, когда все кончено, я чувствую, как кто-то судорожно обнимает меня, гладит по волосам. Я поднимаю голову. Прямая, молча прижав к своему сердцу мою голову, плотно прикрыв веки, из-под которых медленно ползут слезы, стоит Ирина Михайловна.

— Сима, — говорит она почти беззвучно, и слова не трогают ее помертвевших губ, — вот это для вас. — Она протягивает мне большой конверт. — Это в его бумагах... для вас. Сима, родная, он к вам очень хорошо относился...

И опять я лежу в нашей зеленоватой комнатке на кровати, и отец прикладывает мне к запухшим глазам примочки из борной, и я держу на груди конверт с размытыми чернилами. Я уже все прочла.

В этом конверте оказалось письмо, которое я тогда написала в Кремль, и приложенная к нему записка Расщепея все мне объяснила...

«Я возвращаю вам одно ваше письмо, Симочка. Я незаконно задержал его. Отец ваш тогда по секрету от вас пришел ночью ко мне и показал ваше послание в защиту меня. А я, пользуясь тем, что он не видит, подменил письмо, каюсь, другим конвертом. Не сердитесь на меня. Это еще был не самый крайний случай, и не надо было по пустякам беспокоить больших людей. Видите, мы справились сами. За меня была правда. А у нас правда всегда побеждает. В конце концов, не важно, дошло ли то ваше письмо по адресу или нет, — важно, что вы хотели сделать это и сделали все, что от вас зависело. Спасибо, дружок. Все это вы узнаете только в том случае, если меня уже не будет в живых. Я не хотел вам говорить об этом при жизни, но со здоровьем у меня окончательно табак дело. Я, вероятно, долго не протяну... На всякий случай я и заготовил вам это послание. Прощайте, славная моя Устя-партизанка, прощайте, Симочка! Не горюйте больше чем следует, живите смело и вспоминайте обо мне в дни великих противостояний. Ваш Александр Расщепей».

И сбоку рукой его был нарисован астрономический знак Марса: кружок и стрелка — знак, похожий на сучок с двумя листочками и яблоком.

— Папа, ну как же ты мог тогда мне ничего не сказать?

— Доченька, милая, — говорит отец, — не хотел я говорить тебе, что заходил к Александру Дмитриевичу. И ему обещание дал. Я ему тогда так сказал: «Как вы, говорю, будучи опять-таки человек партийный, то я считаю, нужно вам посмотреть, чего она тут накорябала. Ведь адрес серьезный». А он прочитал и говорит: «Да, говорит, это, конечно, совершенно излишне, но раз уж написала, что же делать... Не имею права. Только вы никогда не говорите ей, что показывали мне». Слово с меня взял. Вот тут он, видно, меня и обманул с конвертом.

И опять тяжело давят на мои веки уже совсем горячие, набухшие примочки, и в глазах у меня плывут красные кружки с остренькими стрелками, похожие на ветку с двумя листочками и яблоком.

Глава 18 23 июля 1939 года

Пароход «Киров» должен был зайти в Махачкалу и Баку, а оттуда уже взять курс на Красноводск.

Я ехала погостить к брату Георгию в Туркмению. Он давно уже звал меня, прислал денег на дорогу, и родители мои, чтобы я немножко рассеялась, разрешили мне поехать вместе с одной знакомой женщиной. Она довезла меня до Астрахани и здесь посадила на пароход. День был очень знойный, вода в море ярко зеленела, и пологие волны казались выточенными из малахита. Пароход отвалил из Астрахани в шесть часов вечера. Сухой береговой зной сменился влажной жарой, люди на пароходе забирались в тень, в трюмы, а я стояла на верхней палубе, смотрела на остававшиеся вдали плоские желтые берега, на спокойные зеленоватые просторы Каспия.

Недалеко от меня, прислонившись к перилам-поручням и не сводя с меня глаз, стоял высокий, очень смуглый паренек с тонким, чуть-чуть горбатым носом и длинными, близко сходящимися на переносице бровями. Ловко сидела на нем белая блуза с каким-то значком и красным галстуком, перетянутая узким ремешком. Он был в парусиновых сапогах, которыми, видно, очень гордился, и старался, чтоб тень от поручней не закрывала их. Мне

было скучно ехать одной, и, поймав его взгляд, я улыбнулась. Он очень обрадовался, не скрывая этого.

— Извиняюсь, — сказал он, и застенчивый выговор его мне тоже понравился, — извиняюсь, пожалуйста, хотел спросить. В кино видел картину, «Сердитый мужик» называется. Пожалуйста, скажи, партизанка Устя не ты будешь?

— Я.

— Очень приятно, пожалуйста... Своими глазами увидел. Можно поговорить?

— Конечно, можно.

— Давай с тобой будем оба знакомые. Тебя будет как звать? Меня — Амед Юсташев. В Москву меня на выставку посылали.

Он оправил складки под пояском, убрал их назад.

— Ахалтекинцев я немножко учу, объезд им делаю. Понимаешь? Худай-Берген, помнишь, на коне в Москву ходил, — дядя мой. А ты тоже коня любишь, я видел в кино: ты хорошо едешь, тебя конь знает...

Я покраснела. Он думал, что я на самом деле так лихо скакала в картине.

Мы разговорились, и оказалось, что он хорошо знает моего брата Георгия, живет по соседству с ним.

И через полчаса мы уже строили планы, как мы станем дружить, как будем ездить верхом далеко в горы, какие пещеры замечательные покажет мне Амед Юсташев.

— Знаешь, пожалуйста, что я тебе скажу, — произнес он вдруг убежденно, — ты, если сравнить, в жизни в тысячу раз лучше, как в кино, честное тебе слово даю.

— А это, между прочим, в картине не все время я сама на лошади ездил. Там в некоторых местах другая, из цирка, за меня. И пела это тоже не я. Это так делают в кино.

Но Амед смотрел на меня по-прежнему с доверчивым восторгом.

Помолчав немного, он спросил крайне деловито:

— Ты школу кончишь, на кого учиться пойдешь? На артистку?

— Нет, — сказала я очень твердо. — Нет, — повторила я, чтобы самой еще раз услышать это, — я буду, непременно буду астрономом.

— Солнце, звезды учить будешь! — обрадовался почему-то Амед.

Уже далеко отплыли мы в море. Темнело. Давно скрылись берега, но все еще попадались слева и справа торчащие из воды вешки. Это было даже обидно немного. Море казалось каким-то ненастоящим. Но когда стала обступать нас темнота, было уже приятно думать, что и здесь, в пустыне моря, кто-то заботится о нас, о нашем пароходе, — наставил бакенов, маяков и вешек, обозначающих фарватер. Люди, поставившие вешки, были далеко, но заботы их охраняли нас в пути.

Я подумала опять о Расщепее — его уже тоже не было, но сколько огней и вешек оставил он мне в жизни, обозначив ими ложные переходы, опасные места и мели! Нет, море и жизнь вокруг меня не были пусты.

На пароходе с левого борта зажгли красный ходовой фонарь, и, как бы в ответ, над горизонтом, в светлом еще небе, сперва слабо, а потом все сильнее и напряженней разгораясь, налилась звезда, алая, как кровинка. Она катилась за пароходом, крупная, накаленная и одинокая; она словно увязалась за нашим кораблем, который плыл туда, где, я знала, завтра встанет из моря новый для меня, никогда не виданный берег. И, глядя на эту красную, сопровождавшую нас в море звезду, я вспомнила...

— Амед! — закричала я, схватив его за рукав, — Амед, скорее!.. Какое сегодня число?

— Сейчас будем считать, — сказал Амед весело. — Семнадцатое число — в кино был, восемнадцатое — в Зоологический ходил, девятнадцатое — билет получил, двадцатое — я еще в Москве был, цирк смотрел, двадцать первое — в поезде ехал, двадцать второе — тоже ехал, сегодня число будет двадцать третий номер.

Это было 23 июля — это был день великого противостояния Марса.

В этот самый день, как я прочла потом в научном отделе одного журнала, наши астрономы обнаружили в спектре атмосферы Марса полосу хлорофилла — очень важного

вещества, без которого и трава не растет Если это так, значит, и на Марсе есть жизнь!

1939–1940

Книга вторая Свет Москвы

Глава 1

Канун летнего солнцестояния

Не знаю, как там у них на Марсе, но на Земле у нас жизнь была в этот вечер чудо как хороша! Трубили горны, били барабаны в подмосковных лесах. Из походов возвращались в лагерь пионеры. И с голоса их училось новым песням переимчивое эхо.

По загородному шоссе на зеленой дамбе канала катили из Москвы резвые грузовички. Гремели на них детские цинковые ванны. Вразнобой подпрыгивали перекувырнутые стулья. Трехколесные велосипеды барахтались, безнадежно запутавшись в гамаках. Стойма ехали полосатые матрацы. Все ерзало и громыхало, проносясь через переезды под покровительством полосатых же шлагбаумов...

Люди ехали на дачу. Был субботний вечер, а завтра по календарю начиналось лето.

Отправилась и я в поход со своими пионерами.

Мы плыли на лодке по светлой, покойной воде. Прошли вдалеке, возвращаясь в Москву из дневного рейса с Волги, белые теплоходы. На берегу за лесом играли в лагерях вечернюю зорю. Солнце село за дальние луга незамутненным, обещая на завтра хороший день. И радостно было знать, что утром, чуть снова взойдет оно, нам наконец откроются некоторые веселые тайны — те, что мы загадали для себя именно на этот день почти год назад.

Но у меня самой были к тому же особые основания считать сегодня жизнь прекрасной и ожидать, что завтра она будет еще лучше...

Утром я получила телеграмму от Амеда. Он дал ее с дороги, из Чкалова. Ясно и уже не раз представляла я себе, как он легко соскочил с подножки вагона, когда поезд еще не остановился, пробежал, всех обгоняя, по перрону, ловкий, смуглолицый, привставая на носки, вскидывая из-под длинных косых бровей блестящие глаза, ища вывеску «Телеграф». А потом, закусив тонкую губу, старательно выводил автоматической ручкой, которой так гордился: «Встречай воскресенье проведем вместе день противостояния самый большой день в году». «Эге, джигиты, видно, стали разбираться в звездах! — подумала я. — Мои астрономические увлечения захватили и Амеда». Хотя пока еще он явно путал противостояния планет и солнцестояние, которое наступало завтра.

Почти два года прошло с того дня, как мы встретились с ним на пароходе «Киров» в Каспийском море. Это было как раз в день великого противостояния Марса. И долго мы с Амедом смотрели в тот вечер с борта корабля на круглую ярко-красную, словно смородинка, звезду, низко плывшую над горячим малахитовым горизонтом Каспия. Я рассказала ему тогда о Расщепее, о дружбе с ним, о звездах и, когда наступила ночь, долго водила моего нового знакомого по звездным дорожкам Вселенной. Зато потом, в Туркмении, Амед стал моим верным проводником в прогулках по незнакомой и очень интересной земле. Мы очень подружились в то лето. И брат мой Георгий брал нас с собой в далекие поездки по пескам, где он разведывал будущие пути воды. Жарко было там и пронзительно сухо. Все вокруг жаждало воды, все молило о влаге — и сухая, потрескавшаяся земля, и пески, горячие, как зола, и испепеленные листья, — все шелестело: «Су!.. Су!..» А «су» по-туркменски — это вода. И Георгий рассказывал о том, как через черные пески Каракумов побежит свежая вода, когда построят канал, которым соединят Мургаб с Амударьей и Теджен с Мургабом. Мы ездили верхом. Амед научил меня правильно держаться на лошади. А лошади там были

замечательные — статные, гордо ступающие. Нас сопровождали туркмены, старики в халатах и огромных шапках «тельпеках», похожих на косматый воз сена. Молодые джигиты носили толстовки, из верхних карманов которых торчали вечные ручки — это была в аулах, видимо, общая новая мода, — на юношах были галифе, но на ногах не сапоги, а легкие туфли вроде чувяк. Меня удивляло, что многие из юношей продолжают носить большие косматые шапки. Носил иногда такую и Амед; он объяснял мне, что в этой шапке не болит от солнца голова.

Старики уважали моего брата и говорили, что Москва велела ему привести воду в пустыню. Застенчивые и бесшумные туркменские женщины, повязав головы халатами своих мужей, издали следили за нами, когда мы бродили по берегам желто-водного Мургаба, любуясь высокими тростниками на плавнях... Амед познакомил меня со своими родными. Отца уже давно не было в живых. Его много лет назад убили богатые баи-кулаки, пытавшиеся восстать против Советской власти. Отец Амеда был, по рассказам, веселым и отважным человеком. И когда ему отказали в невесте, требуя за нее огромный выкуп — калым, непосильный для бедняка, он среди бела дня похитил свою любимую Огюльсолтан. Мать Амеда, Огюльсолтан, высокая, тонкобровая, как сын, хорошо знала Георгия, работала в совхозе и была членом горсовета. Сперва она мне показалась гордой и неприязненной, а потом мы с ней сошлись по-хорошему. Я ей показала новые свои собственные вышивки и научила ее вышивать крестиком. И пока я гостила у брата, почти каждый день заходила к ним. Однажды, когда мы сидели и пили зеленый чай из широких пиал, мать Амеда, вздохнув и отведя в сторону глаза, вдруг заговорила о том, что было время, когда они жили в кибитке, а теперь дом у них очень хороший и просторный, всего в нем достаточно, но нет в доме гелин. Амед недовольно свел брови. «Что такое гелин?» — спросила я у него, когда мать вышла. Он очень покраснел, а потом сказал: «А ну, не обращай, тебя прошу, на это внимание. Глупый разговор! Зачем тебе знать...» Но я почувствовала, что он хочет скрыть от меня что-то, и так пристала к Амеду, что в конце концов он сказал: «Ну, гелин — это по-нашему значит невестка... Ай, глупый разговор!» И он весь залился краской. Тут уж мне стало очень смешно. Уж не меня ли прочила на будущее мать Амеда в свои невестки? Я посмотрела на Амеда и стала хохотать. Амед сперва смотрел на меня очень строго и обиженно, а потом тоже стал смеяться. И, конечно, больше мы об этом никогда не говорили. Мы очень хорошо дружили с Амедом. А когда кончилось лето, надо было вернуться в Москву, в школу, мне было жалко расставаться с Амедом, хотя меня и тянуло уже домой. Но мы обещали писать друг другу и сохранить дружбу навсегда-навсегда.

Без малого два года прошло с тех пор. И мы не виделись. Я не смогла поехать на другое лето в Туркмению, потому что меня приняли в комсомол, я стала вожатой юных пионеров и жила в лагере под Москвой. Амед тоже не приезжал. Но мы с ним аккуратно переписывались. Сперва мы обменивались письмами редко, посылали их через определенные сроки и строго следили за очередью, а потом стали писать все чаще и чаще, не чванясь друг перед другом, писали, когда хочется, писали обо всем — о каждой новой прочитанной книжке, об интересной кинокартине. Я начинала огорчаться, если письмо от Амеда задерживалось почему-нибудь на несколько дней и не приходило тогда, когда я его ждала. Писал он подробно, очень вежливо. И было что-то не совсем привычное в чуточку неуклюжей изысканности его писем. Это мне тоже нравилось. Ромка Каштан не смог бы так писать... И подружки мои знали, что у меня есть где-то далеко друг джигит, который шлет мне письма. Очень хотелось иногда показать моим любопытным подругам какое-нибудь письмо Амеда. Но мне казалось, что этим бы я нарушила обет взаимного доверия. Я уже знала всех друзей Амеда, была в курсе всех его дел и даже волновалась, когда заболел любимый жеребенок Амеда, ахалтекинец Дюльдяль, — о нем Амед писал в каждом письме с такой восторженной нежностью, что меня почему-то порой это уже начинало чуточку злить... Тогда я ему нарочно описывала, как мы ходили в кино вдвоем с Ромкой Каштаном и как смешно Ромка сказал про одного киноартиста, что он чересчур много хлопчет физиономией, а про нашего историка в школе — что он даже бутерброды ест исторические:

бородинский хлеб с полтавской колбасой.

Но на Амеда это не действовало, и в следующем письме он писал: «Пожалуйста, передай привет моего сердца твоим добрым друзьям и мудрому, красноречивому товарищу Р. Каштану. Мой Дюльдяль стал такой крепкий, что сегодня совсем оборвал привязь. Он стал очень красивый. Я считаю, что лучше такого коня у нас в Туркмении нет. Я хотел бы, чтобы ты видела его, какой он красивый...»

В ответ на это я писала Амеду о разных своих звездных делах, о занятиях в астрономическом кружке Дома пионеров, ставила на верху письма, в уголке, знаки Зодиака, смотря по тому, какой был месяц на дворе. Вообще мне хотелось показать ему, что он имеет дело с девушкой культурной и недюжинной, чтобы он там не очень зазнавался со своими лошадьми. Но Амед тоже, видно, был не промах. За эти два года он, судя по письмам, очень развился. В письмах его теперь было все меньше и меньше ошибок. Все более пылко и восторженно описывал Амед своего Дюльдяля. Тут он становился совсем поэтом. И однажды я была изрядно озадачена, когда, получив очередное письмо и от нетерпения, по своей плохой привычке, заглянув сразу на вторую страницу, прочла в конце ее: «Я покрываю поцелуями твою голову...» От негодования я даже растерялась. Кто ему позволил так писать! Но, прочтя первую строку следующей странички, я все поняла. «О мой дорогой Дюльдяль, — было написано там, — если бы нашелся человек, который захотел купить тебя ценой своей души, то и эта цена для тебя была бы низкой...» Так все это относилось к Дюльдялю! Ну, это другое дело. Но, не скрою, я почувствовала тотчас же некоторую досаду и разочарование. А Амед писал: «Я не жалею о деньгах, которые истратил на тебя, ни о зеленом клевере, ни о том беспокойстве, которое ты мне доставил, когда я думал, что ты пропал... Дюльдяль! Я вырастил его из жеребенка. Я даю ему каждый вечер сорок мер зерна. Он пьет из тщательно выструганной чашки свежую ключевую воду. Он ржет, взбираясь на скалы. Он стремится к битве, как стрела. Я украсил его убор двумя бубенчиками, чтобы ему не было скучно в его конюшне. Бархатной попоны на спину мало для такого коня! Серебряных подков с золотыми гвоздями слишком мало для него. О мой Дюльдяль! Живи долго и наслаждайся жизнью!..»

Сперва я сердито подумала, что письмо это правильное было адресовать не мне, в Москву, а Дюльдялю, на конюшню. Но, когда я прочла его еще раз, сердце мое смягчилось. Очень уж красиво и совсем по-своему писал Амед. У нас бы никто из мальчишек так не написал. И так как речь тут шла не обо мне, а о лошади, я в этот раз решила похвастать письмом перед Ромкой Каштаном и прочла ему вслух место о Дюльдяле.

— Он у тебя что — ашуг, народный сказитель? — спросил, выслушав, Ромка. — Минуточку. Прочти-ка еще раз это место о серебряных подковах и золотых гвоздях. Ну, так и есть! Узнаю следы знакомых подков. Это у них есть такое сказание. Забыл, как называется. Там герой с конем говорит. Я помню — это было в журнале, когда туркменские писатели приезжали. О, на коне с такими подковами и я бы тоже далеко ускакал!.. Поверь.

Я тогда так обиделась на Амеда, что долго ему не отвечала и выдержала характер, пока не пришло из Туркмении уже третье письмо, полное такой тревоги, озабоченности и дружбы, что я, ругательски себя ругая за молчание, ответила Амеду письмом на шестнадцати страницах.

И вот завтра он приедет. Каким он стал? Может быть, совсем не таким, как я напридумала себе? Ему уже теперь семнадцать с лишним лет, он на полтора года старше меня. Интересно, как мы с ним встретимся завтра! В последнем письме он намекал, что давно хочет спросить меня о чем-то очень важном, но откладывает это до встречи. Только бы успеть вернуться в Москву вовремя! Но я все рассчитала.

В справочной я узнала, что поезд, на котором ехал Амед, придет в Москву завтра, в четыре часа десять минут дня. Значит, мы вполне успеем вернуться домой из похода. И не отменять же было поход, когда мои пионеры ждали этого дня с таким нетерпением!

Вот они плывут со мной, мои забияки-зодиаки, как дразнят их в нашем отряде. Впереди, на самом носу лодки, устроился, конечно, Игорь Малинин. Он первым забрался

туда и теперь лежит на спине, нога на ногу, закинув голову над водой и морща короткий нос, но не двигая пушистыми ресницами, глядит серыми глазищами своими в небо, залитое сиреневыми красками вечерней зари. Поставив одну ногу, положив на ее колено другую, Игорек носком сандалии вычерчивает в небе воображаемые, одному ему понятные вензеля, сосет травинку, вынимает ее изо рта, зажав между двумя вытянутыми пальцами, как сигару, надув щеки, шумно выпускает подразумеваемый дым и говорит:

— Нет, как хотите (пф-ф-ф...), а я люблю походную жизнь (пф-ф-ф...).

И он снова затягивается травинкой. Я знаю, хотя Игорек, как зовут его у нас, плывет с нами на старой рыбацкой шлюпке, взятой на день в соседней деревне, сам он сейчас, должно быть, далеко от нас: что бы он ни делал, каждое занятие имеет для него еще второй смысл, какое-то значение, не всегда нам понятное, но делающее для него все по-своему интересным. Когда он в лагере завтракал, я видела, что он сперва делает в каше какие-то каналы, как на Марсе, потом исследует их или ест кашу по квадратам либо кругам. Однажды я шла за ним по улице, а он не видел меня. Чего только он не успел вообразить себе, пока прошел два квартала! То он двигался, расправив руки, как крылья, тихонько жужжа под нос и, очевидно, воображая себя самолетом; то размахивал руками, загребая поочередно левой и правой, видя себя с веслом байдарки. Заметив лужу далеко в стороне от своего пути, свернул к ней, разбежался, перепрыгнул. Потом вдруг нарочно захромал; найдя палку, зажав ее под коленом скрюченной ноги и прихватив конец ступней, ковылял, как на деревяшке... Затем отбросил палку и шел, балансируя руками, по краю тротуара, по узенькой каменной кромке, как канатоходец. Когда надо было пересекать улицу, мощенную брусчаткой, он перешел ее ходом шахматного коня — два камня прямо, один наискосок.

Нелегко мне дался в нашем пионерском отряде этот Игорек! Сперва с ним сладу не было: порывистый, живой, готовый каждую секунду вспыхнуть, взорваться, он долго не хотел признавать моего авторитета. В лагере, где я в прошлом году в первый раз стала работать вожатой, у меня было немало хлопот с ним. Но мне он пришелся по душе своим жадным, неумным интересом ко всему на свете. Он жаждал деятельности и приключений. Все он хотел знать, все его касалось. Фантазия у него была необузданная и упрямая. Что-нибудь вообразив себе, он уже сам верил в придуманное. И, может быть, именно то, что я с верой относилась к его мечтам, привлекало ко мне Игоря. Мальчуган почувствовал во мне родственную душу мечтательницы. А маленький телескоп, который завещал мне Расщепей, окончательно решил дело в мою пользу.

С другими было легче. Девочки сразу привязались ко мне, узнав, что я снималась в кино, а мальчики были потрясены моими астрономическими познаниями.

Ребята из лагеря жили с нами по соседству, в новых домах Гидротреста, где брат Георгий, которого должны были скоро вызвать в Москву, выхлопотал квартиру себе и нам. И учились почти все они в нашей школе. Поэтому с осени прошлого года, по предложению наших комсомольцев, я стала вожатой их отряда в четвертом «А» классе. Отряд у меня был дружный, деятельный, но основным ядром его была моя лагерная шестерка.

Все они занимались в астрономическом кружке районного Дома пионеров. За это их и прозвали шутя зодиаками. А уж мы сами наделили членов нашего кружка шуточными прозвищами.

Игоря Малинина прозвали за его порывистость, упрямство и бодливый характер, сочетавшийся с нежной привязчивостью, Козерогом. Курчавого лобастого Изю Крука, братишку моей подруги Сони Крук, окрестили Тельцом. Медлительно-многословного Дёму Стрижакова прозвали Водолеем, а ехидный, всегда во всем сомневающийся Витя Минаев снискал прозвище Скорпиона.

Были еще у нас Весы — две неразлучные подружки Галя Урванцева и Люда Сокольская. Они ходили всегда вместе под ручку или обнявшись, заплетали в свои косички ленты одинакового цвета, но очень ревновали меня друг к другу и на прогулках повисали на мне с двух сторон, старательно, обеими руками держа меня под руку и локтями отбивая всех других, покушавшихся на почетное место возле вожатой.

Они и сейчас сидели возле меня — слева и справа — на задней банке нашей лодки, тесно прижавшись к моим плечам, и мешали мне править. Греб Дёма Стрижаков.

Лодка наша тихо скользила по гладкой вечерней воде. Теплые сумерки спустились на водохранилище. Было так хорошо и привольно, такая задумчивая тишина объяла весь этот душистый, зеленый простор берегов и замершую воду, что не хотелось говорить, и все мы молчали, только чуть слышно поскрипывали уключины весел да балакали свое «тир-лир-люрлю» струйки подле бортов шлюпки.

Глава 2

Наши «загадалки»

Мы плыли на наш заповедный островок. Еще год назад мы сговорились, что придем сюда встретить день летнего солнцестояния — начало лета.

Экзамены уже прошли. Часть ребят разъехалась, а мы должны были попасть в лагерь во вторую смену, и я продолжала встречаться со своими пионерами. Мы давно уже готовились к сегодняшнему походу. Родители сперва не очень соглашались пустить своих ребят в эту экскурсию без взрослых, только со мной одной. Но, в конце концов, я как-никак была все-таки вожатой и перешла сейчас уже в девятый класс.

И родители разрешили. Правда, пришлось скрыть от них, что мы отправимся на островок. Сказано было, что мы поедем поездом до Борок, а там пройдем пешком через Кореваново до водохранилища и на берегу его разобьем палатку, где и заночуем. А утром, встретив восход солнца, отпразднуем летнее солнцестояние и в обед вернемся с поездом домой. В Доме пионеров нам дали для этого разборную палатку и все необходимое хозяйство для похода. Взяли мы, конечно, и мой маленький телескоп.

Все остальное сохранялось в тайне. Никто, кроме нас, не знал, что скрывалось на маленьком, никому не известном островке, далеко в стороне от фарватера, по которому через водохранилище шли пароходы канала Москва — Волга. Но мы знали и помнили, что там, на островке, хранятся надежно упрятанные в маленькой шахте-погребке наши «загадалки».

С тех пор как Москва стала городом большой воды и волжские пароходы слили свои голоса с шумом столицы, возле самого города разлились просторные озера с ведущей к ним зеркальной анфиладой белокаменных шлюзов, образовались заманчивые уголки, чудесные таинственные заводы, протоки, бухты, полузатопленные островки. Мало кто знал как следует прелесть нового многоводного Подмосковья. Но Расщепей давно уже облюбывал эти места, и когда мы вместе с ним совершали наше памятное путешествие, Александр Дмитриевич привел меня на своей яхте «Фламарион» к одному из таких островков на водохранилище. В усадьбе Кореваново, недалеко от водохранилища, Расщепей жил летом на даче. Этот островок мы и облюбовали с моими пионерами для наших летних походов.

Было уже довольно темно, когда наша лодка, раздвигая кустарник, скрипя днищем о затопленные ветви, вылезла носом на берег острова.

Наверно, когда-то, до наполнения водохранилища, место это было вершиной пологого холма. Через него вела проезжая дорога. Ее колеи еще виднелись в траве, и странно было видеть, что дорога уходит прямо в воду, в глубину, словно маня спуститься по ней в какое-то донное царство. Прежде здесь стояли избы — на земле сохранились следы жилья. И вот в одном из заросших бурьяном дворов мы в прошлом году нашли полуобрушившийся, выложенный кирпичами погреб. На дне его мы и спрятали наши «загадалки».

«Загадалки» эти придумал, конечно, Игорек. Как-то в отряде зашел разговор о различии между древней ложной наукой — халдейской астрологией и сегодняшней строго научной астрономией. Ребята сперва долго потешались над тем, что древние астрологи, халдеи, звездословы расчисляли судьбу человека по звездам. Звезда, под которой родился человек, определяла его путь в жизни. И астрологи наперед составляли человеку по небесным знакам его будущую биографию — гороскоп. Всем пионерам это показалось очень забавным, особенно когда я вспомнила случай, рассказанный мне еще Расщепеем. В 1514

году астрологи, установив, что Юпитер, Сатурн и Марс окажутся в созвездии Рыб, посулили миру неслыханное наводнение, и один вельможа в Тулузе, испуганный этим предсказанием, построил огромный ковчег на случай потопа... Ребята посмеялись, а потом вдруг Игорек Малинин предложил:

— Ребята, знаете что? У меня мысль. Нет, серьезно, давайте сами себе составим на год гороскоп. Да нет, постойте! Не в том дело, что по звездам. А просто напишем такие загадки сами себе — что мы должны сделать за год. Вот как в газете пишут иногда эти самые... индивидуальные обязательства... Но только никто никому не покажет. Напишем и заклеим. И где-нибудь спрячем. А через год достанем, раскроем и посмотрим тогда, у кого что сбылось.

— Не «сбылось», — наставительно сказал Витя Минаев, — при чем тут «сбылось»? Важно, чтобы каждый сам выполнил, что себе обещал.

Поднялся шум, крик, споры. Одни говорили, что это глупости, пустяковая затея и даже суеверие; другие, наоборот, кричали, что сделать так непременно надо. Это будет всем полезно. И я подумала: пусть каждый из наших пионеров задумается хорошенько над тем, чего ему не хватает, что он хотел бы успеть за год сделать, что приобрести, от чего избавиться. И пускай он запишет это для себя, никому не показывая. Так будет интереснее! И мы спрячем эти «загадки», как хорошо назвал их Игорек. Никакая это не звездная магия. Мы и так все знаем, что родились под счастливой звездой. И у нас стоит только задумать что-то хорошее, по-настоящему захотеть сделать это, настойчиво добиваться — и все тогда сбудется.

И вот, когда мы вернулись прошлой осенью из лагеря, мы сделали так, как задумали. В воскресенье мы отправились на остров, взяв лодку в деревне у одного бакенщика. У каждого из моих пионеров был заклеенный конвертик. В нем была припрятана его личная, им самим для себя составленная «загадка» на год. Потом мы сложили все конверты вместе, и Игорек торжественно произнес за всех:

— Обещаю, что я и все мы, пионеры нашего отряда, выполним все, что здесь задумано! За это мы отвечаем перед своей совестью и нашими товарищами.

Да, пусть каждый отвечает перед своей собственной совестью, и в этом его проверят потом товарищи. Когда был жив Александр Дмитриевич, мы часто говорили с ним о героизме, вспоминали разные исторические подвиги. «Самое трудное, по-моему, — говорил тогда мне Расщепей, — это совершить подвиг в одиночку, когда тебя никто не поддерживает, никто в тот момент не проверяет, когда ты наедине со своей совестью, со своим долгом, и только они тобой повелевают... А на людях уже легче». И я подумала, что неплохо будет, если мои пионеры сами предскажут себе, что должно произойти с ними за год, сами ответят перед своей совестью, которой доверяет и весь наш коллектив. И пусть их никто не понукает. Это дело каждого. Но интересно будет через год сличить, что было задумано, с тем, что выполнено. А кто не справился с собой, пусть теперь уже при всех признается, что сплеховал, оказался недостойным нашей звезды.

И вот целый год пролежали замурованными в заброшенном погребе на маленьком островке, среди просторного водохранилища, наши «загадки». Мы решили, что вскроем их в самый большой день года — день летнего солнцестояния. Ребята у меня были опытные по части походов: мы быстро разбили палатку, укрепили стойки, установили подпорки, натянули веревки, привязав их к колышкам, вбитым в землю.

Вскоре запылал костер, закипел подвешенный над ним чайник. Мы сварили в котелке картошку, открыли консервы, сели в кружок у входа в палатку.

А на водохранилище и вдали на канале уже зажглись ночные огни. Горели огни на створах ходового фарватера, на шлюзах. Но все это было далеко от нас. А мы здесь были одни, окруженные огромной доброй и смирной водой. Вечер был теплый. На западе небо розовело, словно еще не остынув, а на другой стороне горизонта, ближе к югу, подрагивало нежное серебристое зарево — там была Москва. И свет ее, перламутровый, вздрагивающий, трепетал в высоком спокойном небе. Звезды растворялись в далеком сиянии Москвы. Только

над горизонтом жгла свой зеленый бенгальский огонь Венера, похожая на большого светляка, да ровным алым накалом горел низко стоявший Марс, и на канале светились тоже зеленые и красные огоньки бакенов, подрагивая в воде мерцающими усиками отражений.

Мы разгородили палатку на две части. В одной половине устроились девочки со мной, в другой — мальчики. Они по очереди несли дежурство у входа в палатку, сторожа наш маленький лагерь. Скоро все затихли.

Ночью я проснулась. Душистая сырость проникла в палатку. Где-то кричал коростель. На канале густо загудел пароход. А кругом была такая дивная тишина...

Я встала и выглянула за отсыревший полог. У входа в палатку никого не было.

— Кто дежурит? — спросила я шепотом.

Никто мне не ответил. Я повторила вопрос громче. Опять молчание. Я вышла из палатки. Дежурного не было. Тогда я заглянула на половину мальчиков. Накрывшись пальто и одеялами, спали рядом Дёма Стрижаков, Изя Крук и Витя Минаев. Игорька не было. Очевидно, был час его дежурства.

— Малинин! Игорек! — позвала я, выйдя из палатки.

Кусты зашуршали, показался Игорь.

— Ты это почему же не на месте? — спросила я строго.

— Я только на минутку, Симочка, — проговорил он быстро, словно запыхался. — Я к берегу бегал... Мне показалось, там кто-то шебаршится...

— Сам ты любишь шебаршиться, Игорь, — заметила я. — Небось к погребу бегал... Ладно, ладно. Иди спать, я за тебя подежурю.

— Ну, уж это нет, брось, оставь! — запротестовал он. — Мне еще целый час дежурить. Ты ложись. Не беспокойся. Меня Витька сменит. Уж я его добужусь, можешь быть уверена.

Я уже была в палатке, когда опять услышала шепот Игоря:

— Сима! Тебе очень спать хочется?

— А что? — Я высунулась из-за полога.

— Давай с тобой поговорим об серьезных вещах.

— Например?

— Ну, мало ли про что! Вообще, так. Про разную жизнь... Как прошлым летом в лагере говорили. Помнишь?

Я помнила эти неизбежные ночные беседы «об серьезных вещах», как выражался Игорь. Хотя разговоры после отбоя и были явным нарушением лагерного режима, но зато именно они помогли мне укротить самого беспокойного из моих пионеров и заглянуть в его пытлиую и своенравную душу. И я покорно присела на пенек у палатки.

— Ну что ж, поговорим, Игорек, о серьезных вещах!

— Знаешь, Сима, — сразу начал Игорь, — я когда ночью долго гляжу на звезды, мне всегда охота бывает забраться туда, куда-нибудь в самую-самую дальнюю вышину, и все там разглядеть и узнать до точности. Так и тянет... — Он вздохнул и, запрокинув голову далеко назад, долго и завороченно глядел в зенит.

И звезды над нами ласково жмурились, подмигивали сверху мальчишке, словно подбадривали, маня: «Ну, ну, звездочет!.. Карабкайся».

— Сима, вот ты про Марс знаешь. Как же все-таки считается: есть там жизнь?

— Возможно, что есть, Игорек. Правда, насчет хлорофилла, что я тот раз говорила, сейчас все опять не подтверждается.

— Жаль! — вздохнул Игорек, не сводя глаз с неба. — А я лично все-таки считаю, есть еще где-нибудь жизнь. Верно, Сима?.. Только я рад, что сам я на Земле родился. Это определенно мне повезло. У нас все-таки уже хорошо жить. А как там, еще неизвестно. Прилетишь туда, а там, может быть, еще какой-нибудь каменный век только. Кто знает? И был бы я пещерный житель...

— Ну, пещерный житель, хватит тебе философствовать. Спать пора!

— Нет, погоди!.. Ты слушай, Сима. У нас почему хорошо? Доисторическое все уже было? Было. Древние там всякие века тоже прошли; старый режим уже давно кончился.

Правда, не везде еще, не на всей Земле, но зато у нас, в СССР! Значит, все-таки на Земле уже люди своего добились, раз такая уже есть страна, как мы! Верно? А там, на Марсе, может, все еще только начинается. Жителям сколько еще веков мучиться!..

Я прервала гордого жителя Земли, сказав, что есть теория, полагающая, будто жизнь на Марсе возникла намного раньше, чем у нас.

— Эх, ты!.. — посочувствовал марсианам Игорь. — Вот уж не хотел бы я в школе у них учиться! Сколько им тогда по истории учить! Древние века, потом средние, потом еще какие-нибудь полусредние, новые, да самые новые, да новейшие, предпоследние, последние — голова лопнет!

— Смотри, чтоб у тебя от ночных фантазий твоих голова не лопнула, — сказала я, вставая с пенька. — Поговорили, и будет!

— Постой, Сима! Не уходи. Еще одну только минуточку! — взмолился Игорь. — Я знаю, ты кем меня считаешь.

— Кем я тебя считаю?

— Шалым таким, вроде лунатика. Да? Ты думаешь, я кто? Болтун? Придумщик? А я только невыдержанный. Я разве вру? Я только иногда фантазирую. А ты, Сима, тоже мечтать любишь. Ты тоже придумщица. Я знаю. Мы этим с тобой даже похожие отчасти. Только ты, конечно, в сто раз меня развитее! Ты здорово развитая, Сима! Как редко кто из мальчишек даже!

— Ну ладно тебе, Игорь! Такая, как все.

— Нет, я знаю. Вон в четвертом «Б» — Ваточкина Катя, вожатая. Разве она с тобой сравнится?

— А по-моему, она очень хорошая, энергичная девушка, — возразила я.

— «Энергичная»!.. «Раз-два, живо сели, три-четыре, встали, взяли, похлопали».

— Вот с вами так и надо! Раз-два!

— Ну да! Когда тебя к нам назначили, я тоже сперва тогда подумал: «Э, тихоня-разиня, будет из нас деточек-конфеточек воспитывать». А ты оказалась вон какая. Главное, у тебя выдержка есть, с тобой считаются. Даже из десятого класса — и то!

— А из четвертого «А», я вижу, не считаются и не дают мне спать.

— Ну иди, ладно, досыпай. Эх, скорей бы уже завтра настало! Интересно, что там у кого в загадалках написано и у кого что исполнилось... Не терпится мне узнать...

Игорь зевнул, засунул руки в рукава пальтишка и замолк.

А над водохранилищем, над молчаливой стеклянной водой медленно поворачивалось звездное небо. Заря на западе погасла, а на востоке уже проступали блекло-розовые оттенки новой зари. Ночной немеркнущий свет Москвы одним своим краем слился с ней.

Я вернулась в палатку, закуталась потеплее в одеяло. Девчонки мои сейчас же, даже не просыпаясь, слева и справа подкатились ко мне, крепко ухватили мои руки, зябко поежились, зарылись головами, одна — мне в плечо, другая — в шею, повизгивая шепотком:

— Ой, Симочка, хорошо как!.. Уютно! Уй-юй-ютно!..

И правда было хорошо! Так хорошо, что запомнилось потом на всю жизнь. И никто из нас семерых не подозревал, что загадочные беды начнутся уже наутро, а вместе с завтрашней ночью в нашу жизнь войдет нечто чудовищно огромное и злое.

Глава 3 Тайник

День начинался чудесно. Запел, затрубил, заиграл наш пионерский горн, громко, настойчиво и раскатисто. Недаром наш Игорек слыл отличным горнистом. Он дул в свою трубу что есть силы, щеки прыгали у него, как литые мячики. Он трубил, закинув голову, подняв прямо вверх свой горн, и, когда переводил на минутку дух, казалось, будто залпом пил из пионерского рога утреннюю свежесть и пахучий лесной воздух. Птицы всполошились на верхушках деревьев, уже освещенных солнцем, и стали кружить над островком. Пионеры

мои выскочили из палатки, жмурясь, протирая глаза, разминаясь. Началась возня: «Люда, где мои тапочки?..», «Дёма, отдай рубашку, не в свою лезешь!..», «Девочки, мыться, мыться...», «Ребята, айда искупаемся!..», «Осторожнее, зубной порошок рассыпался!..», «Кто мой галстук взял?..», «Игорь, хватит тебе трубить!..» В веселом переполохе начинался день, самый большой день в году. Было свежо. Под деревьями еще не рассеялся влажный сумрак, но с верхушек уже сползала по листе золотисто-розовая, с бронзовыми отливами глазурь. Небо на востоке пламенело. И иссиня-зеленый горизонт набухал по краю огнем, еле сдерживая его.

— Приготовиться к встрече! — скомандовала я.

Шестерка моя — все в белых рубашках с алыми галстуками — выстроилась на лужайке, лицом к восходу. Наш барабанщик, Изя, поднял палочки. Игорек стоял, как положено горнисту, отставив руку, уперев раструб горна в бедро. Дёма замер со свернутым флагом у невысокого шеста, заменяющего лагерную мачту.

— Проверить часы! — приказала я.

Дёма взглянул на ручные часы, которые ему одолжил на этот случай Витя Минаев.

— Три часа двенадцать минут по московскому времени, — отвечал Дёма голосом громкоговорителя.

Как я вчера сверилась в календаре, солнце сегодня должно было взойти в три часа четырнадцать минут. Я выждала еще минуту и скомандовала:

— На подъем флага и солнца — смирно!

За водохранилищем в этот самый миг горизонт прорвался посередине, как запруда: слепящее золото ожгло глаза, и все вокруг нас вдруг засверкало, ожило, наполнилось радостным и властным светом.

— Флаг поднять! Солнцу салют!..

И красный пионерский флаг нашего маленького лагеря поднялся вверх вместе с солнцем. Игорь протрубил салют, зарокотал барабан Изя Крука.

— Пионеры! Поздравляю вас с наступлением дня летнего солнцестояния, с началом лета! Вольно!

Конечно, ребятам не терпелось скорее спуститься в подземелье и вскрыть наш тайник, чтобы прочесть «загадки». Интересно, кто что загадал и как выполнил задуманное! Но я распорядилась сперва приготовить завтрак. Ели наспех, давились крутыми яйцами. Игорь так торопился, что решил не очищать скорлупу, а выгрызал из нее мякоть белка.

Еще не прожевав, с набитым ртом, он вскочил, бормоча:

— Фшо! Бя ботоф... Башви скобее!

Это, вероятно, должно было означать: «Все! Я готов... Пошли скорее!»

Он поперхнулся, закашлялся, и Дёма долго колотил его по спине.

Но вот завтрак был кончен, и мы бегом направились в глубь островка к нашему тайнику. Погребок совсем зарос, но мы сразу отыскали его и склонились над полуобвалившимся люком. Дёма и Витя быстро разобрали подгнившие доски, прикрывавшие отверстие погреба. Оттуда дохнуло таинственной затхлостью. Каждый хотел полезть туда первым. Игорь волновался и толкался больше всех. Девчонки прижимались ко мне, замирая от любопытства... Ведь сейчас все мы узнаем, что было загадано каждым на год, и проверим, что у кого исполнилось...

Надо было спрыгнуть вниз, разобрать несколько кирпичей в каменной кладке, где была замурована старая жестяная ботаническая коробка, служившая хранилищем наших «загадалок». Витя спустился в погреб, держа в руке стамеску. Все сгрудились над ямой, заглядывая вниз.

— Вы мне весь свет загородили! — раздался снизу глухой голос Вити, показавшийся незнакомым.

Я еле уговорила ребят отойти от люка. И они стояли вокруг ямы немного отступя, вытягивая шеи, чтобы заглянуть в погребок. Прошла минута, вторая. Я уже сама начала беспокоиться:

— Витя, ну скоро ты там?

— Скорпион, а роется два часа! — сказала Люда.

— Ну давай, что ли, Витька! — торопили ребята. И вдруг из-под земли раздался глухой, мрачный голос:

— А тут нет ничего.

И из люка вылетела жестянка.

— Как так ничего нет?!

Коробка была пуста. Наши «загадалки» исчезли. Я спрыгнула вниз, в погреб. Здесь было мокро и холодно, пахло прелью. Где-то капала вода.

— Ну вот, смотри, — сказал Витя. — Видишь, тут кто-то лазил. Кирпичи не на месте положены. А вон тут один расколот.

Я осмотрелась. Глаза мои привыкли к темноте. Я увидела битые кирпичи, развороченную кладку мокрой стены. Наши «загадалки» исчезли. Кто-то вызнал, где мы их спрятали, и опустошил наш тайник. Я взглянула наверх и увидела венок из опечаленных физиономий, заглядывавших ко мне вниз. Что я могла сказать?..

— Ну как, Сима, нашли? — кричали сверху.

— Это уже давно залезли, — проговорил Витя и поковырял ногтем кирпичную стенку. — Видишь, тут уже сыро везде стало, потому что открыто было, и банка заржавела, а она у нас была в клеенку завернута. Я сам в аптеке покупал... Кто же это?

Я еще раз оглядела погреб. Холодный, склизкий сумрак. Плесень, гниль и тлен. Битые кирпичи, гнутый, ржавый железный прут, наполовину втоптаный в землю. Вот и все. Дотошный Витя подобрал с полу прут, потом подумал, наклонился, вытер его о трусы. Он был человек хозяйственный.

Я подтянулась на руках. Витя помог мне, и я выкарабкалась на свет.

Опечаленные ребята стояли вокруг меня. Поход наш был вконец испорчен. Но кто же мог узнать про наш тайник?

Больше всех был ошарашен Игорек. Он никак не хотел примириться с тем, что «загадалки» украдены, сам полез в погреб, чтобы убедиться в их пропаже, вылез весь в грязи, совсем расстроенный. Лицо его выражало мучительную сосредоточенность.

— Я знаю — кто! — вдруг закричал он. — Это Васька Жмырь. Это его работа. Он тут у тетки недалеко от станции живет. Он и подглядел.

Васька Жмырев, или попросту Жмырь, был нашим общим врагом. Действительно, не сделал ли все это Жмырев, этот бич нашей улицы, коновод всех наших дворовых хулиганов? Он жил тут, недалеко от Кореванова, возле станции, у своей тетки-молочницы, но частенько появлялся у нас во дворе и ночевал в соседнем доме у какого-то своего приятеля. В такие дни его всегда можно было встретить на углу у кино, где он вертелся целыми часами среди таких же, как он, подозрительных парней. Все они носили необыкновенно маленькие кепки, почти без козырька, тельняшки и брюки, низко выпущенные на сапоги. Ходили они враскачку, нарочно кривя скобой ноги, курили, преувеличенно громко смеялись без всякого смысла и повода и, держа папиросу в зубах, не вынимая ее изо рта, сплевывали. Василий Жмырев, вольный подмосковный огородник, как он величал себя, мог пройти сам и провести кого угодно в любой парк, кино или на стадион, и были среди наших мальчишек такие, что видели в нем героя. Их привлекали ходячие словечки, которые любил употреблять в разговоре Васька Жмырев, его изворотливость, уверенные манеры и дешевый уличный шик. Он нравился некоторым девочкам с нашего двора, угощал их эскимо и водил бесплатно в кино. Не раз он звал и меня пойти с ним потанцевать в Парк культуры или поехать на стадион, где играли знаменитые футболисты, все, как на подбор, если верить Жмыреву, его друзья-приятели. Но мне была противна вся его повадка и мясистая, глянцевиная физиономия. Я всегда отказывалась, хотя кое-кто из девочек бранил меня за это гордячкой: «Ты это, Симка, зря. Ты знаешь, он вовсе не такой, как с виду кажется. Он заботливый такой — и билет достанет, и мороженым угостит. С ним везде пройдешь...»

Где-то пронюхав о наших астрономических занятиях, Жмырев теперь при каждой

встрече дразнил моих пионеров:

«Эй вы, халдеи, лунатики! Много звезд с неба нахватали? Айда со мной, бесплатно проведу в Планетарий. Так и скажите вашей Симочке: Василий, мол, Жмырев звал в Планетарий звезды смотреть, раз на воле со мной не желает. Мне все равно — что кино, что планетарий, что санаторий, что крематорий. Везде вход свободный. Пусть ваша Симка чересчур не гордится, могу пригодиться».

— Определенно, это Васькиных рук дело, — повторил с внезапной уверенностью Игорек, — я теперь вспомнил...

— Ну, что ты вспомнил? — ядовито спросил Витя Минаев, в упор поглядев на Игоря.

Игорь осекся и замолчал.

— Ну, говори, чего вспомнил? — напирал Витя. — Привыкли уж всё на Жмыря валить. А доказательства у тебя есть?

Игорь молчал. Но я видела, что он действительно вспомнил что-то внезапно его смутившее и не хочет теперь говорить.

— Малинин, — спросила я его, — может быть, ты действительно что-нибудь знаешь?

— Ничего я не знаю, — отвечал он, — а вот чувствую, что это он. И все.

Ребята стояли около погребка расстроенные, недоумевающие. Нечего было и думать о том, чтобы предложить им составить новые «загадки» на следующий год. Противно было, что кто-то чужой нагло вызнал наши тайны, прочел и, наверно, посмеялся над тем, что мы загадали себе. Теперь уж никогда ребята не захотят составлять себе планы на год. Неприятно будет даже вспоминать о сегодняшнем дне и о нашей славной затее. И начинало уже казаться, что кто-то подсматривает за нами из кустов, насмешливый и неуловимый. Да и весь наш поход был теперь уже ни к чему. Надо было возвращаться домой. И возвращение предстояло бесславное.

— Ну, давайте собираться, делать тут нам больше нечего, — сказала я. — Складывайте вещи, несите в лодку, а потом разберем палатку.

Девочки принялись скатывать одеяла, стали увязывать котомки.

Горячее солнце уже высоко поднялось над нашим островком, день был яркий, ослепительный, но нам казалось, что и погода уже стала не такой, какой была с утра.

Ребята спешно собирали и укладывали вещи. Только Игорек сидел в стороне на корточках, охватив руками колени и положив на них подбородок.

— Ну, ты что, Игорек? — спросила я его. — Ну, довольно тебе расстраиваться. Жалко, конечно, что пропали, но ведь кто выполнил задуманное, для того ничего не пропало. Верно ведь?

— Нет, Сима, — сказал он и яростно потер подбородком о колени. — Это до того обидно, что просто...

Он не договорил. Раздирая кусты, с берега примчался Дёма Стрижаков.

— Ре-е-бята!.. — закричал он, от волнения заикаясь. — А-а-а лодки нет...

И он уронил чайник, который носил к воде мыть.

Мы все кинулись к берегу, где в маленькой бухточке была укрыта наша лодка.

Бухточка была пуста. Лодка исчезла. Вчера ее привязали веревкой к дереву. Вот и потерятое место на коре большой ветлы. Вот промоинка, оставшаяся от носа нашей шлюпки. Но лодки не было.

— Поздравляю, — мрачно сказал Витя. — Теперь мы тут робинзоны!

Глава 4

Подмосковные робинзоны

Сперва никто не мог прийти в себя. Потом начали соображать, что же произошло.

Итак, лодка исчезла. Ясно, что ее украли ночью. Мальчишки стали сперва искать виновника, определять, кто дежурил в момент пропажи. Но я велела прекратить этот спор. Спорить было уже ни к чему. Надо было думать, каким образом теперь мы доберемся домой.

Как только эта мысль дошла до сознания девочек, Люда захныкала:

— Симочка, а как же теперь мы обратно? Мне от мамы попадет...

— Правда, Симочка, — поддержала ее Галя, — что же, мы тут навеки останемся?

Один только Игорек пришел сразу в отличное расположение духа.

— Ну и нечего нюни разводить! А что? По-моему, очень даже здорово получилось, а то с этими «загадалками» все уже раскисло. А вот теперь давайте устраиваться, раз застряли на острове. Это, по крайней мере, приключение так приключение! А то что за поход на два часа!

— Вот тебе будет дома от отца приключение! — язвительно заметил Витя Минаев.

— Ну и пусть будет — гроб и свечи, сено-солома, гром и молния, — пусть! Все равно! — отчеканил Игорь, любивший повторять словечки Расщепя, которые он слышал от меня.

Хотя ребята и храбрились, но я ясно видела, что они обескуражены происшедшим. Все смотрели на меня с надеждой. Ведь как-никак я была старшая, вожатая.

— Ну что вы, что вы, ребята! — заговорила я веселым голосом. — На Северный полюс, на льдину люди попали и то не кисли. А мы под самой Москвой. Конечно, неприятно, что дома будут беспокоиться, раз мы обещали быть к обеду. Но сегодня воскресенье, сюда яхты придут, мы им помашем, посигналим... Недаром мы семафор морской проходили. И нас снимут с острова... А ну, веселей носы! Все будет хорошо. Москва рядом. В городе хватятся, будут нас искать. Мы еще поспеем...

И тут я вспомнила, что Амед должен приехать в четыре часа. Значит, я уже его не встречу. День стал меркнуть и для меня. Только Игорек не унывал. Он уже тащил из палатки пустую бутылку из-под молока, сел на корточках у берега, выполоскал бутылку водой, потом вынул блокнот, вырвал страничку и, посплюнув карандаш, стал выводить на ней что-то, прося не мешать ему. Через минуту он подошел ко мне и показал свою работу. На бумажке было крупно выведено:

«Группа пионеров 5-го класса «А» 637-й школы с вожатой С. Крупицыной находится на Необитаемом острове в северо-восточном заливе водохранилища. Лодка похищена. Связи нет. Продукты кончились. Требуется немедленная помощь. Люди здоровы. Настроение бодрое 22. VI. 41. 5 ч. 07 мин. по московскому времени».

— Надо действовать по правилам, — пояснил Игорек, свернул записочку трубочкой, засунул ее в бутылку, закупорил горлышко пробкой, обернул пробку прозрачным целлофаном, в который было завернуто печенье, обмотал все крепко-накрепко бечевкой и побежал к берегу. Размахнувшись, он далеко забросил свою бутылку в воду.

И поплыла по спокойному водохранилищу, то окунаясь, то показываясь снова закупоренным горлышком, наша спасительная бутылка. И как только она плюхнулась в воду, ребята мои сразу повеселели, словно сбросили с себя что-то. Стали сразу гадать, кому достанется бутылка, как будут вынимать и читать записку и как затем к нам на остров явятся спасать нас. Нет, честное слово, это было даже интересно! Правда, настроение опять чуть не испортил наш Скорпион — Витя Минаев.

— Ну хорошо, если бутылку кто выудит, а если она так и будет болтаться? Течение-то здесь еле-еле-ёхонькое.

— Ну так что ж? — возражал ему Игорь. — А в городе-то хватятся, что нас нет все равно. Они же знают, куда мы поехали.

— А что знают? Знают, что поехали до станции Борки, поход с ночевкой на берегу водохранилища. А про остров-то ведь никто не знает.

Да, про это мы и забыли!

— Ну, тогда построим завтра плот и переплывем на берег. Верно, Сима?

— Ну конечно, Игорек. Не пропадем!..

— А что есть будем до завтра? — буркнул себе под нос Дёма Стрижаков. — У меня и так уже в животе буркает.

— Это у тебя от волнения буркает, — сказал Игорек.

— А я и не волнуюсь нисколько. Я знаешь как плаваю! Мне что! Возьму и поплыву! Раз — и на том берегу.

— Правда, Симочка, пусть он поплывет и скажет там, на берегу, чтобы за нами приехали! — восторженно предложила Галя.

Но я, конечно, не могла согласиться на это. Тут водохранилище было очень широко. До берега плыть долго. А глубины здесь большие. Я отрицательно замотала головой.

А солнце уже высоко стояло над нами, припекая головы. Где-то за лесом голосисто залился паровозный гудок, лес наполнился шумом поезда, потом опять все затихло.

— Давайте обследуем остров, — предложила я, — и подумаем, что мы можем собрать для еды.

Проверили наши продовольственные запасы. Их оказалось очень немного — ведь мы рассчитывали к обеду вернуться домой. А аппетит у ребят был отличный — всё съели вчера за ужином и сегодня утром. Осталось полбанки шпрот, два крутых яйца, чая на одну заварку, несколько картошек в мундире да маленькая краюшка хлеба.

— Испытывая зверские муки голода, путешественники решили обследовать остров! — торжественно произнес Игорь, чувствующий себя, видимо, во всей этой истории как нельзя лучше. — Туземцы могут не сопровождать и оставаться у привала, а я лично пускаюсь в путь.

Он подхватил маленькую удочку, жестянку, в которой когда-то хранились наши «загадалки», и зашагал в кусты. Через минуту он снова появился, смерил нас воинственным взглядом и, потрясая удочкой, изрек:

— Иду на рыбный промысел!.. Ой! Крапива!..

Он обстрекался, подпрыгнул на одной ноге, подхватил другую обеими руками и так ускакал от нас.

Мы разбрелись по островку. Долго ходили мы, лазая по овражкам, перекликаясь, аукаясь. Витя Минаев изредка подавал нам сигнал горном, оставшись у палатки. Впрочем, заблудиться на маленьком островке было мудрено — он весь был не больше полуверсты в ширину. Через час мы собрались у стоянки: добыча была невелика. Я нарвала охалку дикого щавеля, но он оказался поздним и на вкус негодным. Изя Крук притащил какие-то пестренькие яйца, вероятно малиновки, чем вызвал глубокое возмущение девочек («Ты представь себя на месте их матери!»), и это привело к философскому спору на тему, считать ли птичье яйцо предметом уже одушевленным или еще не одушевленным. Галя собрала несколько чахлых, бледно-розовых земляничек. Дёма притащил какие-то подозрительные грибы, уверяя, что это типичные сыроежки, хотя они очень смахивали на поганки. Дежуривший по лагерю Витя Минаев, пока мы отсутствовали, словил ужа и насмешливо предложил сварить его. «Сам ешь, это из твоей породы, Скорпион!» — обиделись ребята.

А Игорь вообще куда-то исчез. Ох уж этот Игорь! Вечно — и в лагере, и в школе, и во дворе — от него было всем беспокойство... Мы стали звать его. Сперва нам никто не отвечал, потом с противоположной стороны островка донеслось:

— Ого-го! И-ду-у-у!..

Голос Игоря приближался. Игорь кричал что-то, не умолкая ни на минуту. И в голосе его слышалось торжество.

— Ого-го! Я иду!.. Великий охотник Козерог несет вам свою добычу, разжигайте огонь, ставьте котлы, сзывайте жителей...

И вот он вылез из кустов, босой, с расцарапанной физиономией, с ногами, облепленными глиной, с засученными штанами. На длинном, гибком пруте, согнутом в кольцо, бились большие рыбы — жерехи, окуни, сазаны. Игорь продел прут через их жабры. Под мышкой у Игоря торчало удилище. Свободной рукой он придерживал промокшую рубашку: за пазухой прыгало что-то живое. И даже из кармана штанов торчал бьющийся хвост какой-то рыбины.

— Что? — торжествуя, проговорил Игорь. — Видали? Каков улов! Во! Со мной не пропадете! — И он бросил перед палаткой на землю свою добычу.

Глава 5 В созвездии Рыб

Все хвалили Игоря, удивлялись, как он так быстро наловил такую пропасть рыбы. А он уверял, что знает такое заповедное место. Мигом принялись мы чистить рыбу, развели костер, стали варить уху. Часть рыбы, связав ее за жабры, пустили на длинной бечевке в воду, чтобы она не заснула и не испортилась на жаре. Настроение у всех сделалось отличное. И мы уже отпиршествовали, как вдруг кусты за палаткой затрещали, послышались неровные, частые шаги, и возле нас оказался высокий сердитый старик, опиравшийся на весло-кормовик.

— Это что ж, вам такой закон вышел — по чужим вентерям лазать? — закричал он страшным голосом. — Для вас я вентера ставил? А? Гляди, какие практиканты нашлись — чужую готовую рыбу ловить! А еще, кажись, пионеры, при галстуках состоят. За такое дело знаешь что вам, пионерам, бывает?!

Сперва, ничего не понимая, ребята растерянно переглядывались. А потом взгляды всех устремились к Игорю. Он сидел красный и возил ложкой по пустой тарелке.

Я встала и подошла к старику:

— В чем дело, гражданин? Что вы зря кричите?

— «Гражданин», «гражданин!» — пробормотал старик, несколько остывая. Очевидно, мой спокойный тон подействовал на него. — Этому занятию у вас в школе обучают? Рыбу из вентерей вынимать? Красивое дело, нечего сказать! Поставил вчерашнего дня вентера, подошел сейчас на лодке рыбу брать, гляжу: все повыдергано, сети напутаны — неделю не разберешься. А рыба — прощай. Вон они где устроились! Доброго здоровья, приятного аппетита! Закусывают. Ишь практиканты!

Все смотрели на Игоря.

— Малинин, — спросила я строго, — где ты взял эту рыбу?

— Ну, там... — Он мотнул подбородком по направлению к другому краю острова. — А что уж тут такого особенного? Ты сама говорила — бывает в жизни крайний случай. А раз мы тут без пищи сидим... Да я и не всю рыбу взял, хватит там ему...

— Зачем же ты нам не сказал, откуда эта рыба? Как тебе не стыдно, Малинин!

— А я бы сказал потом, а то ведь вы, я знаю, начали бы собрание устраивать, голосовать — можно есть или нельзя.

— Это чего он толкует? — спросил старик, приложив руку к уху. Он был, видимо, туговат на ухо. — Это он вам чего объясняет, не пойму.

Я громко объяснила, что произошло с рыбой, старику в самое ухо. Он хмуро — видно, половины недослышал — кивал головой в такт моим словам. Игорь тем временем сбегал к берегу и принес связку рыбы, пущенной в воду. Игорь хотел бросить рыбу на землю, но я подхватила связку и передала ее старику:

— Вот, дедушка, ваша рыба. Не сердитесь.

— Это чего? — опять переспросил старик.

— Я говорю — не сердчайте очень на нас, дедушка! — закричала я ему в самое ухо. — А того, кто ваши вентера напутал, мы сейчас будем сами судить, по-пионерски, при вас. Вот вы садитесь сюда и будете как истец.

Только что мне пришла в голову отличная мысль. Теперь я знала, как утешить старика, сделать так, чтобы он потом взял нас с острова, и заодно проучить Игоря.

— Ребята, — обратилась я к пионерам, — предлагаю судить Игоря походным пионерским судом. Я буду председателем, Витю Минаева назначаю прокурором, Дёму Стрижакова — защитником. Изя Крук, становись с барабаном... Игорь, садись сюда, на пень. Это будет у нас пень подсудимых.

Все расселись, как я указала. Старый рыбак с интересом следил за нами, не очень еще понимая, что должно произойти. Он щупал край палатки, перебирал связанную рыбу, потом

вынул жестяную коробочку с махоркой свернул самокрутку, закурил. Спичку ему поднесла Галя.

— Итак, — сказала я, — заседание летучего походного суда считаю открытым. Слушается дело пионера отряда пятого класса «А» 637-й школы Малинина Игоря по обвинению в краже... (Игорь резко поднял голову) ...ну, то есть самовольном выеме рыбы из вентерей чужого гражданина... Как ваша фамилия?

— Чего-сь? Не слышно...

— Как ваша фамилия, дедушка?

— А вам для чего знать? Рыбу ели — не спрашивали чья, как по фамилии?

— Дедушка, нам нужно это для дела. Видите, мы судим того мальчика, который повредил вам ваши сети и взял немножко рыбы.

— Ну, взял так взял... Вы ему пропишите, чего полагается, как у вас там положено по вашей пионерии, а мое фамилие вам ни к чему. Я этих кляузов сроду не любил.

— Ну хорошо, дедушка, дело и так ясно... Малинин, ты признаешься, что виноват?

— Надо говорить: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» — поправил меня Витя Минаев.

— Ну, все равно. Малинин, признаешь?

— Ну, признаю, — тихо сказал Игорь. — Развели вы, ей-богу, историю, да еще при посторонних!.. — Он искоса поглядел на рыбака. — Я же для вас старался. Я бы потом все равно сказал...

Слово было предоставлено прокурору Вите Минаеву.

— Я считаю поступок Малинина позорным.

— Ну и считай! — буркнул Игорь.

— Прошу призвать подсудимого к порядку, иначе я отказываюсь... Я считаю поступок недостойным и предлагаю Малинину дать хороший, строгий выговор, и чтобы об этом в школе тоже знали, в отряде...

Тут вмешался на правах защитника Дёма Стрижаков:

— Конечно, я считаю, что Малинин отчасти виноват, с одной стороны, но, с другой стороны, если разобраться, то он действовал так для нас, так как у нас положение безвыходное. Хотя, с другой стороны, мог, конечно, сразу нам сказать. Но, с моей стороны, кажется, что было неправильно с его стороны...

— Проще говори, скорее! — закричали ребята.

— Я кончаю... хотя у меня еще есть регламент, — сказал словоохотливый Дёма, — я кончаю и считаю, со своей стороны, то есть с моей точки зрения, что выговор объявлять не надо, а надо сделать замечание. Потому что Игорь, то есть Малинин, очень активный пионер и всегда действовал хорошо, и мы его знаем по лагерю и в школе — он всегда много делает отряду. И это надо учесть. Но, с другой стороны, замечание сделать надо.

Игорь сидел опустив голову, глядя на свои босые ноги, шевеля измазанными в глине пальцами.

— Малинин, твое последнее слово, — сказала я.

Игорь встал.

— Ребята, — еле слышно сказал он, — можете меня присудить как хотите, но только в школе говорить не надо. Это я прошу. Я лучше за рыбу заплачу. Хотя ели ее все... Но, конечно, я виноват.

— Суд удаляется на совещание, — объявила я и вместе с Изей Круком и Галей ушла в палатку.

Пока мы там совещались и писали в походные тетрадки наш приговор, снаружи послышались какие-то возгласы, шум. Я поспешила выйти.

— Суд идет! — торжественно возгласил Изя Крук и ударил в барабан.

Но у палатки никого не оказалось, кроме Игоря, послушно сидевшего на своем пеньке. Слева за кустами слышались шаги, голоса ребят и ворчливый голос рыбака. Мы побежали туда.

Старик, крупно шагая, шел к другому краю острова, за ним бежали, цепляясь за корни, спотыкаясь, опережая и снова отставая, Дёма и Витя.

— Дедушка, куда же вы? Стойте! Сейчас же решение будет...

— Да ну вас тут всех, — отмахивался старик, — не люблю я сроду этих кляузнов! Ну, выговорили бы ему, как положено, а то уж вовсе засудили мальчишку. Глядеть жалко. По лицу весь пузырями пошел. Что мне, рыбу жалко? Натя, берите! Только вентера не тревожьте...

Когда мы подбежали к берегу, старик уже вскочил в лодку, полную рыбы и сетей, и, сердито громадя кормовиком, отплывал от островка.

— Дедушка! — закричала я, размахивая тетрадкой. — Погодите, куда же вы? Мы присудили ему прощения у вас просить! Погодите, он сейчас извинится... И дайте ваш адрес — мы вам деньги пришлем за рыбу...

Но упрямый глухой старик продолжал грести от берега, решительно мотая кудлатой головой:

— И слышать не хочу! Гляди, какую такую канцелярию напустили! Еще расписываться, скажете, надо...

Мы были так смущены всем происшедшим, что только тут спохватились: ведь старик мог доставить нас на берег с острова или, по крайней мере, сообщить на станцию о том, что мы оказались робинзонами.

— Дедушка! — закричала я что есть силы. — Вы скажите там, что мы тут застряли, скажите — пионеры из 637-й школы! Вы слышите, дедушка?

Старик уже отплыл далеко на середину водохранилища.

Оттуда слышался его сиплый голос:

— Не слышать мне ничего. Да и слышать не хочу. Никому ничего не скажу, не сумлевайтесь. Ни слова никому не скажу... Ишь практиканты!..

Мы кричали, делали отчаянные знаки, показывали на себя, на остров, на воду, но он только отмахивался...

Так мы ни с чем и вернулись к палатке, где нас терпеливо дожидался на своем пеньке бедный Игорь. Он встал, увидя нас. Но читать ему приговор было теперь уже глупо. Я свернула тетрадку. Однако Игорь сам спросил:

— А вы к чему меня присудили?

— Молчи уж! — заговорила Галя. — Чего там говорить — «присудили», когда тебе замечание дали и еще извиниться перед этим дедушкой заставили, а он уже уехал, пожалел тебя. Вот мы из-за тебя опять тут застряли. Сиди вот тут теперь...

Солнце поднялось уже над самой головой и пекло основательно. Но, несмотря на воскресный день, яхты почему-то не появились. А всегда их тут бывало очень много. Стрекотали кузнечики, и где-то певуче и громко куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка! Сколько нам тут сидеть осталось?

Кукушка на том берегу долго молчала, потом, словно набравшись сил, принялась куковать. Мы считали. Раз... два... три... Насчитали двадцать шесть «ку-ку».

— Господи, неужели еще двадцать шесть часов? — с ужасом воскликнула Люда.

— Кто это тебе сказал, что часов? — степенно заметил Витя. — Может быть, и дней.

Все окончательно приуныли. Долго тянулся этот день. Водохранилище оставалось безлюдным. Только у далекого края его, на фарватере, прошли два теплохода. Мы махали им, но, конечно, отсюда нас заметить было невозможно.

Пробовали затеять игры, решать кроссворд, но в этот день ничего не получалось: кроссворд попался трудный, и мы застряли уже на третьем слове по горизонтали: «Термин в юриспруденции». И бросили решать.

Больше всего ребят огорчало, что дома волнуются родители.

— Ох, будет нам, когда вернемся!

— Да, уж больше не пустят никогда в жизни.

Я тоже чувствовала себя крайне неловко. Ведь это мне доверили ребят.

День медленно клонился к вечеру. И тишина, которая царила в этот день на канале, на далеких берегах водохранилища, стала казаться мне странной. Непонятным было безлюдье, отсутствие яхт и катеров.

Мы пробовали кричать хором. Но никто не отзывался. А день медленно гас. Зашло солнце. Присмирели птицы на ветлах. Надо было опять покормить ребят. Но чем? Я видела, что они искоса и вздыхая поглядывают на оставшуюся рыбу. И тут же отворачиваются.

— Ребята, идите сюда! — позвала я. — Нечего воротить носы — рыбу эту теперь уже все равно нам оставили... глупо отказываться... Девочки, быстро, давайте чистить и варить!

Когда запылал наш костер и запахло свежей ухой, все немножко повеселели, а потом с аппетитом ели уху и молча, чтобы не подавиться костями, уплетали рыбу.

Не ел только один гордый Игорь. Он решительно отказался от рыбы. Он сказал, что вообще всю жизнь терпеть не мог рыбы...

Глава 6 Мир погасил огни

Костер погас. Тучей налетели комары, заныли тоненько над ухом. С водохранилища потянуло сыростью. В заводях заквакали, словно прополаскивая горло, лягушки. Спустилась ночь. И было в этой ночи что-то резко отличавшее ее от вчерашней. Сперва мы еще не понимали, почему такой недоброй, чужой и нелюдимой показалась нам эта ночь. Может быть, лишь потому, что мы были отрезаны на маленьком островке и чувствовали себя заброшенными всеми? Нет. Дело было не только в этом. Сама ночь выглядела сегодня не так, как накануне.

И первый это понял Игорь.

— Гляди, Сима, — сказал он испуганно, — на канале обстановка не зажжена. Нигде огней нет.

Мы всмотрелись в темноту ночи. Нигде не было видно ни огонька. И там, на юго-востоке, где вчера трепетало перламутровое зарево над Москвой, небо сегодня казалось глухим, черным. И звезды, растворенные вчера в отсветах города, сегодня высыпали все, крупные и выпуклые.

Долго вглядывались мы с берега нашего островка в эту загадочную тьму. Ни искорки, ни огонька... Слепая ночь навалилась на всю округу. И тишина была какая-то необычная. Не слышалось ни заводских, ни паровозных гудков. Тихо было на ближнем шлюзе. Великое безмолвие окружало нас. И только тысячи необыкновенно ярких звезд дрожали над нами в молчаливом небе, через которое в этот день с утра не прошел ни один самолет. Все молчало вокруг. Не было ветра, воздух застыл в тяжелой, гнетущей неподвижности. Безжизненно оцепенели деревья. Казалось, что сегодня замерло все, что вчера двигалось, онемело все звучавшее в жизни, погасло все, что светило в ней.

И мы сидели подавленные этим стопудовым, легшим на нас черным молчанием. Странные мысли заползали в голову. В мире что-то случилось. Почему он так тих и темен, этот вчера еще такой шумный, искристый, светлоокий мир?

Может быть, произошла какая-нибудь космическая катастрофа, о которой мы читали в фантастических романах, и вся Земля вымерла? И только мы, семеро, остались в этом опустошенном мире?

Шестеро пионеров и я, их вожатая...

Тут Игорь словно подслушал мои мысли.

— Сима, — заговорил он шепотом, — смотри, как темно везде... Честное слово, Сима, что-то случилось...

Необузданная фантазия его тотчас же вырвалась на волю, забушевала. Я увидела в слабом свете звезд, как засверкали его глаза.

— Сима, может быть, мы одни остались на свете?

Витя Минаев фыркнул.

— Нечего тебе хмыкать, Витька. Мало ли что может быть! Я вот читал в одном журнале...

— Что ты читал?

— Как жили где-то на Памире, высоко-высоко, несколько наших астрономов советских. У них там была такая высокогорная обсерватория. Самая высокая во всем мире. И у них там был самый сильный телескоп. И они увидели, что какое-то небесное тело летит к Земле, и высчитали, что оно столкнется с Землей и все люди тогда погибнут. А они там зимовали, у себя на горе, уже второй год, потому что упала лавина и загородила дорогу к ним. И у них там даже радио кончилось... Ну, току уже не было, потому что топить было нечем, и машины стояли. А на Земле никто, кроме них, ничего не заметил, потому что это было видно только через тот телескоп на высокой горе, где очень чистая атмосфера. И тогда они решили пойти зимой через перевалы, спуститься к людям и сообщить им, что всему миру грозит гибель. И они пошли в такую экспедицию. Назвали ее Ч. Э. С. 3. Ш.

— А что это такое значит: Ч. Э. С. 3. Ш.? — спросил кто-то в темноте.

— Чрезвычайная экспедиция по спасению земного шара это значит. И вот они пошли...

— А как же они смогли спасти? Путаешь ты чего-то! — послышался голос Вити Минаева. — Все равно, раз столкновение с Землей, так уж крышка...

— Ничего я не путаю!.. Ты слушай. Они знали, что наши не дадут миру погибнуть. Они знали, что уже изобретен будто одним ученым в СССР такой снаряд межпланетный, небывало страшной силы, и вот, если пустить много таких очень могучих снарядов в то самое небесное тело заранее, то его можно сбить с пути, в сторону отклонить. Или совсем взорвать на части... И вот они пошли, потому что никто, кроме них, не знал, что грозит всей Земле. А это самое тело все падало и падало ближе...

Игорь замолчал. Все посмотрели на небо. Словно кровью налитый, пристально глядел на нас с темного небосклона маленький, злой, неморгающий зрачок Марса.

— Ну, а что дальше было? Рассказывай, рассказывай, — поторопила Галя, подсаживаясь ближе ко мне.

— А дальше не знаю. Я в журнале читал. Там написано: «Продолжение следует». А я больше номеров не достал.

— Эх, ты, начал интересно так, а потом... Нечего тогда рассказывать! — возмутились ребята.

— Интересно узнать, что дальше было.

— А давайте сами придумывать, что было дальше, — предложила я.

— Дальше, в общем, они, конечно, спасли всех, — глубокомысленно заметил Дёма.

— А может быть, наоборот, — мрачно проговорил Витя, — они опоздали. Тело уж подошло так близко к Земле, что своим ядовитым серным воздухом отравило всех. И они попали в мертвый мир.

— Ух, страшно! — взвизгнула в темноте Люда, прижимаясь ко мне.

— Да, — сказал довольный Витя. — Весь мир заснул, а они только остались. Их было семь человек.

— Кто это тебе сказал, что семь? — возмутился Игорь. — Их было трое всего.

— Ну, не их семь, так нас тут семеро, — зловеще изрек Витя.

— Ну тебя, Витька! Всегда ты такое придумаешь, что слушать противно! — возмутились ребята.

Но все замолчали, полные неясных опасений. Невольно и я себе представила, как мы всемером пробираемся по темной, молчаливой, пустой Москве. И ни в одном окне ни огонька, и нигде ни живой души. А мы бредем всемером... Последние на Земле. Шесть пионеров и я — их вожатая...

— Фу ты, ерунда какая! — рассердилась я сама на себя и встряхнула головой.

В эту минуту мне послышался какой-то странный звук на водохранилище. Я прислушалась. Да! Где-то стучал мотор. Очевидно, по водохранилищу шел катер. Как я обрадовалась этому звуку! Значит, где-то в мире еще есть живая душа.

— Ребята! Скорей! Быстро! Зажигай костер, давай устроим из веток факелы!

Мы быстро навалили сухой валежник, поднесли спичку — костер сразу занялся. Взметнулось высокое пламя, а мы, взяв ветви, зажгли их концы и стали махать этими самодельными факелами.

Звук мотора приближался.

— Сюда, сюда! — кричали ребята, размахивая огнем. — Снимите нас отсюда, мы тут застряли!

Трескучая скороговорка мотора слышалась уже совсем рядом, но через огнистый ореол вокруг факелов трудно было разглядеть приближавшийся катер. Оттуда, из темноты, слышался чей-то очень знакомый голос:

— Кончай огни жечь! Обалдели вы, что ли?! Гаси костер!

— Кто это, кто это? — заговорили ребята.

Из темноты показался освещенный нашими факелами катер. Красным светом загорелись поручни, наши огни отразились в стеклах. Блеснули буквы: «Фламарион»...

— Говорено, кажется, вам по-русски: тушить огонь! — закричал кто-то с катера, и теперь я узнала голос: это кричал Костя Чиликин, который когда-то ходил мотористом на яхте «Фламарион» у Расщепея.

— Котья, это ты? — закричала я. — Котья?..

Кто-то прыгнул в темноте с катера прямо в воду; расплюхивая ее, кинулся к берегу, оттолкнул меня, вырвал у ребят зажженные ветви, бросил их на берег и стал ожесточенно затаптывать.

— Для вас что, правил нет, что ли? Сказана было — не балуй с огнем! Кажется, надо понятие иметь! — сердито окал Чиликин.

Костер затоптали, и стало так темно, что ничего нельзя было разглядеть.

В темноте что-то кричали обрадованные ребята, потом я услышала другой, тоже очень знакомый голос:

— Сима!.. Сима Крупицына тут? Сима, ты где?

— Здесь, здесь я!

Глаза мои привыкли к темноте, и я рассмотрела Ромку Каштана.

— Ромка, здравствуй! Ну, спасибо, что пришел за нами. Как же ты узнал, где мы находимся?

— Наделали вы переполоху! — не слушая меня, сердито говорил Ромка. — Там ваши папахены-мамахены все с ума посходили. Тут и без вас сегодня у людей дел сверх головы, а еще извольте вас, халдеев, с милицией разыскивать! Хорошо, что хоть рыбак этот вас тут видел...

— Какой рыбак? Это который... — начал было Игорь и разом смолк.

— «Какой рыбак»! Видел вас тут один, что вы сидите на острове... Да, спасибо, Котья катер выпросил... Эх, вы... Такой у людей день, а вы чепухой занимаетесь...

— Собирай ваши причиндалы, мотай удочки да погружайся, — всех перебивая, пробасил суровый Котья Чиликин. — Мне с вами тут долго прохлаждаться времени нет. Ну, живо! А за огонь вам еще попадет! Раз было объявлено, так надо исполнять! Поживей, поживей! — торопил нас Чиликин. — Мне у нас в батальоне катер всего на два часа дали.

— В каком батальоне? — опешила я.

Он поправил пояс, и я увидела на нем кобуру.

— В охране, вот в каком!..

— А ты разве... — начала было я.

Но Ромка вдруг перебил меня:

— Котья, стой! Пойми! Они же, халдеи, ничего не знают... Вы радио-то слушали? Нет?.. Ну, ребята... — вдруг совсем другим голосом заговорил Ромка. Я никогда еще не слышала, чтобы Ромка говорил так. — Ну так вот, Сима, ребята, знайте... — он перевел дыхание, — сегодня...

И Ромка Каштан, веселый, неугомонный Ромка, от которого мы всегда слышали только

смешные шутки, насмешки, дразнилки, серьезным и тихим голосом сказал нам то, что знал уже сегодня в полдень весь мир — весь мир, кроме нас семерых.

Вот почему такая строгая тишина сковала все вокруг нас, вот почему не было света над Москвой и весь мир погасил свои огни.

По-разному узнавали об этом люди. А нам выпало на долю узнать вот так... И сразу вчерашний день ушел куда-то очень далеко, словно давным-давно был он и какая-то грозная черта отделила его от нас навсегда.

Стряслось то, о чем не раз говорили, предостерегая нас, книги, газеты, песни — «Если завтра война, если завтра в поход...». А вот уже не завтра... Сегодня! Это случилось, а мы были далеко от своих, мы ничего не знали, занимались пустяками, огорчались, что пропали «загадалки», устраивали суд из-за рыбы...

— Да, Сима, вот как, — проговорил Ромка. Таким серьезным я видела его только один раз — когда он подошел ко мне после похорон Расщепея.

А ребята стояли затихшие, и лица у них, слабо освещенные уже начинавшейся зарей, показались мне осунувшимися.

— А мы уже ответили ударом на удар? — спросил Игорь.

— Наверно. Что же ты думаешь, ждть будем? — негромко ответил Рома Каштан.

— Узнают, как на нас лезть! — проговорил Дёма.

— Я их, этих фашистов, всегда терпеть не могла! — с сердцем сказала Галя.

— И я, — поддержала ее Люда. — Через них теперь уж лагерь, наверно, отменят.

— Ну, сажайся, грузись! — скомандовал Чиликин. — В Москве поговорите.

Мы быстро погрузились на катер. Давно я не была на «Фламарионе». И когда теперь попала в знакомую маленькую каюту, освещенную лампочкой в потолке, я вспомнила наше плавание с Расщепеем. Мне показалось, будто какой-то особенный смысл был в том, что весть о войне, о «великом противостоянии», пришедшем для всех нас, приплыла ко мне на маленьком кораблике Расщепея. Словно он сам прислал за мной своего «Фламариона».

А ребята были до того истомлены этим трудным и несчастным днем, который начался таинственными приключениями и закончился таким ошеломляющим сообщением, что, прикорнув в разных уголках катера, привалившись друг к другу, голова к голове, все скоро заснули. И тогда Ромка шепотом сказал мне:

— Киев бомбили... Минск... А я потом слышал радио по-немецки. Фанфарят на весь мир, барабанят и гавкают на весь свет из своей рейхсштабквартиры, собаки, что наши отступают.

— Врут, конечно. Да, Ромка?

— Да нет, как тебе сказать... — замылся Рома и посмотрел на заснувших пионеров. А потом, еще понизив голос, добавил: — А телескопов твоих надо скорей по домам развести... Что это за история у вас с лодкой вышла, не пойму.

Я рассказала Ромке об исчезновении наших «загадалок».

— Странно... — протянул он рассеянно, думая, видимо, о чем-то другом. — Ну, да сейчас в этом и разбираться некогда. А вот у Малинина вашего отец утром на фронт уезжает. Надеюсь, успеет проститься.

Мы помолчали оба. Ровно стучал мотор «Фламариона». Ромка сидел на кожаном диване, припав лицом к стеклу, слегка сдвинув шторку окна, за которым не было огня, но уже проступала утренняя голубизна. Он сидел, полуотвернувшись от меня, прикрыв сбоку от света лампочки глаза ладонью, и я наконец решила спросить его:

— Слушай, Ромка, ты у наших дома не был?

— Какое там не был, три раза забегал! Волнуются.

— А ты не знаешь, никто не приезжал к нам?

Ромка оторвался от окна и внимательно посмотрел на меня:

— Это ты что, насчет своего ашуга, акына, как его там... Успокойся!.. Как не приезжал... Приезжал. Он там тебе, кажется, письмо оставил.

— Письмо? — испугалась я. — А сам он где?

— А его «молнией» обратно вызвали. Война же, понимаешь. А он там по лошадиной части что-то делает... Одним словом — по коням!..

— Уехал? — еле слышно спросила я.

— Чего ты так?! Ведь не на запад, на восток путь пока держит... И вольно же тебе было в Робинзона играть! Он весь день у ваших сидел, все тебя дожидался. Ничего парень. Довольно приятный, культурный. Мы с ним в шахматы даже сыграли, пока тебя ждали. Соображает неплохо, только теории не знает.

Но я уже не слушала его. Как глупо все это получилось! Если бы я была в Москве, мы бы хоть повидались, хотя бы часок побыли вместе. А теперь... увидимся ли мы когда-нибудь?

За окнами каютки рассветало. С лугового берега доносился аромат свежескошенного сена. Начинался день. Второй день войны.

Глава 7 День второй

С каким-то затаенным страхом ждала я встречи с Москвой. Мне казалось, что за вчерашний день все в ней должно было перемениться. И город, наверно, выглядит сегодня совсем иначе. Но, когда я с сонными, невыспавшимися и молчаливыми ребятами вылезла из метро у Белорусского вокзала, меня успокоила обыденность того, что я увидела. По улице Горького как ни в чем не бывало медленно шла поливочная машина, раскрылив пушистые струи воды. Дворники, волоча длинные шланги, спокойно перекидывая из руки в руку шипучие водяные хлысты, медленно стегали ими вдоль и поперек тротуара. Все блестело, искрилось радужным сиянием утра. Стояли на своих местах милиционеры. Проехала белая цистерна с надписью «Молоко», промчались автомобили-фургоны, оставляя ароматный дух свежего хлеба. Москва просыпалась. Медленно, как человек, с трудом приходящий в себя спросонок, подымался дым из трубы какой-то фабрики. На пустынных еще улицах громко лязгали звонки трамваев. И все это — и широкие, омытые обильной влагой улицы, и дома, отражающиеся в зеркале мокрого асфальта, и запах хлеба, и трамваи со знакомыми номерами маршрутов, — все было необыкновенно прекрасным, таким родным, что у меня заныло сердце. Страшно было подумать, что кто-то хочет отнять у нас все это и шагать по нашим улицам, пятная вот эту землю своим грязным следом, и непрошено войти в наши дома... Да нет, никогда и ни за что!..

— Что ты говоришь, Сима? — спросил меня Ромка.

Наверно, я нечаянно произнесла вслух то, что думала...

— Красивая у нас Москва, Рома, верно? — сказала я.

— Мне тоже еще вчера показалось, что она стала какая-то особенно хорошая, — согласился Рома.

А по улице шли красноармейцы, ведя, словно под уздцы, огромный, вздутый, слоноподобный газгольдер. Они шли торжественно, как утренний дозор просыпающегося города. Шли молча по белой меловой черте, которая проведена посередине, разделяя улицу надвое.

И медленно колыхалось наполненное газом огромное, длинное тело баллона.

Потом стали встречаться мужчины с рюкзаками и чемоданами. Многих сопровождали женщины с глазами, красными от бессонной ночи, а может быть, и от слез. Они несли узелки. Торопливо прошагал почтальон. Он остановился у ближнего подъезда, вынул целую кипу зеленых повесток, сверился с адресом и исчез в парадном. Вскоре он вышел оттуда и пошел к большому соседнему дому.

А из улицы справа, пересекая нам дорогу, громко ступая крепкими подошвами по влажному, еще не просохшему асфальту, вышел большой отряд красноармейцев. Пологие лучи низкого утреннего солнца ударили по ружьям. И засверкал на солнце косою дождь штыков. Красноармейцы шли без песни, тяжелым, прочным солдатским шагом, гулко

отдававшимся в улицах. Они шли в походной форме, на них были новенькие гимнастерки, заплечные мешки и под ними скатанные шинели. А позади ехало несколько повозок с деревянными чемоданами, с баульчиками и с другим солдатским добром.

Мы остановились и долго смотрели им вслед. Куда они идут и сколько им еще идти? И когда кто из них вернется домой? И милиционер на перекрестке, тоже заглядевшись им вслед, долго не убирал на светофоре красного огня, которым он перекрыл движение, чтобы пропустить колонну красноармейцев.

— Девочки, — сказала я Гале и Люде, — отдайте им наши цветы.

И пионерки мои побежали к командиру и неловко сунули ему в руки по огромному вороху лесных цветов, которые мы собрали на острове. Командир одной рукой подхватил оба букета, другой козырнул моим пионеркам и, не меняя шага, пошел с нашими цветами дальше — на фронт, на войну. А колонну уже обгоняли зеленые грузовики, и на них, по-братски обняв друг друга, тесно стояли люди в шляпах, в кепках, в пиджаках, блузах.

За памятником Пушкину на Тверском бульваре сквозь зелень деревьев виднелось круглое серебристое туловище, словно туда, в заросли, заплыл какой-то огромный кит. И рядом стоял часовой.

— Аэростат воздушного заграждения, — объяснил нам Ромка.

У нашего дома мы расстались с ребятами. Ромка сказал, что ждет меня днем в школе, где у нас будет собрание, и я пошла к себе.

Несмотря на ранний час, у нас уже никто не спал. Отец первым услышал мои шаги, вышел в переднюю, чтобы встретить меня. Своими добрыми и чуткими руками он нашел мое плечо, пробежал пальцами по лицу.

— Ну, слава тебе господи! Симочка вернулась. А нам тут без тебя до того худо, доченька, было... Мне и словом не с кем перекинуться. Разве они все поймут, что сейчас на свете происходит! Эх, слепота, слепота, хуже моей...

Он провел осторожно ладонью по моей щеке:

— Гляди, ты как обветрилась, и щеки зашершавели. Ты иди умойся, Симочка... Мать, давай собирай поесть.

За столом у нас уже сидел настройщик с Людмилой и, загибая пальцы на одной руке, говорил:

— Картошка хотя и не очень калорийный продукт, но тем не менее, мама, это есть, так сказать, основа средней пищи при нашем достатке. Затем, конечно, надо будет обеспечить жиры.

А бедная, совсем уже им заговоренная мама сидела вся обмякшая и неуверенно соглашалась:

— Да я уж не знаю, Арсений Валерьянович, вам, конечно, виднее, при вашем образовании, я лично с вами согласная, но вот не знаю, как Андрей скажет...

Папа, стуча кулаком по столу так, что подпрыгивали тарелки, в которые он нечаянно попадал, кричал:

— Ты слышишь, Симочка, эти и им подобные разговоры?! И не совестно вам самим вашей дурости! Ведь через вас-то у всех магазинов одна давка образуется — и больше ничего. Уж в такой-то день надо бы поумнеть, если раньше не успели. Слышать я не желаю в своем доме такую подобную отсталость.

И отец надел кепку, поправил черные очки, взял свою палку и пошел на работу, крикнув мне с порога:

— А мы, Симочка, в нашей «Технокнопке» вчера порешили на военный ход производство переводить! Будем сетки для гранат делать. И еще там кое-что... А вы тут можете запастись, если желаете. Только я вам паники разводить в доме не позволю. И ни копейки не дам, уж извините — салфет вашей милости!

Когда он ушел, мама сказала:

— Со вчерашнего дня такой. А у меня прямо голова лопается. Не знаю, за что братья. Тут еще молочница приходила, такое наговорила... И тебя, как назло, весь день вчера не

было. Нашла время для прогулок! Уж из трех квартир родители тебя спрашивали. Завезла, говорят, ребят, и нету. А тут война...

— И охота тебе, Симка, с этими малявками возиться! — вмешалась сестра. — Уж большая, кажется, выросла, а все с маленькими...

— Да, это уж чрезмерная нагрузка, я считаю, — добавил настройщик.

На комодке я нашла письмо от Амеда. Он писал, что ждал меня целый день, ему очень хотелось повидать меня, но ему нужно немедленно возвращаться к себе в Туркмению. И, когда теперь мы увидимся, неизвестно.

«Кони нужны будут. Дюльдяль, наверно, ржет, чуя, что пойдет скоро в бой», — писал Амед и сообщал о своем решении добиваться, чтобы его взяли добровольцем в Красную Армию... Мне он оставил подарок — крохотную козую сумочку вроде талисмана. На ней был искусно выткан знак Марса.

— Весь день тут сидел, кавалер-то твой азиатский, — сказала мать. — Хороший такой, вежливый, ладный. Уж он мне все и про мать рассказал и про коней своих. Так уж он этих коней обожает, прямо аж глаза горят, как заговорит только! Очень печалился, что тебя не повидал. Ну, ведь знаешь, Сима, сейчас не до того. У него свое дело... А так собой симпатичный... Я ему и пончиков на дорогу дала.

В дверь постучали. Вошел Игорек. Глаза у него были какие-то необыкновенно большие.

— Можно к вам? Здравствуйте. Сима, тебя папа мой просит зайти к нам, в двенадцатую квартиру.

— Ни днем ни ночью покоя от этих пионеров нет! — вздохнула мать. — Нет, Симочка, ты, правда, иди. Им еще вчера повестку принесли.

Капитан Малинин, сутулый, скуластый, склонился над вещевым мешком, когда мы вошли к нему с Игорем.

— Здравствуйте, — заговорил он. — Добрый день, Симочка. Вы извините, что я вас потревожил. Знаю, что устали. Игушка мне все рассказал... Как это у вас вчера получилось неладно! Но я очень спешу. Отправляюсь сейчас. Хотел вам несколько слов сказать. (Игорь, куда ты помазок заложил?) Вот что, товарищ Сима: вы знаете, матери у нас нет, живем вдвоем с Игорем — он да я. Теперь остается он, значит, один. Ну Стеша, домработница, по хозяйству приглядит, да соседи обещали. Но ведь знаете, время крепкое наступило. Мало ли что будет! В теперешних войнах, знаете ли, фронт, тыл — все одно. Точное деление при возможностях современного оружия исчезает. Так я, собственно, вот о чем. Вы — вожатая у них. Игушка мне много о вас говорил. Я вас очень уважаю, Сима.

— Ну что вы... — засмушалась я.

— Нет, нет, именно уважаю. Вы свое дело хорошо делаете — с умом и с сердцем. Так вот, пожалуйста, прошу вас: будьте для моего Игоря во всех смыслах вожатой. Понятно? Во всем. Это большое дело — вожатой быть. Вы ведь комсомолка?.. Очень хорошо. Значит, вам комсомол ребят доверил. И вот я, командир Красной Армии, тоже вам доверяю своего сына по этой линии, так сказать. Прошу вас, товарищ Сима, присмотреть за Игорем тут без меня. В случае чего — пишите мне. Вернусь — не забуду! Вот и все. Мне время ехать. Позвольте вашу руку.

Он встал передо мной, аккуратный, подтянутый, плащ на левой руке. Выпрямился, скрипнул ремнями португепи, сдвинул каблуки, откозырял мне почтительно и протянул руку. Я крепко пожала его плоскую твердую ладонь:

— Возвращайтесь скорее, товарищ Малинин, а за Игоря не беспокойтесь. Вы себя там поберегите.

— Ну, спасибо вам, — сказал он, подхватил чемодан и вышел.

Я проводила его до ворот. Игорь хотел бежать за ним до вокзала, но в машине, которая пришла за капитаном, места не было, бежать было далеко. Капитан крепко поцеловал Игоря, откашлялся, поправил фуражку, еще раз оглядел весь дом от земли до крыши, сел в машину и укатил.

Игорь долго смотрел ему вслед, а потом побрел к себе. Я догнала его, обняла за плечо:

— Ну вот, Игорек, остались мы теперь с тобой.

— Это ты осталась, а я все равно убегу.

— Куда это ты убежишь?

— На фронт, вот куда!

— А ты слышал, что отец говорил? Он тебя на кого оставил? Кого ты должен теперь слушать?

— Мало ли что, — сказал Игорь и посмотрел на меня исподлобья. — Ты не очень-то уж старайся.

Он высвободил плечо и скрылся в своем подъезде.

Я написала большое письмо Амеду, где рассказала ему все наши приключения. «Амед, — писала я ему, — как это плохо, что мы не повидались, когда такое началось в жизни». Потом я пошла в школу, опустив по дороге письмо в почтовый ящик.

Как всегда летом, школа показалась непривычно просторной, тихой и прохладной. Но в боковом крыле здания толпился народ и сидели женщины на крылечке, где ветер шевелит белое полотнище с надписью: «Призывной пункт № 173». Окна нашего класса были завешаны газетами, там заседала комиссия. В других классах молчаливо сидели на партах странно выглядявшие тут взрослые мужчины. Во дворе толпились, ожидая очереди, люди, получившие повестки. Проходили озабоченные, деловые военные.

Старшеклассники собрались в физическом кабинете. Оказывается, вчера уже без меня все собирались тут и решили, что школьники разобьются на бригады. Одни будут помогать работать на огородах семьям, у которых мужчины ушли на фронт. Другие взяли на себя охрану школы. Девочки взялись шить белье. Одна я оказалась как-то без дела. И я спросила, как мне быть с моими пионерами, оставшимися в городе.

— Она все со своими цыплятами! — накинулась на меня Катя Ваточкина. — Тут у всех дел — убиться мало, время такое — жуть! — а она со своими деточками...

Катя Ваточкина вообще любила выражаться очень энергично: «Жара — смерть», «Настроение — мрак», «Дел накопилось — чистое безумие!», «А работа идет — сплошной позор...»

Я уже привыкла не обижаться на нее. Она была шумная, горластая, с резкими ухватками и считала, что именно такой и должна быть настоящая пионервожатая. А она была вожатой в четвертом, теперь уже — пятом «Б». «Какая ты, Симка, к шуту, пионервожатая! — не раз говаривала мне Катя. — Ты уж больно деликатное создание — этих разных тонкостей да этого всякого романтизму в тебе ужас сколько, а напору — нуль. Ты будь побоевей». Сперва мне казалось, что она права. «Кто знает, — думала я, — может быть, пионеры любят именно таких — шумных, энергичных, покрикивающих». Я видела, как она сама командует в своем отряде: «Мальчики, девочки, живенько у меня, раз-два! Вот так, красота! Теперь сели! Давайте похлопаем. Начали!..» Но потом я убедилась, что хотя ребята и похваляют ее вслух, но в душе не очень-то считаются с ней. Дисциплина у нее в отряде была хуже, чем у меня. И ребят, видимо, утомляли эта непрерывная шумиха, взбудораживающие окрики, хлопанье в ладоши, гулкая суета. И еще я поняла, что Кате просто скучно с ребятами и она шумит для того, чтобы заглушить в себе эту скуку.

— Ну, давайте кончать, что ли! — закричала Катя Ваточкина. — Я умираю пить! Считаю, решили ясно. Пошли! С этим всё.

Она шумно вылетела из класса, в коридоре ко мне подошел наш математик Евгений Макарович.

— А мы за вас очень беспокоились вчера, Крупицына, — мягко заговорил он, близоруко всматриваясь в меня. — Что это за странная история с островом, с исчезновением лодки? Ох, романтики!.. Ну-ну-ну, пошутил! Да, да, конечно, я понимаю — сейчас не до этого. Грозное время, Крупицына, трудное время! Сейчас надо быть всем вместе... Страшно мне за вас за всех, друзья! Жизни мне молодые жалко...

Вечером я собрала у нас во дворе, на маленьком скверике, свою шестерку. Я любила

свой двор, куда из окон смотрело столько разных домашних жизней, любила гулкой сумрак ворот и льющися откуда-то сверху звуки рояля или радио, дворовую ребячью разноголосицу, визг точильного камня, мелом начерченные классы на асфальте, матерей с колясками, старых бабушек, сидящих на табуретках у подъезда и ведущих тихую беседу о том о сем...

А теперь по двору ходил комендант с дворниками. Они заглядывали во все углы, собирали в кучи и уносили мусор. Двор выглядел суровее и чище. Сюда мог прийти огонь, и надо было, чтобы не нашлось для него лишней пищи. Люди выкидывали из квартир все лишнее, избавлялись от мусора и рухляди — этого требовала война. И мне казалось, что и сами люди делаются лучше, чище, выкидывая из своих душ все ненужное, мусорное.

— Ну вот, ребятки, — сказала я своим пионерам в тот вечер на скверике. — Я что хочу сказать... Сияли нам звезды, видели мы жизнь далеко вперед, загадывали с вами загадки. А теперь стреляют пушки, идет бой. Только одно мы должны загадать, все одинаково — чтобы скорее наши победили. Верно ведь, ребята? И пусть каждый из нас подумает, что он может сделать для того, чтобы все это скорей сбылось.

Тихо слушали меня мои пионеры.

Кончался второй день войны, и опускалась на Москву ночь, суровая и синяя, как маскировочная штора.

Глава 8 Великое и малое

Стены Кремля охраняют каждого из нас.
Из записной книжки А. Расщепя

В первые дни мне казалось, что меня надолго не хватит. Каждый день приносил столько волнений, был так грозно нов, что я думала — у меня не будет сил выдержать все это. Но потом оказалось, что нельзя все время говорить только об одной войне. И по-прежнему люди вставали утром, умывались, завтракали, отправлялись на работу. Только работали усерднее и уставали теперь больше. Вечерами ходили в кино и жили за опущенными синими шторами, упрятав внутри квартир жилой свет. Постепенно вернулись некоторые старые интересы. И иногда мы снова начинали ломать голову над таинственным исчезновением наших «загадалок», над странной историей с лодкой, которую потом обнаружили в кустах рыбаки. Решительно нельзя было подозревать кого бы то ни было. Васька Жмырев не появлялся что-то больше у нас во дворе, и мы все чаще и чаще, все привычнее стали считать его виновником наших странных приключений на острове.

Мы ездили на огороды, получая путевки в райкоме комсомола. Возвращались домой поздно, усталые, шли домой по темным московским улицам. Они казались дремучими и таинственными. Москва с каждым днем приобретала все более и более военный вид. Целые бастионы из мешков с песком вырастали у витрин. Их снаружи зашивали досками, фанерой. В подъездах появились ящики с песком, железные клещи, ломы, ведра.

И необыкновенно много звезд было в те ночи над Москвой. Обычно москвичи не видели звезд. Ночной свет города поглощал их. А теперь небо над Москвой было усыпано крупными яркими звездами. Но зато погасло рубиновое пятизвездие Кремля. На звезды кремлевских башен были надеты защитные чехлы, чтобы они не блестели днем. А ночью их теперь не зажигали.

Настроение становилось все тревожнее. Плакаты на всех углах и стенах Москвы требовательно напоминали о том, что пришло строгое время и каждый должен быть на своем месте. А радио сообщало сводки, от которых холодело все внутри. Иногда не хотелось слышать то, что сообщалось, хотелось уберечь себя от этого тревожного знания, но деваться от него было некуда, как от боли.

Второго июля, вернувшись очень поздно из-за города, я сразу заснула как убитая,

забыв даже поставить будильник на шесть утра. Я помнила о том, что завтра утром надо будет встать пораньше, ехать с пионерами на окраины, убирать пустыри, но не могла заставить себя ночью встать и завести будильник. Я проснулась утром оттого, что кто-то сказал мне как будто в окно:

— Товарищи! Граждане!

Я вскочила и кинулась к открытому окну. Косые длинные тени лежали на только что политом, остывающем асфальте. Часы на углу показывали шесть тридцать. А на перекрестке, под громкоговорителем, стояли люди, закинув головы, и все как будто затихло на улицах, прислушиваясь. Остановились машины, троллейбусы. Шоферы приоткрыли дверцы, из трамвая высовывались люди.

Над утренней Москвой раздавалось:

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое двадцать второго июня, продолжается...

Включив в комнате репродуктор сети, я судорожно одевалась. Как я могла себе позволить проспать в такое время! Вот все встали, а я...

В квартире никого не было. Отец с мамой ушли. Я сбежала вниз по лестнице. На тихой улице из рупоров доносилось:

— Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь...

Я схватилась за решетку ограды у нашего двора, когда услышала:

— Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.

Я невольно посмотрела на ясное июльское небо над Москвой. И ясно представила себе, как этот высокий голубой свод провисает под тяжким бременем опасности, которая грозит задавить все живое на нашей земле...

Но голос в радиорупорах, как бы откликаясь на мою тревогу, напомнил:

— Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита...

Я выслушала это с огромной радостью, словно не Кутузов, а мы с Расщепеем разбили Наполеона. Мне было приятно, что приведен именно этот исторический пример.

— Товарищи! Наши силы неисчислимы, — твердо прозвучало в рупорах, и все, кто слушал радио рядом со мной на улице, посмотрели вокруг себя и друг на друга, словно заново увидели, как много нас, как огромна наша страна.

Я поспешила в райком. Здесь, во дворе, мы собирались обычно в праздничные утра Октября и Мая, выстраивались под нашими комсомольскими знаменами, весело расхватывали кумачовые транспаранты на шестах, фанерные щиты, обтянутые алой материей. И потом шли отсюда вместе с колонной всего нашего района на Красную площадь. И сегодня тут, во дворе райкома, было очень много народу. Я увидела здесь почти всех наших комсомольцев и многих знакомых из других школ. Всех тянуло сюда в это утро, все спешили сюда, к нашему комсомольскому дому, потому что нигде нельзя было так уверенно, широко и полновесно ощутить себя какой-то прочной частицей той великой силы, что наполняла только что слышанные нами слова, каждое из которых все мы запомнили на всю жизнь.

На крыльцо во дворе вышел наш секретарь Ваня Самохин.

— Товарищи, — сказал он негромко, но все его услышали и затихли, — будем считать наш комсомольский летучий митинг открытым...

В этот день комсомольцы наши нарасхват разбирали наряды, путевки, задания. Всякий хотел немедля взяться за дело.

Днем я встретила нашего математика Евгения Макаровича. Он шел с вещевым мешком за спиной, тщательно побритый, энергично размахивая одной рукой.

— Здравствуйте, Евгений Макарович. Куда это вы собрались? За город?

Он негромко расхохотался.

— Да, Крупицына. Решил, знаете, подышать свежим воздухом... Кстати, вам известно, что моряки называют свежей погодой? Когда буря разгуливается! — Он нахмурился, помолчал, потом протянул мне свою худую руку: — Всего вам доброго, Крупицына. В ополчение ухажу. Слышали о народном ополчении? Вот я уже записался. Передайте мой привет всем вашим товарищам, Крупицына.

— Как же, Евгений Макарович... Ведь у вас же с легкими не совсем хорошо...

— Тссс!.. — строго прервал меня математик. — Кто это вам наболтал? Сами не верьте и других разубедите. Очень прошу. Ну, всего наилучшего.

И он бодро зашагал, отмахивая на ходу в сторону одной рукой.

Но с каждым днем опасность, о которой говорили народу по радио и писали в газетах, нависала все грознее, и война подползала все ближе к нашему порогу. Уже несколько раз объявляли в Москве воздушную тревогу. И иногда где-то далеко-далеко погромыхивали залпы зениток. Москва готовилась к удару с неба.

В эти дни я очень много думала о Расщепее, вспоминая его слова: «Великие противостояния, Симочка, когда истина созревает, бывают не только во Вселенной и в человеческой судьбе — они бывают и в судьбе народов. И грозным будет великое противостояние, когда сойдутся два непримиримых мира и человечество увидит истинное светлое величие одного и познает всю злобную мерзость другого, нам враждебного. Жаль, если меня не будет тогда в живых, Симочка...»

Как мне не хватало в эти дни Расщепея, как много нужно было бы мне сказать ему, как часто требовался мне его совет!

Я несколько раз звонила по телефону из автомата Ирине Михайловне, обещала к ней зайти. Но у меня не хватало ни времени, ни сил для этого. Амеду я отправила еще одно письмо. Но ответа не получила.

Меня начинала томить тоска. Вот, думала я, пришло время, чтобы в жизни быть такой, какой я была в картине Расщепея: храброй партизанкой... А вместо этого я окучиваю со своими пионерами картошку на подмосковных огородах.

Так думала я и в тот день, когда мы работали на огородах близ Можайского шоссе. Когда-то по этой дороге двигалась на Москву армия Наполеона...

Теперь по шоссе друг другу в угон шли грузовики, крытые брезентом, и издали было видно, как там стоят обожженные солнцем регулировщики и машут желтыми и красными флажками, распределяя движение. Асфальтовая матовая гладь шоссе, разделив вдаль лес надвое, уходила к самому горизонту. А если пойти по этой дороге все дальше и дальше, туда, за горизонт, и еще дальше, то где-то шоссе перерезала линия фронта, И там, на этом же самом шоссе, которое накатанным асфальтом блестело здесь, около нас, среди мирных лугов, там, может быть, сейчас шел бой...

На дороге возле огорода остановилась маленькая машина. Из нее вышел человек в дымчатых очках, в смешных коротких штанах баллоном и клетчатых чулках. Ребята подняли головы, разогнулись, с любопытством рассматривая приехавшего.

— Работайте, продолжайте, работайте. Здравствуйте, привет! — заговорил приехавший, вскидывая к глазам камеру. — В аппарат не глядеть! Лица веселее! Ну-ка, друженько за работу! Вот так... Хорошо... Лады...

И он зажужжал аппаратом.

Ребята окучивали картошку, украдкой поглядывая в сторону человека с аппаратом. А он бегал вокруг нас, приседал на корточки, снимал нас то общим, то крупным планом. Я-то его давно узнала, еще по голосу, — это был Арданов, режиссер-лаборант Расщепея, тот самый, что звался у нас Лабарданом. Это он с Павлушей снимал меня для пробы, когда я впервые пришла на кинофабрику. Ну где же ему было узнать прежнюю Устю-партизанку в великовозрастной девице с облупленным от загара носом, с растрепанными волосами, выбивающимися из-под платка, и грязными от земли руками!

Но вот он кончил снимать, повесил аппарат на ремень через плечо, крикнул шоферу:

«Погоди, Сережа, сейчас запишу только, и поедem на другой объект...» — и обратился к нам:

— Значит, так, — он вынул блокнот, — лады. Запишем... Комсомольцы и пионеры в подмосковных огородах помогают крепить боевой тыл. Так. Лады. Хороший сюжет. Из какой школы?

— Из 637-й! — хором отвечали мои пионеры.

— Давайте запишу фамилии, — сказал Лабардан. — Ну, начнем с тебя...

— Малинин Игорь... А в кино это будут показывать?

— Конечно, будут... Ты?

— Сокольская Людмила. Пятый «А». А в каком кино будет?

— Везде, везде будет... Ты как зовешься?

— Скорпион, — негромко подсказал Игорек.

— Как?

— Хватит вам, ребята! — обиделся Витя. — Вы запишите: Минаев Виктор. Год рождения 1929... Отличник, можете записать.

Так Лабардан переписал фамилии всех ребят, а потом, не отрываясь от своей книжечки, обратился ко мне:

— А вы что — за вожатую? Так. Лады. Фамилия, имя, школа?.. Что? Позволь!.. Сима?!

Лабардан сдернул с себя дымчатые очки; отступив на шаг, нагнул голову в одну сторону, потом посмотрел с другого бока, все еще не веря, должно быть, широко шагнул ко мне, обеими руками схватил меня за локти и крепко потряс:

— Симочка!.. Ты? Вытянулась-то как!.. Ну и случается же в жизни! Видишь, как пришлось мне тебя опять вернуть на экран... Кто бы мог думать?! — Он замолчал, отвернулся, глядя куда-то в сторону. — А помнишь, Симочка, Александра Дмитриевича? Эх, Сима!..

И он быстро надел очки. А ребята стояли поодаль и глядели на нас обоих...

Вот как — не на лихом коне, не в гусарском кивере и не с острой саблей, а с мотыжкой-сапкой в руке, копающейся в картошке на огороде попала я снова на экраны кино.

Глава 9 Под злыми звездами

Васька Жмырев появился на соседнем дворе дома № 15 с утра. Он сыпал налево и направо калеными семечками подсолнухов, новыми военными словечками: «точно», «порядочек», «культурненько» — и невероятными военными новостями, одна страшней другой.

Впрочем, он тут же добавлял, что пусть другие пугаются, а он лично ничего не боится.

Весть о появлении Васьки Жмырева быстро облетела оба двора. В этот день мы работали дома: по заданию штаба противовоздушной обороны вычерчивали белой известью стрелки у надписей: «бомбоубежище», «песок», «вода», «ход в укрытие». Днем была короткая тревога. Мы сейчас же полезли на крышу.

Дома № 15 и № 17 были разделены толстой, высокой стеной — брандмауэром, к которому с двух сторон приросли корпуса обоих зданий. Брандмауэр был официальной границей наших подблочных владений. В мирное время здесь орудовали главным образом мальчишки-радиолюбители, укрепляя свои антенны. Отсюда же запускались змеи. В канун праздников железо кровель грохотало под ногами управдома и дворников, которые спускали отсюда на канатах или подтягивали на фасаде транспаранты, портреты и светящиеся разноцветными огнями лампочки иллюминации. А ныне, как только взывала сирена, крыша переходила в наше ведение. Мы уже хорошо обжились здесь. У нас стояли тут ящики с песком, лежали ломы, шипцы, стояли бачки с водой. Правда, налета еще не было, но тревоги уже объявлялись несколько раз. И всегда, когда я поднималась сюда и глядела сверху на замерший, как бы затаивший дыхание, изготовившийся к бою город, у меня холодело сердце, пересыхали губы — так страшно мне делалось за Москву.

Москва отсюда была очень хороша. В синеве Замоскворечья, ближе к югу, проступал сквозной, похожий на застывший смерч силуэт радиобашни на Шаболовке. Между домами проблескивало зеркало Москвы-реки. С нашей крыши были видны две кремлевские башни с контурами темных звезд, притаивших теперь свой свет. И такая огромная, заполнив собой все видимое пространство, весь круг Земли, проложившая зелень парков и бульваров между кварталами, как перекладывают зеленым мхом елочные игрушки, лежала под нами Москва! Дым заводов стоял над далеким горизонтом. Ровный, слитный шум огромного города доносился на крышу.

Трамваи, автомобили внизу были страшно маленькими; зато лепные фигуры у карниза на фронте нашего дома, всегда казавшиеся мне не больше настольной лампы, на самом деле оказались размером в целый буфет...

Внизу, на земле, все выглядело теперь подготовившимся к удару. Все понемножку приобрело военный вид. А сверху, с крыши, Москва казалась по-прежнему мирной, незащищенно открытой. Правда, на самом высоком, многоэтажном доме возле нас из-за каменного барьера вокруг крыши торчали какие-то длинные предметы, тщательно укутанные брезентом. И виднелась пилотка неподвижного часового. Да иногда замечала я там командира; он медленно шел за барьером по крыше, в руке у него был бинокль, он держал его в отставленной руке, как держат кружку, то и дело подносил его к глазам, отставлял руку и опять прикладывался, словно отпивал крупными глотками даль, открывавшуюся ему сверху.

В тот день, когда на соседнем дворе объявился Васька Жмырев и мы во время дневной тревоги поднялись к себе на крышу, наш недруг оказался совсем рядом с нами, по ту сторону брандмауэра. Вокруг него вертелись соседские мальчишки, поглядывая в нашу сторону.

Пионеры мои сразу заволновались:

— Вон он, Сима, смотри... Жмырь явился.

— Ну, и не обращайтесь на него внимания, — посоветовала я.

— Лучше с ним не связываться, — согласился со мной, немало меня этим изумив, Игорь.

Но словоохотливый Дёма Стрижаков решил все-таки поступить по-своему. Он подошел к брандмауэру и крикнул на ту крышу:

— Эй, Жмырь!

— Ну Жмырь, скажем. Дальше что? — последовало оттуда.

— Здорово!

— Ну, допустим, здравствуй. Что с того? — вызывающе ответил Жмырев.

— Сейчас я его поймаю, — сказал Дёма, подмигнув нам, и с таинственной значительностью громко спросил: — Жмырь, ты зачем к нам в погреб лазил?

— Ребята, — обратился к своим Жмырев, — это он у них что — чумной?

Те так и покатались.

— Ты зачем на острове все вырыл и лодку угнал?

— Слыхали? — изумился Жмырев. — Был халдей, стал обалдей... Эй, телескопы, он у вас что — не в себе?

— Ну, ты, правда, Жмырев, не прикидывайся особенно, — вмешался тут же Витя Минаев.

— Да чего мне прикидываться! — окончательно рассердился Жмырев. — Вы сами за собой поглядывайте. Как насчет ухи? Наваристая? Скусная была? Я слышал, как вы чужую рыбку удили. Не бойсь, все знаю. Вы вон вашего рыболова спросите...

— Я же говорил — не надо с ним связываться, — пробормотал Игорь, весь красный от смущения. — И нашел ты тоже время, Дёма, разговоры заводить! Тут, понимаешь, тревога, а он... начал старое ковырять.

— Молчу, молчу, — хитро прищурившись, понимающе кивнул Жмырев и запел во все горло: — «Я с миленочком сидела. Он молчит, и я молчу. Я подумала, сказала: «Будь здоров! Домой хочу».

Дали отбой, и мы спустились вниз. Но настроение у нас было испорчено. У всех в душе был какой-то неприятный осадок после этого разговора на крыше: об истории с рыбой, должно быть, узнали ребята, живущие близ водохранилища. Я тут же выругала себя за то, что занимаюсь всякими пустяками в такое серьезное время.

И только вечером все мы забыли про Жмырева. В десять часов вечера из всех рупоров радио слышалось:

— Граждане, воздушная тревога!

Завыла, взбегая на высокие ноты, мягко скатываясь на нижний регистр и снова возвышая тон до визга, сирена на большом доме возле нас. Тотчас же откликнулись еще две, обгоняя друг друга, то сходясь, то расходясь... Команда моя кинулась по местам. Мы уже привыкли слышать звуки тревоги и ждали, что скоро дадут отбой. Сирены замолкли. Наступила тишина. И вдруг радио опять заговорило:

— Граждане, воздушная тревога!.. Не скапливайтесь в подъездах домов, укрывайтесь немедленно в убежища. Работники милиции, обеспечьте немедленно полное укрытие населения в убежища!

И вдруг в окнах верхнего этажа большого дома на другой стороне улицы я увидела отражение каких-то маленьких пляшущих огней. В ту же минуту, где-то далеко позади себя, я расслышала частые сухие звуки, как будто лопались резиновые пузыри. И внезапно вся Москва ощетинулась прожекторами. Светящиеся струи лучей ударили в небо, сходясь, пересекаясь, расходясь, как сходились, пересекались и расходились звуки сирен. Над окраинами Москвы заплясали сотни вспыхивающих и гаснущих огоньков. Казалось, что огромная невидимая сетка повешена там между небом и землей, ограждая край города. Она расшита тысячами блесток, то гаснущих, то снова загорающихся: кто-то непрерывно трясет эту огромную прозрачную сетку, и та дрожит, гремя и рассыпая вспышки.

Потом в небе возник какой-то новый, чужеродный, всему посторонний, нудный и тошнотворный звук. И тотчас же оглушительно, часто и близко, несколько раз подряд, торопливо выпалили зенитки с соседней крыши, откуда теперь доносились слова команды: «По фашистским налетчикам — огонь!» С рычащим неистовством зачастил пулемет, счетверенный, как мне пояснил Игорь. В небо, туда, откуда доносился сдвоенный, качающийся гуд, помчались, догоняя друг друга, красные тирёшки. Это был след трассирующих пуль. И там скрестились, яростно толча облака, сотни прожекторов. И казалось, вся Москва загрохотала выстрелами, гоня с неба невидимых летучих врагов. Все стреляло вокруг. Метались прожектора. Небо безумствовало, шаталось, когда все прожектора склонялись то в одну, то в другую сторону, и рвалось на части, когда лучи пересекались в поисках. А город внизу был неподвижен — черная громада притаившейся темноты. Рядом с нами на крыше были дежурные дружинники нашего дома, комсомольцы. Вдруг кто-то сказал в темноте:

— Пионеров этих вниз надо. Кто допустил? Где комендант? Разве можно ребятам на крыше! А ну, ребята, живо марш в укрытие!

— Ну что вы, дядя, мы же привыкли! Вот спросите нашу вожатую...

— Да и вожатую вашу не мешало бы вниз, — отвечал мужской голос.

Несколько осколков от зенитных снарядов с порхающим визгом пролетели над головами у нас и звонко цокнули о железо крыши.

— Кто здесь у вас вожатая? — закричал человек, вылезая из люка чердака. Я узнала в нем коменданта наших корпусов. — Вы, Крупицына? А ну, сейчас же убирайте своих пионеров! Не ваше тут место!

Нелегко было уговорить ребят, чтобы они ушли вниз. Прежде всего их надо было разыскать на крыше. Они, услышав приказ коменданта, сразу все попрятались. Понемножку я их всех выловила и отправила вниз. Скоро снизу до меня донеслись голоса Гали и Люды: «Пожалуйста, граждане, не нарушайте... Укрывайтесь, пожалуйста. Проходите. Женщины и дети, вперед... А мы дежурные, не волнуйтесь». Но конечно, Игоря Малинина я не нашла. Только с другого конца крыши я иногда слышала его срывающийся басок:

— Эй вы там, внизу, в шестнадцатой квартире, светилы, затмевайтесь, вам говорят! У вас видно!..

Но, когда я подбегала к этому краю крыши, Игоря уже там не было. А налет продолжался. Москва отбивалась. Хлопали зенитки, шатались в разные стороны лучи прожекторов, словно в бурю высокие мачтовые деревья с внезапно засветившимися стволами. Иногда мне казалось, что и дом наш начинает качаться из стороны в сторону. А потом вдруг стало надолго совсем светло. Страшный ярко-желтый, фосфорный и какой-то потусторонний свет озарил сверху город. Стали ясно видны дома, улицы, и все было оранжево-зеленым, словно виделось через цветное стекло. Это фашисты бросили со своих самолетов светящиеся бомбы. Злые звезды повисли над Москвой, обнажая город сверху мертвым своим светом, срывая защитный покров темноты. По этим отвратительным светилам били зенитки, строчили пулеметы. Желтые звезды медленно погасли. Тьма, сгустившаяся теперь, показалась еще более черной. Потом в небе раздался пронзительный свист, все громче и громче...

— Ложись! — закричал кто-то из темноты.

Я кинулась плашмя на крышу. Последовала ослепительная вспышка, и какая-то сила, прогрохотав по железу кровли, как мне казалось, вмяла меня в жуть.

— Через квартал от нас, — определил комендант.

Теперь то и дело слышался над нами посвист бомб, ухали разрывы, мы видели яркие вспышки. А потом где-то за вокзалами и в стороне Красной Пресни стало медленно расплзаться багровое зарево. Оно делалось все больше и больше: загорелось еще где-то на окраинах. Горизонт стал огненным. И, глядя на это, я почувствовала, как стучат у меня зубы. Я зажимала обеими руками рот, а зубы всё стучали. И ночь показалась сразу знобкой. И было не столько страшно, сколько нестерпимо обидно, что горят дома нашего города, что это сделал в нашем городе враг, что чужая злая воля вмешалась в наши ночи.

Москва горит... Меня всю трясло.

— Сбили, сбили, падает двухмоторный! — услышала я голос Игоря и посмотрела на небо.

Там три скрестившихся прожектора медленно сводили с небосклона к пылающему горизонту какую-то сверкающую точку, оставлявшую длинный розоватый дым. Потом полетели какие-то огненные брызги, и с неба словно скатилась расплавленная красная капля. Земля ответила на падение вражеского самолета негодующей вспышкой.

На всех крышах аплодировали и кричали «ура». Но в это время над нами совсем низко взвыл воздух, и с неба посыпался огонь. Словно десятки факелов падали на нас, тыкаясь в крышу, тотчас загораясь, шипя и фыркая. Это фашистский бомбардировщик, пикируя, сбросил зажигательные бомбы.

Ух, как кинулись мы все тушить эти бомбы! Как засыпали песком, топтали подошвами, хватили клещами, тащили топить в воде огненных гаденышей, пока они еще не вырвались из своей алюминиевой скорлупы! С одной бомбой я справилась самолично. И я своими руками могла теперь потрогать покореженное, уже остывшее в кадке, бессильное оружие врага.

Несколько зажигалок упало по ту сторону брандмауэра, на крышу соседнего дома № 15. Мальчишки тушили их, ругаясь напропалую, гоняясь за теми, которые катились по склону крыши. Одна, самая большая, расфыркивая пламя, оставляя за собой огненную дорожку, скатилась к желобу и застряла там, извергая жгучую, ослепительную лаву. Я видела, как Васька Жмырев, подобравшись к самому карнизу, почти повиснув на руках, дотянулся до бомбы ногами и пинал ее до тех пор, пока она не свалилась вниз, во двор.

— Эй вы там, внизу! — прокричал, свешиваясь с крыши, Жмырев. — Принимай угольки горячие...

Двор внизу на мгновение осветился вспышкой разбившейся зажигалки, послышался топот по асфальту, крики, возня, и внизу стало опять темно. А Васька Жмырев одним прыжком уже перемахнул через гребень стены и гнался теперь за другой зажигательной бомбой. Она упала на гребень нашей крыши, разломилась и медленно съезжала, проплавливая

воспаленным термитом железную кровлю. Однако Игорек поспел туда раньше, чем Жмырев. Он отпихивал плечом рослого Василия и сам шипел и фыркал, словно маленькая бомба:

— Пусти, Жмырь, пусти, говорю... Пошел ты... Не твоя это бомба, не лезь... Что за привычка у тебя лезть, куда не просят! Чего ты на нашу крышу пришел? Туши там, у себя...

И, оттирая в сторону Жмырева, Игорек поддел бомбу на совок. Он бежал к чану с водой на чердаке, неся бомбу, как несут уголь из печки для самовара. Руки у него дрожали. Бомба выбрасывала фонтанчики огня, и несколько капель жидкого пламени попало Игорю на брюки — материя загорелась. Он не обращал внимания, топил шипящую бомбу в воде.

— Штаны горят, ты, халдей! — закричал Жмырев и, подхватив маленького Игоря, с размаху посадил его задом в чан с водой.

Тот вылез сейчас же, мокрый, разъяренный, полез с кулаками на рослого Жмырева:

— Ты что, на самом деле, Жмырь, просили тебя? Дурак...

Только тут он почувствовал, что со штанами у него действительно неладно, пощупал их сзади, заглянул себе за спину, выгнувшись, и сконфуженно замолчал.

— Ну, ладно, ладно, не фырчи, жареный халдей, — добродушно проговорил Жмырев и перемахнул через брандмауэр на свою крышу.

Защитники нашей крыши собрались вокруг Игоря, шумно отдуваясь после схватки с зажигательными бомбами. Кто осматривал прогоревшую одежду, кто дул на обожженную руку. И все очень хвалили Ваську:

— Это кто тут так ловко орудовал?

— Да это один парень тут у соседей гостит. Подмосковный сам. Шалопай.

— Шалопай, а гляди, как хорошо управился! Отчаянный!

А Игорь сопел в стороне, недовольный.

— Сима, у тебя булавки английской нет? — шепотом спросил он и, получив булавку, долго припиливал к поясу расползавшиеся, наполовину сожженные штаны.

А я немного повеселела. Как-никак это было наше первое боевое крещение, и мы не сплеховали. Тем, невидимым, летящим в тревожном небе Москвы, злобно целящим в нас, швыряющим на наши головы, на наши крыши огонь, все-таки не удалось сжечь наш дом. Мы отстояли его.

«А где сейчас Амед? — подумала я. — Жаль, что он не видит меня здесь, на боевом посту! Вот бы зауважал! А то спит, наверно, сейчас под спокойными горячими звездами и прислушивается, как пофыркивает и хрустит сеном в конюшне его этот самый хваленый Дюльдяль...»

Только когда в рупорах послышался желанный отчетливый голос: «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой», я спустилась с крыши. И внизу вдруг почувствовала, как ужасно я устала за эту ночь.

Из укрытий повалил народ. Все шумно переговаривались, делились своими переживаниями.

Пионеры мои, насильно загнанные в убежище, обступили меня, наперебой рассказывая, что они испытали там, внизу, когда земля тряслась над их головой. Какой-то старичок в ночной сорочке и войлочных туфлях показывал всем колючий, зазубренный осколок: «Так и звиркнул прямо в окошко, — гляжу, а он на подушку улегся. Еще горячий был...»

Поднялась из подвала мама, бледная, задыхающаяся, кинулась ко мне, обхватила ладонями мою голову, стала целовать:

— Господи, Симочка, страсть-то какая... Ой, дайте на волю выйти, дыхнуть дайте!.. Зачем же ты такой риск себе позволяешь? Да — не к тому будь сказано — вдруг бы в тебя попало!.. Ой, батюшки, сколько же еще нам терпеть?.. И отца нигде не видать. Куда его унесло?

Но отец уже проталкивался к нам, крича издали торжественно:

— Здесь я, мать, здесь! Живой, в лучшем виде.

— Господи, куда же тебя, слепого, носит? — рассердилась мать.

— Брось, Катя, брось, — говорил отец. — Теперь моя слепота сгодилась. Я уж двадцать

пять лет в затемнении хожу. Это вам только с непривычки. Я, мать, сегодня на нашем объекте за главного был. Все тычутся куда попало, мне это затемнение все равно не видать. Вот, выходит, и я сгодился... Симочка, что это у тебя на руке-то? — Он погладил мою кисть. — Ожог, никак? Ты бы все-таки поостереглась... Есть и без тебя кому на крыше стоять...

А Васька Жмырев ходил и похвалялся количеством потушенных бомб.

Так прошла первая боевая ночь Москвы. И хотя мы не выспались и некоторые были перепуганы, все же в людях чувствовалось особое, новое и гордое упрямство. Мы попробовали себя в борьбе с огнем. Москва вошла в соприкосновение с врагом. Все чувствовали себя сегодня увереннее, чем вчера.

Глава 10 Не смыкая глаз

Пришла вторая ночь тревог.

И опять мы стояли на крышах. И чувствовали, как содрогается Москва от ударов бомб. Фашисты в этот день бросали мало «зажигалок», но больше швыряли фугаски.

Утром люди с волнением рассказывали о том, что тяжелая бомба разнесла театр Вахтангова. По улицам мчались, завывая сиренами, кареты «скорой помощи».

За второй ночью пришла третья. Теперь каждый вечер около десяти часов начинали выть сирены. К этому часу люди уже подбирались поближе к убежищам, где теперь вместе с дружинниками несли дежурства и мои пионеры. Это им разрешили. И как только начиналась тревога, я слышала внизу, во дворе, голоса моих девочек:

— Спокойно, граждане! Женщины и дети, вперед... Товарищ, пропустите гражданку с ребенком... Проходите, граждане, проходите, не скапливайтесь...

Пионеры мои с гордостью носили противогазы, а у девочек были сумки с красными крестами.

А налеты на Москву продолжались. Немцы, должно быть, хотели подавить волю города постоянной бессонницей. И действительно, все люди в Москве казались невыспавшимися.

Тяжело мне было смотреть на длинные очереди старушек, которые с узелками, баульчиками, прихватив внучат, часов уже с семи занимали очередь у станции метро.

Мы все начали уставать. Все время хотелось спать. С каждым днем труднее и труднее было выдерживать ночное дежурство на крыше. Мы стали меняться, чтобы давать друг другу передышку. Шумная и лихая суматоха первой ночи сменилась теперь изнурительной, суровой сосредоточенностью. Мы стали опытнее. Мы меньше пугались, но и меньше восторгались, когда нам удавалось потушить бомбу. Это уже стало обыкновением. Да и не каждую ночь падали бомбы именно на наш район. А ночь все равно была бессонной.

Не унывал только Ромка Каштан. Он приходил ко мне в часы, свободные от дежурства в истребительном батальоне, и каждый раз приносил или новую песенку, или рассказывал что-нибудь смешное. Какие только веселые глупости не придумывал он! Сочинял уморительные объявления вроде: «Меняю одну фугасную бомбу на две зажигательные. Желательно в разных районах». Когда Ромка с нашими старшеклассниками рыл большие щели-укрытия, он вывесил огромный плакат: «Цель оправдывает средства», а сбоку к букве «Ц» приписал красным карандашом еще одну толстую палочку, и получилось: «Щель оправдывает средства». Однажды он пришел ко мне днем, как всегда аккуратный, подтянутый, в щегольской пилотке с красной звездой, застал меня во дворе с моими пионерами и сейчас же начал:

— О-о, великие астрономы, зодиаки и само светило! Слушайте, вы, цыпленки, я могу вас обучить новой песенке, слышали? Как раз для младшего возраста. Ну-ка, хором за мной!..

— Глупо, Ромка, — сказала я, хотя самой мне было смешно. — Как ты можешь в такое

время... Ты бы хоть чуточку стал солиднее.

— Солидными должны быть стенки в бомбоубежище, — возразил Ромка, — а личная солидность никого не спасает, только обременяет хуже. Верно, цыпленки? А для вашей вожатой у меня есть особая песенка. Вот, прошу послушать. — И он запел: — «Крутится, вертится «юнкерс» большой, крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет попасть, а кавалер барышню все равно хочет украсть...» — Ромка привстал, галантно подбоченился, шепнул мне: — Можешь переписать для своего Амеда. — И затем продолжал как ни в чем не бывало: «Где ж эта улица, где ж этот дом, где все, что было вчера еще днем?»

Мне с ним всегда было весело, но я не любила, когда он шутил так при моих пионерах: мне казалось, что этим он умаляет в их глазах мой авторитет.

— Если сам сочинил, — сказала я, — то поздравить не могу: малоостроумно.

— Чем богаты, тем и рады, — отвечал, не обижаясь, Ромка. — Я понимаю, что тебе по твоему настроению другое нравится... Ну как? Что пишут из солнечной, знойной Туркмении?

Я, кажется, покраснела и хотела что-то сказать, но тут подбежала Катя Ваточкина:

— Симка, я тебя ищу целую вечность! Пошли в Парк культуры. Там народу — тьма! Талалихин будет выступать. Вот парень — красота! Герой! Абсолютный!

И мы пошли в районный Парк культуры. Пионеры мои увязались за нами. Но мы шли впереди и тихо беседовали с Ромкой.

Сперва мы шли молча, потом я сказала, полная своих мыслей:

— Пишем нет, а телеграмма была.

— Ты это про что? — удивился Ромка, уже позабывший свой шуточный вопрос.

— Ну, оттуда... Из Туркмении. Ты же спрашивал.

— А-а! — каким-то скучным голосом протянул Ромка. — Ну, и что слышно там, на их боевом фронте?

— Да беспокоится за меня, советует поехать к брату Георгию. Там у них спокойно, вот он и зовет.

— И что же, собираешься? — спросил он, испытующе поглядев на меня.

— Ну вот, действительно, не хватало еще!.. Я ему написала, что мое место тут, в Москве. Рассказала про наших ребят. Как бомбы у нас тушили, вообще про нашу жизнь московскую.

— Ты пиши, да соображай, что пишешь. А то знаешь — военная цензура живо...

— Ну что я, не знаю, что ли, что можно писать, чего нельзя!

Я не сказала Ромке, что у меня вышло с письмами Амеду. Я понимала, что нельзя сообщать в письмах обо всех бомбежках, и писала, например: «Вчера опять у нас была бабушка. Она осталась ночевать и не дала нам покоя до утра. Бабушка что-то зачастила к нам. Старуха очень шумная, от нее масса беспокойства, и мы все время не высыпаемся...» Я была уверена, что Амед поймет, о чем идет речь. Но он писал в ответ: «Если ты решишь приезжать, заведи с собой бабушку — старую женщину нехорошо оставлять одну. Мать тоже так думает».

Был воскресный день, ярко светило солнце. Но августовская прохлада уже освежала летнюю теплоту парка. Тут собралось много молодежи. Мы протиснулись вперед, к эстраде, и как раз в этот момент на нее вышел Виктор Талалихин. Это был невысокий, крепко сложенный паренек со свежим курносом, совсем еще мальчишеским лицом. У него были нашивки младшего лейтенанта, голубая фуражка летчика, орден Красной Звезды.

Золотую звездочку Героя он еще не получил, хотя звание ему было уже присвоено. Об этом мы прочли вчера в газетах. Одна рука была забинтована: он поранил ее при таране.

И сразу вокруг нас вспыхнула громогласная и очень радостная овация.

— Витя! Витенька! Витюшка! Витя! — кричали девушки, подпрыгивая, чтобы лучше, через головы впереди стоящих, рассмотреть героя, ставшего любимцем военной Москвы.

— Виктор! — басили товарищи Талалихина с его улицы, ровесники героя с Мясокомбината, где он недавно работал.

А он стоял, неловко переминаясь, хотя и старался держаться петушком, поглядывая исподлобья на шумевшую, приветствовавшую его молодежь, поправлял здоровой рукой португею. Когда все стихло, он заговорил:

— Меня просили, в общем, сказать, как я решился идти на таран. Потому что в этом деле был, понятно, риск. — Он пожал плечами и сказал с некоторым даже недоумением, но упрямо: — А что же мне было, упускать фашиста, что ли? Патроны, боезапас у меня кончились. Он бы и улетел себе. А я подсчитал так: ну хорошо, я тоже в крайнем случае гробанусь, но все-таки я-то один, а их там, на «юнкерсе», целых четыре. Значит, как-никак счет будет четыре на один в нашу пользу. Я и взял его на таран.

Овация забушевала с новой силой вокруг нас.

— Злоба меня такая взяла, аж весело и жарко стало. Не дам, думаю, ему к нашей Москве пробиться. Ну и протаранил. Всё.

Меня прижали к самому краю эстрады, и я почти касалась подбородком сапог Талалихина, хорошо начищенных, крепких, — я даже слышала, как от них вкусно пахнет ваксой. Задрал голову кверху, я смотрела на героя. И видела его вздернутую верхнюю губу, озорно подрагивающие ноздри, упрямый подбородок со смешной ямочкой. Вот каким надо быть, чтобы весело и жарко было от злости к врагу! Чтобы ничего не бояться. Идти на смерть, на риск, на таран. Тогда вот и будет весело и жарко!..

Я написала об этом Амеду. В душе мне хотелось, чтобы Амед тоже сделал что-нибудь похожее на то, что совершил Талалихин.

А фронт все приближался к нам. Из Москвы стали понемножку эвакуировать детей. Уезжали целые школы в специальных поездах. Я как-то, возвращаясь из-за города, с огородов, видела, как уходил такой поезд. Оттого что ребят было много и они куда-то ехали, им было весело, они махали руками, пели: «Стань, казачка молодая, у ворот, проводи меня до солнышка в поход...»

Только матери на перроне стояли очень грустные и украдкой вытирали концами шалей и платков глаза.

Глава 11 **Свидание с Устей**

В эти дни я часто вспоминала Расщепя. Мне захотелось побывать хотя бы там, где он жил, где мы с ним провели столько времени. И я решила во что бы то ни стало выбраться к Ирине Михайловне.

Несколько раз я звонила на квартиру Расщепя, но мне или никто не отвечал, или Ариша, милая, добрая Ариша, говорила: «А ты бы, Симочка, съездила бы на дачу, в Кореваново. Ирина Михайловна сейчас в городе редко когда ночует. Поехала бы почаевничала на свежем воздухе. А то ведь, верно, намыкалась по подземельям-то да по метру разному...»

Но выбраться мне в Кореваново было нелегко. Наконец все устроилось. По моей просьбе нас послали копать злосчастную картошку близ водохранилища, как раз в район Кореванова, где жила на даче Ирина Михайловна.

День выдался знойный, несмотря на то что август был на исходе. Летала уже осенняя блестящая паутина, и казалось, что в воздухе пересекаются какие-то прозрачные, сверкающие на краю плоскости. Солнце нещадно жгло наши согнутые спины. Картошка всем нам до смерти надоела. И только один Игорь, умевший всякое дело облекать в какую-то необыкновенную форму, и тут ухитрился развлекаться. Выкапывая картофелины, он располагал их возле себя каким-то узором или строил бастионы, а потом, когда на него никто не глядел, бомбил их крупным клубнем, тихонько урча под нос: «Бумм... Прямое попадание».

Мы работали усердно. Я хотела скорей отправить ребят домой, чтобы успеть со станции добраться до дачи, в Кореваново. Настроение у меня было в этот день приподнятое.

Пришло письмо от Амеда — он сообщал, что его зачислили добровольцем в кавалерию и он надеется, что я еще услышу о нем. А если путь на фронт будет проходить через Москву, он меня известит, и мы повидаемся.

Амед, Амед, Амед Юсташев, милый, застенчивый паренек, длиннобровый и мечтательный! То задумчивый, то вспылчивый, ни на кого из моих московских знакомых не похожий, совсем особенный. Он даже не знает, как много мне хочется сказать ему! Эх, если бы только удалось повидаться!.. А вдруг он уйдет на войну и его часть пойдет совсем на другой фронт? Я его не увижу до этого, а там, на фронте, — кто знает, что с ним может быть! Он отчаянный. Нет, лучше не надо, пусть уж сидит себе в Туркмении, объезжает горячих ахалтекинцев своих для нашей конницы. Тут же мне опять хотелось, чтобы Амед стал знаменитым героем, и я бы повела его по улицам Москвы, и все бы видели, что я иду рядом с ним, рядом с героем Амедом Юсташ-Бергеновым. Таково было его полное имя.

Солнце уже стало садиться за лес. Потянуло прохладой. Приумолкли птицы. Громко кричала у леса, должно быть привязанная к колышку на пастбище, коза. Такой мирный простор окружал нас на этих полях, такой покой был во всем, что не верилось — неужели где-то есть война?

Потом высоко над нами раздался ноющий звук мотора. Самолет летел на большой высоте, бояться нам его тут, в поле, было нечего. Где-то за лесом несколько раз для остротки ударила зенитка. Звук самолета стал удаляться. Но тут мои пионеры заметили, что какие-то белые бумажки роятся высоко над нами в голубом небе. Они кружились стайкой, разлетались в стороны. Ветер играл ими. Большая часть бумажек улетела за овраг, упала в лес, две из них, медленно кружась, падали на наше поле. Ребята сейчас же побежали туда. Игорек опередил всех и поймал листовку в руки, не дав ей сесть на землю. Он пробежал глазами то, что было написано на бумажке, нахмурился, посмотрел почему-то в сторону Изи Круга, весь покраснел и вдруг с ожесточением стал рвать бумажку.

— Ты что? — спросила я его, подбежав к нему.

— Ничего, — бормотал он, все еще красный, сжимая бумажку в комок. — Глупости там всякие написаны. Просто читать противно!

Ребята недоумевающе глядели на него:

— А что это такое было?

— Ну лозунги всякие ихние... Непонятно вам? Это немцы бросают. Воззвания свои фашистские. Листовки, что ли... Даже читать совестно. Слова такие... Тьфу!

Проводив ребят на станцию, усадив их в поезд и передав на попечение одной нашей старшекласснице, я отправилась в Кореваново. Дорога шла по ту сторону оврага; я нашла там еще одну листовку, сброшенную немецким самолетом. Я подняла бумажку и прочла. Это было обращение гитлеровского командования к москвичам. Фашисты сообщали, что они скоро придут в Москву, и предупреждали, что всякое сопротивление бесполезно. И тут же они объясняли, что вообще воевать русскому народу с немцами не из-за чего. Получалось так, что все дело тут лишь во всяких других иноверцах, из-за которых приходится страдать москвичам. А Гитлер русских людей обожает так, что прямо сил нет! И слова-то показались мне смешными, неуклюжими — «иноверцы»... Так вот с чем они хотят прийти к нам, вот на что они рассчитывают! Надеются, что мы окажемся друг для друга иноверцами. Вот что они хотят посеять на нашей земле, рассыпая бомбы и листовки над городами нашими, пытаясь отравить клеветой источники нашей дружбы! Значит, с Изей и Соней мне уже тогда не дружить, что ли? Что же, тогда и Амед будет мне иноверцем? Я так рассердилась, что разорвала листовку в клочья, скомкала их, бросила на землю и даже вдавила бумажки поглубже каблуком. Я словно коснулась какой-то липкой грязи. Хотелось вытереть руки...

Деревня Кореваново принадлежала когда-то тому самому помещику Кореванову, чьей крепостной была Устя Бирюкова, которую я изображала в фильме Расщепя. В полузаглохшем парке сохранилась старинная усадьба; наполовину она была превращена в музей, а в жилой части старого дома с белыми колоннами, на антресолях, жил директор музея Вячеслав Андреевич Иртенев, потомок генерала Иртеньева, прославившегося в

Бородинском сражении. Иртеньев был консультантом Расщепея при съемках фильма, так как сам раньше занимался военной историей, служил кавалергардом.

После Октябрьской революции он преподавал в Военной академии, был страстный охотник, написал книгу воспоминаний. Расщепей любил эту книгу и говорил, что бекасы и вальдшнепы описаны в ней куда привлекательней, чем министры, царедворцы и дипломаты. Теперь Иртеньев жил в Кореванове. Здесь он продолжал писать воспоминания, диктуя их своей жене, Анастасии Илларионовне.

Расщепей часто гостил у Иртеньева, а летом жил здесь на даче. Не раз привозил он сюда и меня. Иртеньев немало помог мне, когда я снималась. Он обучал меня хорошим манерам, помогал правильно держаться на лошади, рассказывал разные удивительные случаи из истории. А знал он их пропасть.

Несмотря на свои восемьдесят с лишним лет, он отлично сохранился: огромный старик, ростом без малого двух метров, он не утратил еще своей гвардейской выправки, с каким-то особым изяществом носил кавалерийскую фуражку, высокие сапоги старого образца, ходил прямо, слегка приподняв плечи, без палки, только чуточку подрагивая в ногах, когда ступал.

Он часто бывал у нас в Доме пионеров, где его избрали почетным председателем клуба юных историков. Пионеры любили этого огромного и статного старика, шумного, громогласного. У него была странная манера разговаривать, подталкивая при этом собеседника локтем: «Гм? Юные пионеры?.. Честь имею... А? Что? Хо-хо! Милости прошу!..»

И так, шумя, похохатывая, слегка ширя локтем, задавая тысячи односложных вопросов и не всегда дожидаясь ответа, он разговаривал с нами. В то же время говорил он с ребятами всегда очень уважительно. И хотя приходилось ему глядеть на нас всех сверху вниз, с высоты своего огромного роста, а мы должны были задирать головы, держался он так вежливо и заинтересованно, что мы никогда не чувствовали его превосходства. Если кто-нибудь из нас опаздывал на занятия кружка, он вынимал из маленького кармашка большие золотые фамильные часы, открывал их, внимательно смотрел на циферблат, потом переводил горестный взгляд на вошедшего, который уже сгорал от конфуза, и, выразительно щелкнув крышкой часов, молча клал их обратно. Сам же он никогда не опаздывал. «Аккуратность — вежливость королей, — говаривал он, первый придя на занятия, — но не мешает перенять ее, гм, и молодым революционерам. Что? Гм!.. А? Хо-хо!..»

Вячеслава Андреевича Иртеньева я застала на крыльчке террасы. Он предавался какому-то странному занятию, в котором участвовал маленький, деревенского вида мальчуган лет шести. Мальчуган, отойдя немного поодаль, бросал под ноги Иртеньева на крыльцо террасы большие деревянные кегли, а Вячеслав Андреевич гонялся за ними и хватал старомодными каминными щипцами, после чего швырял пойманную кеглю в стоявшую возле террасы бочку с водой. Заметив меня, он сразу приосанился, поправил усы, одернул пижаму.

А малыш убежал, закинув голову, выпятив живот, топоча пятками и выворачивая ими пыль, как бегают все деревенские ребята, воображая себя конями.

— Гм!.. Что? А? Виноват... — Иртеньев застегнул воротник пижамы, пробежал пальцами по ее пуговицам, проверяя их. — Виноват... Что? Вы к кому?

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич! — крикнула я.

— А? Что? Хо-хо!.. Товарищ Серафима?.. Здравствуйте, дорогая, здравствуйте, моя милая. Милости прошу. Гм, что?.. Чем обязан? Забыли, запомнили совсем! Анастасьюшка! — крикнул он в окно, обернувшись. — Посмотри, кто к нам приехал. А? Что? Замечательно, замечательно! Сама товарищ Серафима снизошла и навестила. Так сказать, шестикрылая Серафима на перепутье к нам явилась. Что? Гм! Хо-хо! Прощу вас.

Из окна высунулась полная, круглолицая Анастасия Илларионовна.

— Симочка, душенька, дитя мое, милая девочка, навестила, какая прелесть! — заговорила она. — Я с этим проклятым затемнением вожусь. Опять сегодня этот наш негодяй, эта погибель моя, Марсик, изверг рода кошачьего, изодрал всю штору... Я вот

сейчас тебе, у-у, негодный зверюга! Вон сидит, облизывается.

Огромный черный кот Марсик, усатый, как гусар, сидел в другом окне и нежился на вечернем солнышке. Услышав свое имя, он лениво посмотрел на хозяйку, потянулся и недовольно прыгнул с окна, словно хотел этим сказать: «Опять про то же! Ну вас тут всех с вашими шторами...»

— Ты только посмотри, как она выросла, какая красавица стала! Ты посмотри, Вячеслав, как она похорошела! Бьютифул, бьютифул! — быстро проговорила Анастасия Илларионовна по-английски. — Не правда ли? Жалко только, нос у вас, прелесть моя, немножко лупится. Но я вам дам крем, вы втирайте его утром и вечером. Я научу как... Смотри, а веснушки у нее совершенно прошли...

Тут мне вдруг стало очень смешно. Я подумала, как я буду втирать крем, перед тем как копать картошку, утром или вечером, когда надо лезть на крышу по тревоге.

Нос-то у меня правда очень обгорел, и это меня весьма опечалило, да и веснушки понемножку вылезали на свое место, хотя я их в начале лета старательно выводила.

Иртеньев повел меня на террасу. Высоченный, тяжеловесный, он шел, грациозно изогнувшись в мою сторону, ведя меня под руку, непрерывно задавая самые разнообразные вопросы и не давая толком ответить на каждый из них. Наконец мне удалось спросить его:

— А Ирина Михайловна где?

— Ирина Михайловна, деточка, в Москве. Сегодня она как раз ночует в городе. Что? Гм! Она ведь художница немного, теперь работает по маскировке. Необычайно изобретательна. Идемте, я вам покажу некоторые макеты.

Он провел меня внутрь дома и показал макеты многих знакомых московских зданий. Вот маленькая модель станции МОГЭС, хитро укрытая зеленью, вот крохотный, причудливо разрисованный Большой театр. На пятигранном макете Театра Красной Армии прилепилась церквушка, на стенах были вычерчены овраги, дома, деревья...

Проходя обратно с Иртеньевым через большую залу, я увидела на стене портрет в тяжелой золотой раме. На нем была изображена Устя-партизанка, та самая Устя, за которую я прожила ее вторую жизнь на экране. Я невольно остановилась. Давно уж я не видела этого портрета, который разыскал где-то Расщепей. По этому портрету да еще по одной старинной гравюре и лубочной картинке, найденной Расщепеем в каком-то архиве, меня гримировали. А потом Расщепей отдал портрет Усти Бирюковой в музей «Кореваново».

В зале было прохладно и тихо, блестел паркет, потрескивавший под нашими ногами. Подсвечники на люстрах были закутаны белой марлей. Мебель стояла в чехлах. А со стены из золотой рамы смотрела на меня Устя, безбровая девочка с печальным, но открытым взглядом и золотистыми веснушками на упрямо вздернутом носу. На ней был оранжевый тулупчик, платок укутывал ее волосы. На заднем фоне картины были изображены снежные равнины, разбитые артиллерийские повозки, туча воронья над трупами французов, полусасыпанных снегом. Под портретом была дощечка с надписью: «Юная партизанка Отечественной войны 1812 года Устинья Бирюкова, из крепостных помещика Кореванова. Свидетельница великого пожара Москвы. Участвовала в рейдах отряда Дениса Давыдова. Работы неизвестного художника».

— Поразительное сходство! — проговорил Иртеньев, отошел к окну, приподнял штору, чтобы в зале стало светлее, вернулся к картине и долго стоял, переводя взор с меня на портрет и обратно. — И вы знаете, сейчас сходство стало еще яснее. Настасьюшка, иди сюда, ты только взгляни! Это феноменально!

А мне стало грустно. Ну хорошо, похожа. Но вот она участвовала в боях, слышала свист пуль над своей головой, скакала на коне, завоевала славу и бессмертие, а я...

За чаем Иртеньевы уговаривали меня пожить денек у них, отдохнуть от московских тревог. Ирина Михайловна должна была вернуться завтра к вечеру. Но мне и так было не по себе при мысли, что я оставила в Москве своих пионеров. Как они там без меня перенесут ночную тревогу! Я объяснила, что мне надо скорей возвращаться в Москву, рассказала о наших делах на крыше. Иртеньев слушал меня, уже не перебивая.

— А? Настасьюшка! Слышишь? Ах, молодцы, какие молодцы! Это тебе не мой кегельбан, понимаешь? На крыше. Руками. Под огнем... Симочка, вы героиня... Одну минуту...

Он поспешно встал, вышел в другую комнату.

— Дочка, вы действительно героиня, — проговорила Анастасия Илларионовна и поцеловала меня в лоб. — Но вы больше не рассказывайте Вячеславу Андреевичу, это его расстраивает. Вы знаете, как он переживает, что стал уже стар и не может идти на фронт! Ну куда же, в самом деле, ему!.. А все хорохорится...

Возвратился Иртеньев. Он торжественно подошел ко мне. В руке у него была маленькая шкатулочка, обитая потертым лазоревым бархатом. Он открыл застёжку, и я увидела внутри белую медаль, покоившуюся на голубой подушке.

— Это что?

— Это одна из медалей, которую получил мой прадед. Дарю ее вам. Что? Гм! Хо-хо! А? Ну, прошу не ломаться! — Он толкнул меня локтем. — А? Гм! Как потомок защитника Москвы, от имени славного предка на память. Берегите Москву...

Он выпрямился во весь свой исполинский рост, щелкнул каблуками и вложил мне в руку шкатулку.

За лесом, на близком шлюзе, у водохранилища, коротко взвыла сирена. И сейчас же в той стороне, где была Москва, заплескали в синевом небе частые звездочки зенитных разрывов.

— Вячеслав... — нерешительно начала Анастасия Илларионовна, спокойно собирая посуду со стола. — Может быть, пойдешь в укрытие?

Чувствовалось, что она говорит это больше по привычке и сама не думает, будто действительно Иртеньев послушает ее.

— Милочка, Настасьюшка, — сказал Иртеньев, — будь разнообразнее — ведь каждый вечер одно и то же. Ты же отлично знаешь, что весь этот бомбей меня лично, то есть в смысле личной опасности, абсолютно не волнует. Но вот тебе я рекомендовал бы спуститься в щель.

— Тебе тоже не мешало бы быть разнообразнее, — засмеялась Анастасия Илларионовна и подошла к мужу.

Он обнял ее своей большой рукой с длинными красивыми пальцами. Потом посмотрел на меня:

— Вот вас я бы, сударынька, пригласил проследовать, куда полагается по правилам ПВО. Во всяком случае, в Москву вам ехать уже нечего — из вокзала не выпустят. Ведь вы ж не на своем, так сказать, объекте. Извольте подчиняться общему распорядку. Что? Гм! Да! Хо-хо! А уж мы с Анастасией Илларионовной давно решили... Мы вместе. Нам уж глупо расставаться... Верно, Настенька?

И, низко наклонившись, он поцеловал пухлую руку Анастасии Илларионовны, а она задержала его руку.

Но, конечно, я не спустилась в укрытие, вырытое под деревьями в старом парке, хотя Иртеньев убеждал меня, что там все оборудовано чрезвычайно комфортабельно.

Далеко над Москвой небо вздрагивало от малиновых сполохов. Ветер доносил оттуда еле слышное погромыхивание. Над Москвой шел воздушный бой. Москва защищалась. И сердце мое рвалось от тревоги. Я чувствовала себя отступницей. Как я могла хотя бы на одну ночь бросить город и моих пионеров!..

Потом наступило затишье. Отбоя еще не дали. Где-то, очевидно, гуляли в небе немецкие самолеты, и защитники столицы были настороже.

Уже привыкшая к тревогам, уставшая за день от хлопот, Анастасия Илларионовна пошла спать. А мы с Иртеньевым еще немножко посидели, а потом он сказал:

— Ну вы идите спать, Симочка. Вам уже постелено. Идите, вам надо отдохнуть, а я тут посижу подежурю. Доброй ночи!

Рано утром я уехала в Москву. Тяжелое беспокойство томило меня. Как там Москва

пережила эту ночь без меня? Люди у билетной кассы на станции говорили, что налет в эту ночь был особенно жесток. На перроне станции я увидела Жмырева и поспешила в вагон подошедшего поезда. Жмырев тащил два молочных бидона и внимательно оглядывал поезд, кого-то выискивая. Увидев меня в окне вагона, он сейчас же побежал садиться. Через минуту, разместив бидоны на полке, он уже пристроился возле меня на вагонной скамье. Он сидел боком, повернувшись ко мне, заведя вперед одно плечо и накинув на него пиджак. По мясистому его лицу разливалось выражение неподдельного удовольствия.

— А я, понимаешь, вчера ваших этих халдеев в Москве на вокзале видел. Они мне и говорят, что ты тут, в Кореванове, осталась, а завтра утром приедешь Ну, думаю, дай провожу. Второй уже поезд караулю. Ну, как вы там без меня на крыше справляетесь?

— Без тебя! — сказала я насмешливо. — Скажи пожалуйста, защитник! Чересчур ты, Жмырев, много хвастаешь: «Я! Меня! Мне! Без меня!»

— А кто вам зажигалку с крыши сбросил? Кто? Обязан я был? А видала, как действовал?

— Да, ты любишь перед людьми показаться.

— Ну, это зависит — перед какими людьми. Может быть, не перед всеми, а перед некоторыми только. — Жмырев посмотрел на меня, подмигнул, сбил свою кепочку на затылок и придвинулся поближе. — Симочка, почему ты такая гордая? Никогда со мной гулять не пойдешь. Я с вашего двора всех девушек в кино уже водил. А ты ни в какую. Ведь это даже некрасиво получается — такой уж чересчур очень гордой быть. Сейчас должны быть все вместе, как говорится — сплоченность. Газеты читаешь?

— Ой, Жмырев, ты бы уж лучше не агитировал! Уж кто бы, да не ты! Так это у тебя получается, что слушать тошно.

— С какой это стати агитировать?.. Ты и так у нас ученая.

Он придвинулся еще ближе, отгородил меня от всех пиджаком, свисавшим с плеча. Я молча встала и отсела от него на противоположную скамью. Он пожал плечами, подхватил сползший пиджак.

— Выходит, гордишься? — проговорил он.

Я молчала, глядя в окно вагона, за которым уже проносились пригороды Москвы. Над ними висел еще не расплзшийся дым. В окно пахло гарью. Значит, опять были пожары этой ночью в Москве. Опять немец жег наши дома. Скорей бы уж приехать, узнать, что там было этой ночью!

— Слушай, Сима... — услышала я над самым ухом и оглянулась. Жмырев уже сидел на моей скамье, заискивающе улыбаясь. — Ты напрасно, Симочка, меня за такого считаешь. Я ведь к тебе с открытой душой. Честное даю слово. А ты ко мне все без доверия. А стала бы с доверием, так я бы тебе многое порассказал. Ты своим халдеям-то не особо доверяйся. Это, знаешь, народ такой...

— Я без тебя знаю, какой народ. Тебе и не снилось быть таким, Жмырев.

— О-о! А я, возможно, такие сны и видеть не желаю. У меня, может быть, сны совсем про другое, про некоторых таких чересчур гордых, что и людям не доверяют... Зря, зря ты, Симочка, так... А то, может быть, сходим сегодня на круг потанцевать? Ваши все девушки собираются. Айда! Хватит тебе со своими халдеями!

Я повернулась к Жмыреву:

— Слушай, Жмырев, брось ты эти намеки! Если знаешь что-нибудь, так скажи, а нет — так молчи.

— У-у, мало ли что я знаю! Я, может быть, такое знаю, чего вы друг про друга не знаете. Может быть, я знаю, кто на ваш остров наведывался.

— Василий, если ты знаешь, ты обязан сказать!

— Чем это я обязан и кому? Я вам присяги не давал. Пойдем сегодня потанцуем, может быть, чего-нибудь и скажу. А сейчас настроения у меня нет.

— Брось ты, Жмырев, попусту заманивать! Я не маленькая. Ничего ты не знаешь. Я уж вижу.

— Ну, коли видишь, так чего спрашиваешь?

И Жмырев полез на скамью, чтобы достать с верхней полки бидоны. В вагоне стало темно — поезд вошел под перекрытие вокзала. В окна ворвался гулкий шум перрона.

Глава 12

Прямое попадание

С волнением подбегала я к своему дому. Бледные, невыспавшиеся люди попадались навстречу.

Но вот я увидела из-за деревьев знакомую крышу. Все было на месте. Все было целехонько. Отца я дома не застала, он уже ушел на работу, а мама еще спала после тревожной ночи. Не успела я вернуться домой, как набежали мои пионеры. С ними опять вышло приключение. Они вчера не успели вернуться с вокзала домой. Тревога настигла их на Комсомольской площади и загнала в метро. Там они и провели ночь. А дома родители опять волновались и бранили меня. Я тоже чувствовала себя неловко: не надо было их отправлять домой одних, без себя. Ребята наперебой рассказывали свои переживания, что бомба сбила памятник Тимирязеву, но профессор уже снова стоит на своем месте: памятник сейчас же, еще на рассвете, восстановили. Игорек уже успел наведаться туда.

Неугомонный мальчишка! Как он только везде поспевал? Он вытащил из кармана пригоршню рваных, колючих огрызков металла и стал объяснять:

— Вот, Сима, смотри, это от фугаски. А вот это — прицельная трубка от снаряда. А это вот — от морской зенитки.

Когда-то он собирал коллекцию автомобильных марок, которые вырезал из всех журналов. Теперь он коллекционировал осколки бомб и зенитных снарядов. К каждому осколку была привязана ниткой картоночка и на ней обозначена дата находки.

Мне хотелось чем-то вознаградить моих пионеров за вчерашнее, и я решила взять их с собой к Ирине Михайловне. Пионеры давно уже просились туда. Им хотелось посмотреть квартиру, вещи, книги Расщепея. Когда-то я об этом сговорила с Ириной Михайловной, но потом уже было не до этого...

Иртеньев сказал мне, что Ирина Михайловна вернется из маскировочной студии к себе на Кудринскую часам к двум. Я позвонила из автомата, но никто не отвечал. Должно быть, Ариша ушла за покупками. И мы поехали. Ребята надели чистые рубашки, парадные шелковые галстуки. Я предвкушала, как буду показывать им комнаты Расщепея, его вещи, альбомы, картины. Все это было мне так дорого и знакомо. И я очень соскучилась по Ирине Михайловне, которую не видела с весны.

Мы ехали в прицепном вагоне трамвая. Прицеп мотало в разные стороны, заносило на поворотах, и пассажиры сонно качались вместе с вагоном. Какие бледные, невыспавшиеся лица были у людей! Один пассажир, в белой толстовке, уже немолодой, обеими руками повиснув на кожаном поручне, дремал, уткнув подбородок в сгиб локтя. Клевали носом сидевшие у окон женщины, держа на коленях кошелки. Кто уронил голову на грудь, кто упирался виском в раму окна. Видно было, что Москва не выпалась в эту ночь.

Трамвай остановился на площади Дзержинского и долго не шел дальше. Мы высовывались из окон. Путь впереди был свободен. Вожатый на моторном вагоне несколько раз уже трогал ногой звонок. А наша кондукторша почему-то не давала отправления. И, взглянув на нее, я увидела, что она спит. Молоденькая, с пухлым, по-детски полуоткрытым ртом, она спала стоя, откинув голову в угол вагона, осев на ножку приподнятого сиденья. Такое истомленное, бледное лицо было у нее, что совестно было ее будить. Видно, не одну ночь пришлось ей бодрствовать. И тогда я подтянулась на носках, достала веревку кондукторского звонка и дернула. И вагон пошел.

— Это что же за дело? — спросила толстая женщина, сидевшая у окна. — Самоуправство?! Это если каждый будет дергать, так люди без ног останутся... Кондуктор, вы чего глядите?

— Тсс, она спит! — нечаянно вырвалось у меня.

Тут уж проснулись все, кто спал, кроме самой кондукторши.

— Уморилась, — сочувственно говорили женщины.

— Ну конечно! Ведь у них как получается?.. Застанет тревога, так в вагоне до утра и сиди. Совсем народ замучился.

И все уже сочувствовали мне, а не толстой женщине. А я, окончательно осмелев, тихо сказала:

— Граждане, надо платить за билеты. А то ведь ей попадет, если контролер явится.

— Удивительное дело! — проворчала толстуха. — Обязательно им надо не в свое дело вязаться!

— Может быть, это не ваше дело, — вдруг вмешался Игорек, — зато наше. Вы вот, наверно, сами без билета едете. Надо хоть на гривенник совесть иметь, гражданка, — закончил он поучительно.

— Да как же ты, дрянь такая, можешь мне это говорить! — окончательно вскипела толстуха. — Да я раньше тебя еще билет взяла! Вы скажите, какой дерзкий!

Но мои пионеры уже организовали передачу денег, и я, попросив какого-то майора, который сидел против кондукторши, быть наблюдателем, осторожно, чтобы не разбудить кондукторшу, отрывала от рулончика на ее ремне билеты, давала сдачу, дергала на остановках за веревку звонка и даже называла остановку: «Площадь Свердлова. Следующая — улица Герцена...» Ребятам моим это безумно понравилось. Они были в полном восторге, что хозяйничают в трамвае и при этом выполняют еще «оборонно-тыловое задание», как мне объяснил Игорек.

К стыду своему, я знала не все названия остановок. Но мне очень удачно подсказывал Игорек. Удивительно, откуда мальчишка знал так хорошо Москву? Когда мы ехали через центр, он давал объяснения нашим пионерам не хуже экскурсовода. Только и слышалось:

— Вот тут раньше Китай-город был. Такая стена... Нет, жили не китайцы, а купцы всякие. А это, ребята, смотри, дьяк Федоров стоит на памятнике. Из союза первопечатников — самые первые книжки сам печатал... А это уже «Метрополь». Там кино. А вот сейчас направо будет Большой театр. Знаменитый во всем мире. Вот. А это Малый. А вон там Центральный детский. Я там с папой был до войны, на «Буратино — Золотой ключик». Интересное... А сейчас смотри — Кремль налево будет. Вон Красной площади кусочек отсюда видно, стань на мое место! А там, длинный такой, — это Манеж. А с другого бока — «Москва», гостиница. Самая большая. А на площади, гляди, ребята, дома всякие нарисованы, прямо на земле. Это чтобы сверху так казалось. Маскировка!

Пассажиры приоткрывали слипавшиеся глаза и любовно поглядывали через окна.

И вагон наш с усталыми, невыспавшимися людьми шел по военной Москве мимо витрин, заделанных фанерой, мимо мешков с песком, серебристых аэростатов, дремавших на бульваре, мимо памятника Тимирязеву, опять восстановленного на своем месте.

Глядя на Игорька, я вспомнила мой сегодняшний разговор в вагоне со Жмыревым и решила вечером как следует потолковать с глазу на глаз с Игорем.

Но тут наш трамвай уже выехал на бывшую Кудринскую площадь, ныне площадь Восстания, и вдруг резко затормозил. Все в вагоне съехало со своего места. Пассажиры сильно и разом качнулись вперед, и кондукторша проснулась. Она сейчас же схватилась за свою сумку, растерянно огляделась, затем, чтобы скрыть свою оторопь, протерла ладонью глаза, выглянула в окно, не соображая, куда она заехала.

— Ну, вот и выспались немножко, — густым басом сказал майор. — Можете быть спокойны: все в порядке, все с билетами, за вас тут пионеры потрудились. Вот, поблагодарите их.

Но мы уже выходили из вагона, не доехав до остановки, где нам надо было слезать. Оказалось, что трамвай чуть не врезался в пожарную машину, переезжавшую через рельсы. Она неожиданно выскочила из-за угла.

— С ночи потушить не могут, — услышала я.

И вдруг страшная мысль прожгла меня. А что, если... Я перебежала через площадь, глянула вдоль знакомой широкой улицы. Что такое? Да нет, мы не там сошли. Это не то. Я вглядывалась, не узнавая знакомого места. Большого дома, где жил Расщепей, не было... Там стояла толпа. Милиционеры просили отойти от каната, который поддерживали стойки, ограждавшие место взрыва. Еще поднимался дым над развалинами и грудями битого кирпича. Суетились пожарные в толстых брезентовых, коробом стоявших костюмах и военных касках.

Я еще не верила своим глазам. Мне все казалось, что я что-то перепутала. Вот дом № 21. А следующий? Следующий — 25. Да, одного дома не хватало. Дома № 23, того самого, где когда-то жил Расщепей.

Какая страшная сила вывернула эти стальные балки, выворотила их вместе с толщей кирпича и бетона и швырнула далеко в сторону! Как злобно скручено было железо!

Игорек, работая локтями и плечами, пробивался вперед сквозь толпу, и я шла за ним. Вот мы подошли к самому канату. Дом словно разняли на части. Всего переднего фасада не было, он обвалился, и видны были этажи, разноцветные обои вскрытых комнат.

И я вскрикнула, увидев там, наверху, косо висящую на погнутом железном крюке знакомую мне люстру в виде корабля-каравеллы. Неузнаваема отсюда была комната с раскромсанной стеной, похожая на плохую декорацию. Но все же я узнала. Это была столовая Расщепей. А там, где когда-то был кабинет Александра Дмитриевича, зияла черная и корявая дыра. Вокруг нас говорили:

— Не меньше как пятьсот килограммов.

— Что вы хотите! Прямое попадание. Видели, как наворотило?

— А жертвы есть?

— Как не быть! Есть.

У меня пресеклось дыхание. У меня не было сил спросить.

— Кто в укрытии был, те живы остались. Только вход завалило — пожарные тут же откопали. А вот кто наверху был, тем, конечно, конец. Тут, между прочим, Расщепей жил, артист — ну вот который Ленина в кино играл. Сам-то он давно уже помер, еще перед войной. А вот жена с дачи приехала... Когда карету прислали, так уж мертвая была...

.....

— ...Не надо, Симочка, что ты... Ну чего ты, брось! — услышала я над своим ухом перепуганный шепот Игорька и увидела, что сию прямо на асфальте, а надо мной склонились мои пионеры.

— Ничего, ребята, я сейчас...

Я поднялась. На меня вокруг смотрели с любопытством. И вдруг я увидела у каната ограждения Аришу, работницу Расщепей. Я кинулась к ней. И я не узнала тихую, краснощекую, добродушную тетю Аришу, с ее толстым блестящим носом, к которому обычно сбегались добрые морщинки, как цыплята к клушке.

Растрепанная, с платком, съехавшим на затылок, она стояла у каната, держа в руках маленький узелок, с которым, должно быть, ходила в метро ночевать.

— Видала, Сима, что он с нами творит? — сказала она шепотом, который был слышен еще издали. — Видала, что делается? Ох, попался бы он мне, я бы ему, Гитлеру, муку дала, я бы ему казнь выдумала!.. Симочка! — закричала она вдруг так, что все вздрогнули. — Ты только гляди, что он с нами творит! А Ирина-то Михайловна, голубушка, кровиночка моя... Ведь какая беда, Симочка, беда какая! Говорила я ей, чтобы хоть в подъезд спустилась, да разве послушается! Упрямая была. А уж как бомба эта ударила, так осколком ее вот сюда... Откопали потом, да куда уж тут.

Долго причитала Ариша, рассказывая мне ужасные подробности того, что произошло этой ночью. Я плохо слышала. Мне все не верилось, а тетя Ариша показывала мне полуобгорелую, изодранную записную книжку, которую она держала в руке. Я сразу узнала этот маленький кожаный блокнот с вытисненными на нем инициалами «А. Р.» и кружком со стрелочкой. В этот блокнот записывал Расщепей свои замечания во время съемок.

— Вот только и осталось. А другое — все пропало. Ведь сила какая! От рояли-то все жилки вон куда — на крышу закинуло...

Я посмотрела в ту сторону, куда указывала Ариша. С карниза высокого дома свисала большая прядь рояльных струн, и ветер легонько позванивал ими.

Я взяла у Ариши блокнот Расщепя, изодранный, полуобугленный. Долго мы стояли с пионерами у каната, ограждавшего место этой страшной беды, которая стряслась опять в моей жизни. Столько собиралась я сказать Ирине Михайловне, так нужно мне было посоветоваться с ней, строгой, великодушной, ближе всех знавшей Александра Дмитриевича! Но война прямым попаданием немецкой бомбы отняла у меня и это.

Глава 13 Идет война

«Идет война народная, священная война!» — пело по утрам радио. С этого начинался день. Густые, суровые мужские голоса пели каждое утро в черной воронке репродуктора: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет война народная, священная война...» А потом передавали сводку Советского Информбюро. В самую больную точку сердца вонзались эти сводки. Взят был Смоленск, пал Киев. И тяжело было глядеть на карту. По этой самой карте я еще недавно сдавала географию СССР. Когда никого не было в комнате, я мерила циркулем расстояния. Сперва от границы до Москвы, потом от Минска до нас. Смоленск был как раз посередине, а теперь посередине между немцами и Москвой оставалась Вязьма. И такая тревога и за Москву, и за маму с папой, и за моих ребят — за всех нас точила тогда душу, что во рту появлялся какой-то противный медный привкус, и я не могла есть, огорчая отца.

— Ты, Симочка, наоборот, подкрепляйся. Пересиль себя... Еще что впереди терпеть придется — сейчас трудно сказать. Ты кушай, кушай, пока имеется.

— Что же это будет, Андрюша, что с нами со всеми будет? — причитала мать. — Вон Бурмиловы уже Таточку в Казань отвезли. В тридцать четвертой квартире тоже все эвакуировались. Может быть, и нам Симочку послать к Георгию, пока не поздно?

— Никуда я не поеду, мама. По-моему, ясно было сказано.

Как я могла уехать, как я могла оставить пионеров своих и Москву, которую полюбила теперь так, как никогда не любила! Да я и дня не смогу прожить без нее, если буду знать, что ей грозит опасность.

А от Амеда давно уже не было писем. В последнем, которое шло очень долго, он сообщал, что находится в кавалерийской части на формировании и ждет назначения. Может быть, он уже на фронте?..

Когда мне становилось совсем тоскливо и страшно, я доставала завернутый в платок обгорелый блокнот Расщепя. Я его и на крышу брала, и в укрытие носила во время тревоги, если не была дежурной. Это было все, что мне теперь осталось от Расщепя.

В книжечке сохранилось несколько страниц, и я в десятый раз перечитывала их, так что скоро знала все записи Расщепя наизусть. Особенно запомнилась мне сделанная Расщепеем выписка из дневника Льва Николаевича Толстого: «Храбрость есть такое состояние души, при котором силы душевные действуют одинаково, при каких бы то ни было обстоятельствах. Или напряжение деятельности, лишаящее сознания опасности. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга, и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания. Пример 1-ой. Человек, добровольно жертвующий собой для спасения отечества или лица...»

Дальше страничка обгорела, и неизвестно было, записал ли Расщепей пример того, что Толстой называл физической храбростью. Я долго думала над этой записью. Вот когда я на крыше — это, наверно, все-таки моральная храбрость. Ну хорошо, а Жмырев, когда кинулся,

чтобы показать себя людям, на зажигалку? Это что — тоже моральная храбрость? Нет, это он сделал ради выгоды — значит, для себя, для своей персоны. Ну, тогда это уже, пожалуй что, и физическая...

Много было там еще уцелевших наполовину заметок.

Сохранились такие:

«Паскаль где-то сказал: мы не живем — мы ждем и надеемся».

Тут же другим карандашом размашисто, как будто сердито было написано рукой Расщепея:

«Славная позиция, нечего сказать! А мы не ждем, мы действуем; не надеемся — а знаем. Действовать, бороться, искать, добывать — разве это не жизнь! Жизнь — это поиск...»

Дальше опять страница обгорела.

Нашла я в книжечке слова, которые много раз слышала от Александра Дмитриевича:

«Тезисы для выступления у пионеров.

Главное, что мы должны воспитать в людях, — это бережное, почти влюбленное отношение к внутреннему достоинству человека. Человеческое достоинство — вот главное. Остальное приложится. Капиталист не уважает человека. Он кладет его личность под пресс, выжимая все соки. Если бы уважал, не эксплуатировал бы. Революция — это борьба за человеческое достоинство всего народа. Фашисты — себялюбивые ненавистники человечества...»

Я показала эти заметки Ромке Каштану. И мы с ним долго толковали о храбрости, о человеческом достоинстве. Ромка тоже стал как-то серьезнее. Правда, явившись ко мне после большого перерыва, он тотчас же начал дурачиться:

— Ну, как живешь, Сима? Как эти твои лунатики, халдеи и телескопы поживают? У меня для них есть великолепные детские стихи, как раз для вашего пионерского возраста. Так сказать, переработка довоенного Михалкова на военный лад. Вот слушай: «А у нас упал фугас. Это раз. А у нас — противогаз. Это два-с. А у нас наша мама собирается...» Кстати, Татка Бурмилова уже с мамашей отбыли в энском направлении. А ты еще не собираешься?

Потом он сел, снял пилотку, сложил ее и хлопнул по колену:

— Нет, шутки шутками, а ты, Сима, подумай. Тем более, что тебе есть куда. А? — Он вопросительно посмотрел на меня. И я опять почувствовала, что щеки у меня начинают краснеть. — Нет, правда. У тебя брат в Ашхабаде. Он вас там всех устроит. Чего тебе зря тут подвергать себя опасности?

— А что же ты сам себя подвергаешь?

— Ну что ты равняешь!.. Ну ладно, ладно! Сейчас мне будет прочитана, чувствую, лекция о женском равноправии. Не хочу спорить. Я к тебе не спорить зашел, а проститься. Нас с ребятами посылают на укрепления. Куда-то не очень близко. Хотя... далеко сейчас уже ехать некуда.

Мы долго сидели с ним. Вот тут я ему показала книжечку Расщепея; заметки Александра Дмитриевича произвели на Ромку сильное впечатление.

— Сима, можно мне списать вот насчет храбрости? — спросил он.

И тщательно переписал к себе в карманную книжечку толстовское определение храбрости.

— Здорово! — сказал он мечтательно. — «Одинаково действовать при любых обстоятельствах». Верно! Это и есть храбрость. Понимаешь, Сима: значит, человек поступает так, как он решил сам, не под влиянием обстоятельств. Здорово! Ей-богу, здорово! Классически здорово! «Напряжение деятельности». Лихо сказано! Я это всем ребятам покажу.

Потом он встал, вздохнул. Расправил пилотку, опять положил ее.

— Ну, Крупицына, прощай. Говорить ничего не буду, а то еще чего-нибудь сострою — обозлишься на прощанье. А я этого не хочу. Скажу только одно: *будь!*..

— Что будь? Кем будь? — не поняла я.

— Вообще *будь*. Я хочу, чтобы ты была на свете. Ведь знаешь, Сима... многие не *будут*.

Таким я еще Ромку никогда не видела.

— Быть — это мало, — сказала я. — Надо быть такой, как надо. Быть всякий может. Даже Жмырев. Это нехитрое дело.

— Ты только *будь*, — повторил тихо Ромка, — слышишь, Сима, *будь*! Я этого очень хочу. А плохой ты не будешь, я тебя знаю. Ведь ты не только Сима, ты еще Устя. Двойная нагрузка... Я ведь тебя немножко знаю. Знаешь, я из всех наших девчонок только тебе по-настоящему верю. Честное слово. Я прямо-таки убежден: если что, так ты лучше решишь совсем не быть, чем быть такой, какой стыдно быть. Так вот, Сима, *будь* !

— Ну, и ты, Рома, *будь* !

— Как-нибудь, — сказал он.

Оба мы невесело засмеялись. Ромка надел пилотку, браво откозырял мне:

— Папахен с мамахен — мой привет, и всей прочей фисгармонии.

Это, очевидно, относилось к настройщику.

И Ромка ушел. А мне стало еще грустнее. Мне захотелось вернуть Ромку и сказать ему что-нибудь очень хорошее. Но с ним было трудно говорить, он все любил обращать в шутку. Бедные наши мальчишки! Тяжело им там придется, на укреплениях! И, наверно, опасно там. Я вспоминала теплое, забавное Ромкино прощанье: «*Будь!*» «*Будь, Ромка, будь!*» — сказала я про себя. Как хочется, чтобы все были! А по радио пели: «Идет война народная...» И за окном видны были в вечернем небе десятки, а может быть, и сотни уже поднятых аэростатов заграждения.

А война шла на нас. Все больше людей в военной форме появлялось на улицах. Разъезжали маленькие, смешные, кургузенькие машины — «газики». Особенно много их было в Охотном ряду, у гостиницы «Москва». Фронтовики соскакивали на ходу с машин. На них были пыльные шинели или выгоревшие гимнастерки с зелеными, защитными нашивками. Они шумно здоровались друг с другом. И я жадно приглядывалась к этим людям. Они приехали прямо *оттуда*. Может быть, еще несколько часов назад они были в бою, в них стреляли, и они своими глазами видели перед собой врага... Сводки становились все огорчительнее. И каждый раз мне казалось, что мир делается все теснее. Пространство, в котором мне и всем, кто мне был дорог, можно было жить, сужалось. Особенно я чувствовала это, когда проходила мимо вокзалов. Названия их напоминали мне о том, что захватил у нас враг. Вот Киевский вокзал с часами на высокой прямоугольной башне. Киевский... А с него уже нельзя сейчас ехать в Киев. Ленинградский... А путь в Ленинград перерезан. Белорусский. А Белоруссия почти вся под немцами. Вокзалы выглядели так, словно им подсекли жилы, обрубили корни, по которым их питали жизнью пространства нашей Родины. И хотя они еще действовали, жили, мне чудилось, что они — как сухостойные деревья. И мне казалось, будто вокзалам неловко, что от них, гордо носящих названия дальних городов и краев страны, уходят теперь только пригородные поезда или поезда на ближние расстояния.

Глава 14 Чтобы сберечь заветное

Приехал капитан Малинин — отец Игоря. У него была командировка на два дня в Москву. Он пришел к нам с сынишкой и долго сидел за чаем, угощая нас консервами из своего пайка. Отец жадно расспрашивал обо всех фронтовых делах:

— Ну как там, тяжело? Дело-то подвигается все-таки?

— Да подвигается, Андрей Семенович, пока что не в ту сторону, куда бы хотелось, — смущенно усмехнулся капитан Малинин. — Полагаю, что так некоторое время еще будет. Пока что, видите, жмет нас он. Но я убежден, что это не долго будет. Наша армия, придет час, нанесет встречный удар. Конечно, трудно предвидеть, когда это будет. У нас армию

берегут, зря ее под удар не ставят. Но уж когда ударим, так покатаются!

— Вот я именно про то и говорю все время! — обрадовался отец. — А вот тут приходится слышать всякие разговоры. Я вот слепой на девяносто два процента, а дальше их вижу. Хотя, конечно, нам из тыла судить трудно...

— Ну, знаете, какой, к лешему, это тыл! — проговорил капитан. — Эх, товарищи родные, вы даже не представляете себе, как мы там, на фронте, каждую весточку о Москве ловим! Открытым ртом ловим, как воздух. Честное слово! Эх, если бы вы знали только, как там человек за Москву сердцем горит! Все, что угодно, кажется, вытерпишь там, на фронте, лишь бы стояла по-прежнему Москва!

Игорь, сидевший за другим концом стола и пивший из блюдечка, стоявшего на столе, чай, поднял на отца загоревшиеся глаза. Так он и слушал, положив подбородок на стол, выпятив губы, не отрываясь ими от блюдечка, а глазами — от отца.

— И какая молодчина Москва наша! — с нежностью повторял капитан. — Обложились песочными мешками, заделала окна, а сама живет, как подобает. Здорово! И народ хорошо держится. Я хожу, в лица людям заглядываю, в глаза смотрю. Хорошие глаза! Уверенные. Хотя и видно, что спать мало приходится.

В это время близко за окном завывала сирена воздушной тревоги.

— Это еще что? — поразился капитан.

— Нормальная тревога, — сказал Игорь, пожимая плечами, довольный тем, что отец-фронтовик не знает таких простых московских порядков. Он быстро допил чай, налив остаток чая из стакана в блюдечко, с шумом и хлюпом втянул все, поставил стакан на место и вскочил:

— Спасибо! Я пошел...

— Ты куда? — сказал капитан. Он тоже встал, надел пилотку и нерешительно оглядывался.

— Странный вопрос! — сказал Игорь. — На крышу.

За окном приближались, становясь все громче и громче, выстрелы зениток. Мама, не очень спеша, собирала посуду, привычно накрывала газетами еду. Капитан растерянно оглядывал нас. Я тоже надела сумку противогаза и пошла к дверям.

— Гм, шут ее совсем возьми, эту тревогу! — пробормотал капитан, прислушиваясь к грохоту зениток. — Однако звучно это у вас делается! Я этой музыки в Москве еще не слышал. У нас как-то там скромнее получается... Фу ты! Ужасно глупое положение! На фронте у себя я знаю, где мне быть по сигналу «воздух», а тут приказано нам, если тревога застает в городе: иди в укрытие. Вот, ей-богу, незадача! Ну что делать... Игорь, веди меня... где у вас тут убежище...

— Тут внизу, папа, только мне некогда...

— То есть как же это? Я пойду в подвал, а ты на крышу, что ли?

— Раз уж такой приказ, то иди.

У капитана Малинина было такое несчастное лицо, что я сказала Игорю:

— Игорь, если ты так уважаешь приказы, то вот тебе мой по отряду: сейчас же возьми отца и спускайся вниз в убежище. И не смей совать сегодня нос на крышу. Ясно?

Утром капитан опять пришел к нам с Игорем. Он нарочно послал Игоря за папиросами, чтобы поговорить со мной наедине.

— Ну как, Симочка, мой Игушка тут? От Стеши этой толку мало. Только и знает, что жалуется на Игоря: сладу, мол, нет, не слушается, по ночам на крышу лазает. Ну, а что с ним можно сделать? Я бы на его месте тоже в подвале не сидел, скажу вам откровенно. Но знаете что: кажется мне или правда это, что какая-то есть у него, по-моему, царапинка в душе. Вы знаете, в чем дело?

— Да он, наверно, на фронт хочет к вам.

— Это особый разговор. Тут как будто я его уже уломал. Вы сами посудите, куда я его возьму? Что за ерунда!

— Товарищ капитан... — начала я нерешительно, — а туда никак нельзя?.. Ну, может

быть, санитаркой или связисткой?..

Капитан посмотрел на меня и расхохотался:

— Ну вот, добрый день, здравствуйте! Я к ней пришел за педагогическим советом, как к воспитательнице, а она туда же... благодарю покорно. Вы вот лучше мне скажите насчет того, что с Игорем происходит. Вы же вожатая! — сказал он с неожиданной требовательностью. — Вы должны знать своих пионеров, как я знаю своих бойцов. Каждого! Насквозь!

Я замялась:

— Да, право, не знаю... Мне иногда самой казалось, что не все у него на душе ладно.

— Странно, — задумчиво произнес капитан. — Парень он честный. Но черт его знает, куда его может фантазия закинуть! Воображение у него какое-то оголтелое. Я уж огорчать его и портить наше свидание не стану, а вы все-таки, товарищ Сима, как-нибудь с ним эдак легонько, тактично побеседуйте. Потом напишете мне. Полевую почту мою знаете? Ну вот и хорошо! Я понимаю, что вам сейчас не до этого. Как будто мелкое дело. Но сейчас нельзя и соринки в душе иметь...

Пришел Игорь, и мы втроем пошли прогуляться по Москве.

Мы прошли по берегу Москвы-реки — сперва под новым, Краснохолмским, потом под Устьинским мостом. В районе МОГЭСа река была закрыта маскировочной сеткой, на которую была выброшена зелень. А здание МОГЭСа было замаскировано совсем так, как на маленьком макете, который показал мне в Кореванове Иртеньев. Потом мы поднялись на Красную площадь. Мешки с песком и плотные деревянные чехлы закрывали Мавзолей Ленина. И капитан, насупившись, сказал вдруг тихо и задумчиво:

— Вот это правильно, Сима. Очень правильно, что Москву так бережем. Вот так надо все, что дорого — сердце и дружбу, — все надо так оберегать... Это ты тоже, Игорь, должен понять. Погоди, будет еще время, непременно будет! Раскидаем мы все эти мешки, доски разошьем, синие шторы к лешему сдерем! Но пока...

Жесткие складки прошли по его обветренному, загорелому лицу.

Потом капитан уехал, но я долго перебирала в памяти то, что он говорил мне и Игорю в тот день на Красной площади, у бережно укрытого Мавзолея Ленина. И мне было приятно, что фронтовик-командир говорил со мной, как со взрослой, совсем уже взрослой.

Я все время собиралась потолковать с Игорем, но он явно избегал меня; а когда я настаивала на разговоре, он дерзил или исчезал на целый день. Мне с ним приходилось все труднее и труднее.

А ребята разъезжались из Москвы. Из моей шестерки уехал Изя Крук. Его отец и два старших брата ушли на фронт, а мать с Изей и Соней вызвали к себе родственники в Астрахань. Уехал в Вологду мой одноклассник Миша Костылев, которого по болезни не взяли рыть укрепления. О Ромке не было ни слуху ни духу. Амед тоже не писал.

Поговаривали, что скоро будет организована из наших оставшихся школьников — детей работников Гидротреста — группа для отправки куда-то на Урал, в интернат. Меня тоже прочили туда. Но об этом и думать не хотелось.

Впервые мне об этом сказала Катя Ваточкина. Она зашла за мной в воскресенье 3 октября и предложила пойти с ней на концерт.

— Программа — красота! — сказала Катя, как всегда прибегая к самым сильным выражениям. — А настроение у меня — мрак! И вообще кругом какое-то сплошное безумие. И Мишка уехал... Надоело все жутко! Развлечься хочется — смерть! Пойдем, Симка! Еще Женя Степанова хочет идти, она там внизу ждет. А у нас целых два билета — более чем достаточно. Мы прошлый раз вшестером на два прошли.

Катя была права: два билета на троих было вполне достаточно. Когда мы проходили через контроль, Катя ловко провела за своей спиной Женю Степанову, торжественно предъявила контролерше билеты и сказала: «Вот, возьмите два. Раз и, — тыкая пальцем в себя и в меня, — два». И мы прошли.

В Большом зале Консерватории давали воскресный дневной концерт. В зале было

много военных — бойцы, командиры. Великие композиторы радушно глядели на них сверху из больших овальных портретов под высоким лепным потолком. Я только один раз в жизни была до этого в Консерватории. Как-то Расщепей взял нас на утренник, чтобы меня, как он пошутил, проняла настоящая музыка. Я тогда еще хорошо запомнила этот большой, белый и строгий зал с подсвечниками-бра в виде лиры на стенах, портретами композиторов и величественным органом в глубине эстрады. Трубы органа были похожи на газыри, которые носят на груди кавказские джигиты, на огромные серебряные газыри.

Мы сели втроем на два места в первом ярусе. На эстраду вышла девушка в темном костюме, с белым цветком в петлице и объявила, что сейчас будет исполнена Шестая, Патетическая симфония Чайковского. И Катя Ваточкина сказала, что это надувательство: когда ей давали в райкоме билеты, то обещали какой-то ансамбль песни и пляски и она, как дура, поверила, а теперь начнется пиленье... Катя заявила, что она сейчас же уйдет, но потом смиростивилась и осталась.

Оркестр занял свои места. Вышел дирижер. Странно было видеть перед военными, одетыми в защитные гимнастерки слушателями, человека в длинном фраке, со сверкающей белой грудью. Это сразу внесло какую-то торжественность. Зал затих, дирижер поднял тонкую палочку, которую держал щепотью, и, как спицей, осторожно проколол тишину. И я не знаю, когда началась симфония, но она началась — незаметно возникая из молчания, таинственно, как возникает мысль в сознании, и скоро разрослась, обрела крылья, кругами пошла к потолку, заполнила собой весь зал. А окна наверху были открыты, и мне казалось, что звуки выходят на улицу, плывут над Москвой.

Сколько горечи было в мучительных вопросах, с которыми взывали к нам инструменты оркестра — то скрипки, то флейты!.. Я ясно слышала, как они спрашивали: «Зачем же все?.. К чему же так?..» И мелодия еще никла и задыхалась, бессильная сразу решить это и найти нужный ответ. И с нежностью заговорили скрипки о чем-то таком дорогом, заповедном, что словами нельзя было бы и передать. Это была доверчивая музыка. Она доверяла мне и каждому из нас. И волшебник, придумавший ее, слышавший ее в своем сердце, прежде чем она зазвучала в мире, знал, что каждый из нас, слушая эту музыку, по-своему, так, как нам сейчас нужно, поймет, о чем говорят трубы, о чем вздыхают они и что повествуют скрипки.

Прогремела первая часть, и раздались бурные аплодисменты. Я посмотрела на Катю Ваточкину. Она сидела на половинке кресла, прижавшись к своей подруге. Сперва, когда началась симфония, она еще разглядывала двух летчиков в крайней ложе, но теперь глаза у нее были восторженные, покрасневшие.

— Ой, Симка, дивно-то как!.. Вот музыка — умереть мало!

А дирижер, нетерпеливо оглянувшись на зал, уже взмахнул палочкой, и началась вторая часть. Легкий, прозрачный, порхающий вальс обласкал наши сердца. Вспомнилось все самое заветное. Мы почувствовали себя снова совсем маленькими. И светило солнце, и ласточки, вторя движению смычков, носились над нами в голубом, нежном небе. А потом вдруг снова грянули требовательные трубы. Они звали оградить от врага и траву, и деревья, и голубое небо, и ласточек. И я увидела перед собой, как клубится черный дым и как сверкают в нем молнии штыков и я — в доломане, кивер набекрень — мчусь на горячем коне. Реют знамена, грохочет битва. В оркестре смычки взлетают над головами и свистят от виска вниз, словно сабли. И медногорлая победа трубит на весь мир, возвещая о своем приходе. Но тот, чью душу пели скрипки, с чьим детством сейчас мы сами были ровесниками, сражен в бою. И тихо — с каждым вздохом оркестра — уходит из него жизнь. Тишина на поле, где только что гремел бой. Мир очищен победой. А он умирает... И тихо рыдают, оплакивая его, скрипки. Вздох... Еще один, последний. И оборвалась тонкая нить, ушел со струн уже и без того неслышный последний аккорд...

И в эту минуту где-то высоко над крышей Консерватории взвыл истребитель. Его было хорошо слышно через раскрытые верхние окна. Густым своим рокотом, непостижимо попав в тон и тембр последней замершей ноте симфонии, самолет подхватил ее и вознес над Москвой в торжествующем, мажорном реве могучего мотора.

А зал откликнулся грохочущей овацией. Хлопали командиры, бойцы, хлопали люди в партере и на ярусах. Это была овация не только гению композитора и искусству музыкантов... Это была овация всему, что наш народ оберегал за толщей дотов, земляных укреплений, песочных мешков, овация тому свету, который мы прятали за синими шторами.

Дирижер обернулся бледным, счастливо-усталым лицом к залу. Он широко кланялся в разные стороны. Потом распростер руки и сделал движение ладонями вверх, как бы приподымая что-то и поднося присутствующим. И, все еще послушные ему, встали оркестранты — все разом — и низко поклонились залу. А овация все продолжалась. У людей на глазах блестели слезы, а они все хлопали и хлопали, потрясенные великим духом и гением народа, к которому мы сейчас все прикоснулись.

Появилась девушка, которая вела программу, и хотела что-то сказать — должно быть, объявить антракт перед вторым отделением. Но тут, осторожно пробираясь в тесноте между инструментами, на край эстрады вышел командир с двумя «шпалами» на петлицах. Он был в походном обмундировании, на поясе у него висела стальная каска. Под глазами темнела дорожная пыль.

— Товарищи! — сказал он осевшим, но властным голосом. — Внимание! Слушать мою команду! Первая и четвертая роты — через левые двери, вторая рота — через центральный проход прямо, третья — через правые. По машинам — марш!

И через минуту зал почти опустел. Осталось совсем немного народу, одетого в штатское платье, — кое-где в ложах да на нашем ярусе. И сразу стало как-то очень жутко и пустынно.

Мы тоже не стали ждать второго отделения и вышли из Консерватории на улицу Герцена. Мимо нас проехали тягачи, везя за собой зенитки в сторону Никитских ворот. Там они сворачивали к Арбату. Туда же, к западному краю Москвы, быстро проехала колонна грузовиков, заполненных бойцами. Все были в касках, с автоматами, которыми опирались на край борта машины. Какой-то высокий прохожий, глядя им вслед, негромко сказал своему спутнику в железнодорожной фуражке:

— Видал, и зенитки сняли с ПВО, гонят на Можай — на полевые позиции. Я тебе говорил, а ты не верил. Прорыв под Орлом. На Москву идут...

Глава 15 Пути-дороги

Разве забудешь когда-нибудь расставание с городом?

Уже третий день идет наш поезд, увозя нас подальше от Москвы, а я все не могу прийти в себя.

Как быстро все это произошло! Еще за день до этого мы ничего не знали. А потом суматошные сборы, ночная погрузка на Казанском вокзале, в кромешной тьме. Хорошо еще, что тревоги не было. И переполненный, забитый пассажирами, ребятами, вещами вагон, слабо освещенный коптилкой — одной на весь проход. Свисающие с верхних полок ноги в сапогах, в валенках, детских ботинках, тапочках. Детский плач и голоса, уставшие от волнения: «Женька! Ну где ты, Женька?..», «Мама, дай, прошу, сюда рюкзак...», «Товарищи, вы не видели там синий узел с меткой?..»

И прощание с отчаянно плакавшей мамой, и отец, весь обмякший, хотя и старавшийся держаться молодцом: «Ничего, Симочка, ничего, дочка. Ты за Москву не думай. Москва стояла и стоять будет. Ты себя побереги. Для сбереженья твоего тебя усылаем».

А до этого противная встреча в подъезде нашего двора с Васькой Жмыревым, который, как на грех, явился как раз в тот день. И так было тошно, а тут еще он подошел со своей подмосковной, «сортировочной» походочкой вразвалочку, как гуляют по перрону дачных станций.

— Спасаетесь? Бя-яжите? Эх вы, лопухи...

Он поднял руку, отставил большой палец, приложил его к шее и помахал нам согнутой

ладонью возле уха.

В самое больное место попал Васька. Правда, в райкоме, когда я получала назначение сопровождать ребят в эвакуацию, меня долго вразумляли, втолковывали, что это совсем не бегство и ничего общего с ним не имеет. Просто Москва, на которую теперь нацелился враг, должна быть свободна от всего, что может помешать обороне, что может только обременить воюющий город. И наш отъезд так же необходим, как затемнение — ведь от этого света в доме не меньше. Отъезд наш — это разумная осторожность. Все это было так, все это я отлично и сама понимала. А все-таки горько было до слез...

Когда мы влезли в поезд, казалось, что ехать в такой тесноте невозможно: негде было не только лечь, но и ногу поставить. Я стала в проходе между поднятыми полками, держась за их углы, сберегая маленькое пространство, отвоеванное для моих ребят там, сзади, за моей спиной. Причудливые тени от коптилки махали на меня черными крыльями, как вороны.

И ребята мои сидели, тесно прижавшись друг к другу, непривычно молчаливые, подавленные. Мальчиков остригли наголо. Девочек тоже изрядно обкорнали. И вид у пионеров был какой-то сиротский.

Уже давно ушли из вагона, кое-как протискавшись в узком проходе, наши мамы, уже в соседнем купе шуршали бумагой, закусывали, пили чай, а мои пионеры по-прежнему сидели рядышком, серьезные, тихие, поглядывая на свисавшие с верхней полки чужие ноги перед их носами. И только когда почти незаметно тронулся поезд, дрогнул, качнулся, заходил пол под ногами, Игорь сказал:

— А нам паровоз «ФД» дали. Самый сильный! Потому что у нас состав перегруженный.

Но даже Витя-Скорпион на этот раз не возразил Игорю, и все продолжали молчать.

Москва, большой мой город Москва!.. Если бы ты знала, как трудно было отрываться от тебя пятерым маленьким пионерам и не очень старой их вожатой! Если бы ты знала, как хотелось этой вожатой зареветь, закричать истошным голосом и выскочить из вагона на черный перрон, на каменный край московской земли, с которой мы только что ступили на подножку вагона! Но я вспомнила капитана Малинина и его слова: «Сберегите мне Игоря. И Москву сберегите...» Москву придется сберегать уже не мне, а другим, более сильным и нужным, которых город не счел лишними в бою. А Игоря я помогу сберечь.

Я приподняла краешек шторы на вагонном окне, чтобы в последний раз посмотреть на Москву. Но Москва скрылась в темноте военной ночи, и только одинокий прожектор вдруг выбросил к небу свой прямой, белесый, качающийся стебель и пал к горизонту, словно земно поклонился нам на прощание.

Надо было возвращаться к делам: распределять вещи, укладывать моих пионеров, размещаться. Старшей по вагону была Анна Семеновна, наша завуч из школы. А мне, Кате Ваточкиной и еще двум старшеклассникам было поручено следить каждой за своей группой школьников. Когда поезд уже пошел, кончилась предотъездная неразбериха, оказалось, что всё в вагоне стало и легло на свои места и мест хватило всем. Игорь выбрал, конечно, себе самую верхнюю полку и уже лежал там, свесив голову вниз и время от времени шелкал по макушке Дёму, устроившегося вместе с Витей Минаевым на второй полке. Нижнюю полку заняли мы с Галей. Тут, конечно, не обошлось без обид, потому что Люда сейчас же заревновала, почему я выбрала Галю, а не ее. Дело уладилось после того, как я обещала пускать к себе на полку обеих по очереди.

...А потом, через день, налет у большой станции. Весь поезд трянуло. Игорь чуть не свалился сверху. У нас на столике раскололся графин. Страшные крики доносились снаружи. Я велела ребятам сидеть на месте и прикрикнула на Игоря, чтобы он последил за этим. А мы с Анной Семеновной побежали узнать, в чем дело. Пусть ничьи человеческие глаза никогда больше не увидят того, что увидела я, когда подбежала к голове нашего состава! Один вагон горел, и из него — из окон, с подножек — выпрыгивали обожженные люди, вытаскивая узлы и чемоданы. А соседний пассажирский вагон похож был на те ржавые, продавленные и помятые игрушечные вагончики, которые обычно валяются в каждом доме, где есть ребята,

под кроватью, когда подаренная железная дорога уже надоела, из рельсов уже сделали ограду для кукольного палисадника, а паровозом колотили орехи... Но не игрушечный, а большой, настоящий вагон, весь погнутый и страшным образом изуродованный, боком осел на путях. Сквозь расколотые доски высовывались клочья материи. И мимо меня два железнодорожника понесли на белом одеяле маленькую бледную девочку.

Сквозь одеяло просочилась кровь и капала, капала, оставляя непрерывную дорожку. Бомба немецкого самолета попала в вагон, где ехали такие же, как мы, эвакуированные люди, с такими же, как мои пионеры, детьми...

Мне стало так страшно за своих, что я опрометью бросилась к нашему вагону. Ребята вскочили, уставившись на меня встревоженными глазами:

— Что там, Симочка, а? Почему мы стоим?

— Какая ты вся белая, Симочка...

Я успокоила ребят, объяснив, что бомба попала в поезд, стоявший перед нами.

— В товарный поезд, — сказала я.

— А большая фугаска? — спросил Игорек деловито.

— Двести пятьдесят.

— Солидно, — сказал Игорь.

— А по-моему, это пятисотка была, — возразил Дёма.

— А по-моему, даже не двести пятьдесят, — засомневался, как всегда, Витя Минаев. — Если бы двести пятьдесят было, так знаешь, как бы нас тряхнуло!

И завязался спор о бомбе, и каждый проявил себя настоящим специалистом по этой части. А я рада была, что ребята отвлеклись, не пристают ко мне с расспросами и не подозревают, что через четыре вагона от нас стряслось то ужасное, что я видела сейчас своими глазами и чего лучше бы люди никогда в своей жизни не видели.

И вот уже третий день идет наш поезд. Осенний дождь хлещет по вагонным окнам, мокнет на полях собранный в копны, но не вывезенный хлеб.

Четвертый, пятый день идет наш поезд. Едем мы тихо — больше стоим на станциях. Пути забиты составами. На целые версты вытянулись платформы, теплушки, вагоны. И на них стоят прямо под открытым небом машины, станки, груды лежит заводское оборудование. Дождь льет. С металла стекает вода. А на вагонах написано: «Киев», «Харьков», «Краматорская».

Идет великое переселение заводов.

Через неделю проводница говорит:

— Сегодня можете уже не затемняться.

— Почему, почему? — спрашивают ребята со всех полок. — Что, война кончилась?

Какая надежда звучит в их голосах!

— Нет, деточки, — говорит проводница, — воевать нам — еще конца-краю нет. А вот отъехали мы уже от войны далеко. Сюда не залетит. Крылышки у него, вредного, не дотянут.

Значит, мы уже так далеко от Москвы, что сюда и немецкий ворон не занесет своих бомб. Как огромна страна наша!

А поезд все идет и идет, увозя нас от затемненной Москвы. И по вечерам мы видим освещенные окна домов и станционные фонари. Как они могут зажигать свет, когда Москва моя сейчас в темноте!

Опять и опять стоим мы на станциях, полустанках, разъездах. Нас обгоняют длинные составы с большим красным крестом в белом круге, нарисованном на всех вагонах. И пока поезд, замедлив ход, проходит мимо нашего состава, мы видим там, за проплывающими окнами, молочный свет ламп, никелевые поручни, хирургический блеск инструментов, бледные лица, обескровленные губы, большие глаза, забинтованные головы, свисающие с верхних полок культяпки, костыли... Идут, обгоняя нас, санитарные поезда. Раненых увозят в тыл. Они уже сделали свое дело на фронте. Они едут на лечение. А зачем еду я? Что я успела сделать?..

На одном полустанке, где нас держали часа два, мы вышли погулять с ребятами. Денек

выдался хороший, и ребята радовались возможности побегать, покувыркаться. И вдруг Игорь — он всегда видел все первым — подбежал ко мне:

— Смотри, Симочка, смотри! Метро!

И я увидела небольшой состав, сцепленный действительно из вагонов московского метро. Нарядные, кремовые и ярко-зеленые, вагончики выглядели очень странно и слишком щегольски среди товарных составов, забивших станцию. Мне казалось, что зеркальные окна у них должны сейчас зажмуриться от непривычного света — ведь они привыкли быть под землей. Вид у вагонов был какой-то зазябший, голый, и потащил их по путям небольшой товарный паровозишко. Потом мы видели на другой станции нашу московскую электричку. Мы сразу узнали ее, да и на вагонах было написано: «Москва. Яр.» (Ярославского вокзала, верно). Мы тогда еще не знали, что вагоны метро и подмосковной электрички мобилизованы для эвакуируемых женщин и детей, чтобы быстрее разгрузить Москву. И ребята мои радовались, видя в знакомых вагонах частичку своего города.

— Наша Москва везде! — сказал Игорь.

— Только лучше, чтобы мы сами были не везде, а в Москве, — резонно возразил Витя.

А на одной большой станции я встретила на перроне чистильщика обуви, который обычно сидел у нас на Таганке. Сколько раз он заливал мне галоши! Я сразу узнала его — такой усатый, синещекий, нос крючком. И надпись на дощечке: «Москоопремонт». А это было уже больше чем за тысячу километров от Москвы. Я кинулась к нему, и он тоже узнал меня.

— Здравствуй, баришна, — приветствовал он меня. — Куда направление имеешь? Ставь ножку, баришна, будем левая туфля чинить. Совсем подметка никуда. А ходить нынче много надо. Куда едешь?

Я ему рассказала, куда мы едем. Да тут еще подбежали мои пионеры.

— Здравствуй, Шадор!.. Ребята, смотри, Шадор с нашей улицы, чистим-блистим! С Таганки! Едем с нами, Шадор!

Но Шадор отвечал:

— Никак нельзя, мальчики-девочки. Мы сюда эвакуировались. Все мое семейство. А сейчас на Москву войска идут, командир сойдет — где сапоги почистить? Где чистим-блистим? Сейчас ко мне идет.

И верно сказал Шадор. Шли войска, спешили войска к Москве. Когда мы стояли на разъездах, мимо нас, даже не достаивая станцийку минутной стоянкой или хотя бы приторможением, пронеслись огромные встречные эшелоны. На платформах стояло что-то длинное, большое, аккуратно закрытое зеленым брезентом. Сквозь раскрытые двери теплушек видны были бойцы. Сотни, а может быть, тысячи. С грохотом пронеслись они через станцию. Это бывало так: набегающий и все делающийся выше рев гудка, грохот, пыль, обрывок солдатской песни в хоре уже хорошо спевшихся голосов, лица, гимнастерки, лошади, орудия в чехлах, запах кожи, дыма, ветер вдогонку — и пропал весь поезд за поворотом. Только у последнего вагона вид был всегда такой запыхавшийся, словно он очень торопился и все боялся, бедняга, как бы его не оставили одного тут, в поле.

Глава 16 Попутчики

Уже десять дней идет наш поезд. Пойдет час, другой, и опять стоим мы целый день на какой-нибудь станции. А кругом составы, эшелоны, цистерны.

Сколько людей сейчас едет! Мне кажется, весь мир снялся со своего места. Весь мир находится в пути. Все сместилось, перепуталось. И мы где-то затерялись: на бесчисленных путях, среди вагонов, теплушек, станков.

Постепенно мы все вжились в этот путевой,двигающийся на колесах мир. Мы привыкли к нашему вагону, в котором уже столько времени спали, ели, сидели, разговаривали.

Игорь тоже давно уже обжился в вагоне. Но он все время *едет*.

Он все время в пути. Выпросив у проводницы расписание, он отмечает, какие станции мы проехали, подсчитывает, сколько километров за сутки сделал наш поезд.

На стоянках он лазает со смазчиками под вагон и вылезает чумазый и очень довольный, что ему дали подержать минуточку ведро или мазилку. Скоро он знает все, что касается нашего вагона, семафоров, сигнализации, паровозов, сцепок... Он уже выяснил, что вагон у нас называется «пульмановским», автосцепки нет, тормоза системы Казанцева, а были Вестингауза. Если дернуть за красную ручку тормоза, то станет весь поезд, и за это штраф: был в мирное время — сто рублей, а сейчас — тысяча, да еще заберут. Он всегда знает, какой системы паровоз к нам прицеплен, хороший ли машинист нас везет. А поглядывая в окна на проносящиеся встречные эшелоны, с непререкаемой уверенностью сообщает:

— Танки поехали — КВ. Самые крепкие из всех. А это — провезли самолеты-пикировщики; сзади два киля на хвост...

На одной станции я подхожу к длинному составу. На платформах, бережно укрытые мешковиной, стоят красивые станки, и какой-то длинноусый великан возится у одного из них. Он что-то подкручивает, поправляет и так увлечен своим делом, что я долго стою возле этой платформы, не замеченная им.

Потом он отрывается от дела, вытирает веретьем замасленные руки.

— Ну що, дочка? — обращается он ко мне. — Бачишь, яка у меня машина гарненькая? Ось! Сам ее собирал, сам разбирал и теперь обратно у новом месте зараз соберу.

Он любовно оглядывает станок и заботливо укутывает его мешковиной.

— Чья така, дочка? Виткиля? — спрашивает он меня.

— Из Москвы. Нас эвакуировали.

— А что же ты такая — вся зажурилась?

— А чего же радоваться? Эвакуировали...

— Тю, эвакуировали!.. А ты это слово забудь. Ты себе кажи так, як я соби казав: це нас не эвакуируют, це нас перебрасывают на други участки фронта. Чуешь, дочка? Ты кто сама будешь? Учишься?

— Учусь в школе. Я в девятый перешла.

— У, яка грамотненька! В девятом, а журишься. С кем едешь?

— Я тут с пионерами еду. Сопровождаю. Вон состав стоит.

— От бачишь, це добре! Це, значит, ты командир. И мы с тобой, дочка, що сейчас делаем? Мы с тобой, доченька московская, действуем по приказу главного командования — на военную хитрость. Дурни воны, немцы. Они як гадали? От мы на Донбасс придем, усю большевистскую индустрию схпаем. Ну, пришли. Доки што пришли... А индустрия уся утекла. Вот она, наша индустрия, на колесах. Вот тоби и индустрия. Дуля с маком тоби, Гитлер! Та мы с нашим народом ще в пути усе оборудование зараз отремонтировали. Як придем, так с того же дня тим дурням, немцам, нашу закуску готовить станем. Чуешь, дочка? То-то вот и оно! Командование усе знает. И вот, бачу я, идут дитячьи эшелоны с Москвы. Ясно, дома-то краше, як на колесах. Но ведь що Гитлер, катюга, паразит, думал?.. Я по всем ихним местам, кажет, вдарю, вот у них и пойдет шебарша, а дети неученые станут. А командование говорит: нет, нехай дети учатся. Це тоже научный фронт. Вот вас и перебрасывают. А ты кажешь — эвакуировали! Да журишься! Не годится.

Он весело и ласково посмотрел на меня:

— Хлиба вам на дорогу дали?.. Добре! И приварок дают?.. Ну що ж ты журишься, дочка? Будешь ще и дома жить. Лишь бы с глузду, як у нас кажут, с ума не съихать. Вот это уже дурное дило. Вот Гитлер с ума съихал, обратно уже николи не повернется... Некуда.

И он ловко перескочил на другую платформу. Оттуда скоро послышался стук гаечного ключа, на который весь металл станка отзывался глухим звоном.

А я побежала к своим «перебрасываемым», потому что к нашему долго стоявшему составу наконец дали паровоз.

На следующей станции Игорь, выходявший посмотреть на улицу, примчался к нам в

совершенном раже.

— Сима! — проговорил он, с трудом отдышавшись. — Там... слон... Честное даю слово...

Все начали смеяться над ним, но Игорь давал честное пионерское, честное гвардейское и, наконец, честное слово СССР. Тут уж все поверили. Накинули пальто и побежали за Игорем. Нам долго пришлось лазить под вагонами. Мы два раза возвращались обратно, потому что Игорь уже забыл место, где он видел слона. Но наконец мы увидели на одном из дальних путей большой четырехосный товарный вагон с разобранной и надстроенной крышей. Дверца была отодвинута, и в сумраке вагона за толстой решеткой из тавровых стальных балок мы увидели что-то огромное, серое, все в обвисших, морщинистых складках, медленно качающееся, как аэростат, опадающий на площадке ПВО. Несомненно, это был живой слон. Это показалось столь удивительным, что ребята долгое время не решались даже спросить маленького, очень бородатого и толстого человека, который стоял у вагона. Наконец Игорь осмелился:

— Дядя, это что у вас там едет, слон?

— Это? — И бородатый человек, надев очки, внимательно и долго вглядывался через дверку вагона. А потом очень серьезно посмотрел на Игоря. — Это? Нет. Крокодил.

— Как, то есть, крокодил? — возмущился Игорь. — Что, я не знаю, какие крокодилы! — Игорь чувствовал явный подвох, но не знал, как выбраться из создавшегося положения.

— А я разве не знал, какие пионеры? — ухмыльнулся бородач. — Я думал, что пионеры тоже не такие, чтобы задавать ненужные вопросы, когда и без того все ясно.

Ребята осторожненько хихикнули. За стальной решеткой медленно заворочалась гора асфальтового цвета, и между балками высунулся толстый, длинный хобот.

Потом хобот изогнулся кверху, качнулся в обе стороны, пошевелил отростком, похожим на огромную бородавку, и испустил оглушительный, громкий рев. Пионеры мои даже отступили на шаг. И где-то, на десятом пути, словно откликнулся паровоз.

— Джумбо, выражайся поделикатнее: тут дети, — негромко сказал бородач.

— Это африканский? — спросил Витя Минаев.

— Индийский, — отвечивал бородач.

— О, я его видела у нас в Зоопарке! — узнала вдруг слона Люда Сокольская. — Я смотрю — лицо у него знакомое. Помнишь, Галя? Он у меня еще тогда съел булку вместе с кошелкой.

— И потом его тошнило два часа, я ему давал промывательное! — сердито сказал бородач. — А ведь там, помнится, висит на ограде объявление, чтобы никаких предметов не совали...

— А я не совала! — заговорила торопливо Люда. — Булка же не предмет, а еда ему... Я ему протянула, а он цап кошелку вместе с булкой и — ам! А потом он мне обратно выплюнул, только жеваную всю...

Слон уперся широким лбом в просвет между балками и смотрел на нас маленькими, очень мирными утомленными глазами. И всем нам стало его жалко. Все-таки сложная жизнь и у этого слона. Ходил где-то в Индии. Потом его изловили. Привезли к нам. Жил он себе поживал в Зоопарке. А теперь гонят его куда-то, беднягу, на неизвестное место.

— А его что, тоже эвакуи... то есть перебросили на другой участок? — спросила я.

— Слонов у нас не так много, чтобы ими бросаться, — отвечал наставительно бородач. — Вот и решили временно перевезти его. Не знаю только, как он выдержит перемену климата. Он уже и так у меня простудился. Насморк, чихает.

— А его надо в жаркие края... Ну, например, в Туркмению, — сказала я и подумала: «Вот будет здорово, если его там Амед увидит!»

После этого я сразу прониклась к слону огромной нежностью.

Бородач разрешил нам покормить Джумбо. Пионеры побежали за хлебом, обещав мне взять не более кусочка, потому что с хлебом у нас в последние дни было туго и бедная Анна Семеновна с ног сбивалась на станциях, добывая нам продукты, засылая во все концы

следования нашего эшелона предупредительные телеграммы.

Я подошла к самому вагону. Смирный, огромный и печальный, поглядывал на меня сверху Джумбо. «Милый толстокожий носач, — хотелось сказать мне, да я бы и сказала, если бы рядом не стоял этот насмешливый бородач, — вот и тебя спасают. И тебя повезли невесть куда. А может быть, ты попадешь в Туркмению. Тогда, если увидишь Амеда, протруби ему салют от меня. Очень хорошо, что тебя увезли, а то ты слишком заметный объект... Вон по тебе можно ходить, как по крыше. И зря ты маскируешься под аэростат. Это еще хуже! Нет, очень хорошо, что тебя эвакуируют, или перебрасывают, — словом, спасают. Будь, Джумбо, будь! Слоны нам тоже нужны...» Если бы тут был Ромка, он, конечно, непременно сострил бы: «Нужны ли слоны при социализме?» — «Нужны, конечно, нужны», — тотчас же ответила я сама себе и дала слону яблоко, оказавшееся у меня в кармане. Слон вежливо и неслышно взял у меня с ладони своим огромным хоботом яблоко и бросил его в отвисший рот. Огромные уши его шевельнулись, словно грузовик распахнул дверцы кабины. И долго, благодарно топчась, мне кивал сверху ласковый круглобый московский слон.

Глава 17 «Золотой жилет»

После встречи со слонем, едва мы вернулись к себе, начались рассказы о животных, о дальних странах, о путешествиях. Настроение у всех улучшилось. До обеда не было ни одной ссоры. Но уже перед самым обедом случилось происшествие, которое в нашем налаженном дорожном мире все перевернуло вверх дном.

Началось это с того, что Галя Урванцева показала свой альбом с открытками «Виды Москвы». Все, притихнув, любовались знакомыми зданиями столицы, ее улицами. Игорь тут же придумал игру. По нижней полке разложили открытки, изображающие родные московские места. И надо было назвать, каким трамваем следует ехать, скажем, к Химкинскому речному вокзалу, или от Университета к Планетарию, или от Парка культуры и отдыха имени Горького на стадион «Динамо». Разрешалась пересадка на метро и троллейбус. Такси не брали в игру. И долго совершали воображаемые поездки по своему городу мои москвичи...

Чтобы не отстать от подруги, Люда Сокольская вытащила из чемодана собранный ею гербарий и коллекцию крымских камешков и ракушек. Театрал Дёма Стрижаков показал бережно хранимую на дне баула программу спектакля «Синяя птица» в Художественном театре. Витя Минаев продемонстрировал математические фокусы по книжке «Веселый час». Вообще все хвастались своими сокровищами, вывезенными из Москвы в эвакуацию. Дошла очередь до Игоря. Он показал сперва свою знаменитую коллекцию зенитных и бомбовых осколков. (Теперь я поняла, почему у него был такой тяжелый вещевой мешок.) Потом он открыл тетрадь, где были наклеены вырезанные им из разных журналов знаки и марки всех автомобилей мира. Все восхищались этой коллекцией. Тут были и наши советские и всевозможные «паккарды», «бьюики», «роллс-ройсы» «гудзоны», «ханомаги», «испано-сюизы».

Затем, чтобы окончательно сразить нас, Игорь вытащил свою самую заветную коллекцию. Он редко кому ее показывал. В большом альбоме в особых гнездышках сидели пестрые, разноцветные конвертики с безопасными бритвами. Игорь собирал их везде, где только мог. Тут были и «Красная звезда», и «Стандарт», и «Экстра», и «Интом», и немецкая бритва, привезенная отцом, капитаном Малининым, который знал страсть своего сына.

— А вот тут у меня, видишь, пакетик, синенький с золотом, — объяснял увлеченный Игорь. — Тут у меня самая лучшая бритва была. Я ее выменял на три марки: две норвежские, одна — Гваделупы. Называется «Золотой жилет». Это последняя модель...

— А ну вынь, покажи, — попросил Дёма.

— Да потерял я где-то. Куда девал, не помню. Искал, искал перед отъездом, да уж

некогда было, так и бросил. Вот только конвертик остался. А жаль, красивая была! Внутри золотая, по бокам черная, а в середине не три дырочки, а щелочка так прорезана фигурно...

— Вот такая? — громко сказал Витя Минаев и протянул руку. На ладони его лежало треснувшее, немножко заржавевшее, но еще сохранившее свои блеск лезвие, золотистое, с узенькой продольной фигурной прорезью. — Эта? — спросил Витя.

— Эта, эта! — обрадованно закричал Игорь. — Где ты нашел?

— Где нашел? — с особым выражением произнес Витя и оглядел нас всех. — Там нашел, где ты потерял. На острове нашел. У самого берега!.. Там нашел, где ты нашу лодку от причала отрезал...

Сперва Игорь покраснел, а потом кровь отхлынула от его щек, и он стал совсем белый. Тоненький, прямой, с поднятыми плечами, он вытянулся перед Виктором и смотрел на него огромными серыми глазами, полными негодования. Потом он сразу как-то обвис. Беспомощным взором потянулся он ко мне, и я невольно опустила глаза, чтобы не видеть этих растерянных, смятенных взоров из-под пушистых ресниц, на которых блеснула слеза. Что я могла сказать?

— Он, он, определенно он! — настаивал Витя. — Ведь твое лезвие? Да? Твое? — напирал он на Игоря. — Признаешь? Значит, ты!

— Честное вам даю пионерское, ребята, я...

— Ну, объясни нам, Малинин, — вмешалась я. — Ты что-нибудь знаешь, но не хочешь сказать? Скрываешь?

Игорь молчал, опустив голову. Слезы текли по его щекам. Но он еще силился скрыть их, удержаться и не заплакать.

— Я не знаю... — выдавил он, — ну, я не знаю... Сима... Ну честное же слово...

— Но ты был там, на берегу, ночью?

Последовало длительное молчание. Игорь всхлипнул:

— Ну, был... Только это вышло совсем...

— Сразу видно, что он! — закричали девочки.

— Ничего не видно! — возмутился Игорь. — А если уж хотите обязательно знать, так я вам могу сказать, что тогда лодку с острова я упустил...

Он остановился, сам перепуганный вырвавшимся словом. Но было уже поздно. И он сам понял это.

— Я ее ночью отвязал. Да! Я!

Ребята были так поражены, что только рты разинули.

— Зачем же ты это сделал, Малинин? — как можно спокойнее спросила я.

— Ну просто так... для интересу... Чтобы было такое приключение, как на необитаемом острове. Я же не знал, что в этот день война будет, что так получится... Я хотел лодку сперва спрятать за корягой, там, в заливчике, да упустил нечаянно. Стал развязывать, а на чалке там узел мокрый затянулся. Я его бритвочкой... А течение сразу и понесло. Хотел уже в воду лезть, а тут ты меня как раз позвала, Сима. Я уже не мог... А тут еще эти загадки пропали. И война началась. Просто мне не повезло. Но, честное слово, я бы раньше сознался, да тут война, как-то неловко было уже... честное слово!

— И столько времени молчал! — закричали девочки.

— И с рыбой попался, и с лодкой тогда эту ерунду затеял! — выговаривал Игорю негодующий Витя Минаев.

— Нет, с одной стороны, конечно, ребята, насчет лодки он ведь сказал сам, но, конечно, с другой стороны... — начал Дёма, готовясь, видно, произнести длинную речь.

Я остановила его:

— Погодите, погодите, ребята! Пусть Игорь хорошенько подумает сегодня над тем, что произошло у нас с ним... История с лодкой достаточно безобразна, Игорь. Сколько огорчений и волнений ты доставил родителям! Об этом ты подумал?

— А я ж нечаянно упустил совсем... — успел вставить словечко Игорь.

— Сейчас уж не перебивай лучше, Малинин... Предлагаю тебе серьезно подумать над

тем, что произошло, и сказать нам, как ты сам все это оцениваешь... И сможем ли мы тебе впредь доверять! А сейчас, ребята, берите котелки: через пять минут обед раздавать будут.

Весь этот день ребята бегали шушукаться в тамбур, с Игорем не разговаривали. Легли спать рано. Ночью мне не спалось. Поезд наш долго стоял на какой-то станции, потом пошел, гудя в темноте. Я все думала о нелепой истории с лодкой. Несколько раз я вставала ночью, подтягивалась на руках до верхней полки и смотрела в лицо спящему Игорю. Ему, бедняге, тоже, видно, плохо спалось. Он всхлипывал во сне, из-под длинных ресниц по чумазой, неотмытой щеке тянулся след просохших слез.

— Игорь... Игорек... — позвала я тихонько его, но он спал.

Я повернулась на своей полке, укрыла пальто спавшую рядом со мной Люду и вскоре заснула.

Я проснулась оттого, что кто-то трогал меня за плечо. Открыла глаза. Меня будил Дёма.

— Сима, — шепнул он и указал на бумажку, приколотую к оконной занавеске.

Протерев глаза, еще слипавшиеся от сна, я прочла:

«Сима, я уезжаю в Москву на подкрепление. Я давно так уж хотел, но старался быть выдержанным. Потому только ехал. Но раз мне нет больше доверия, то я все равно не могу. Счастливого пути дальше вам. Привет всем. Сима, не пиши папе, я напишу сам. Малинин Игорь».

Верхняя полка надо мной была пуста.

Глава 18 Все — за Москву!

Должно быть, он вылез тихонько из поезда под утро, когда я наконец забылась сном. С собой Игорь прихватил свой баульчик, валенки и зимнее пальто, а демисезонное оставил. На столе у вагонного окошка осталась коробка с общим сахаром-рафинадом, запас которого обычно сдавался Игорю на хранение как жителю верхней, самой недосягаемой, полки. От буханки хлеба, полученной нами вчера, была отрезана небольшая краюшка. Больше Игорь ничего не взял.

Бегство Игоря было для меня тяжелым ударом. Я совсем растерялась. Не сразу я решила сообщить обо всем Анне Семеновне. Она так и села, когда услышала:

— Что же это такое, Крупицына, как ты допустила!.. Ну вот, разве можно на тебя положиться? Ах, боже мой!.. Будет станция, я протелеграфирую по всей линии. И в школу надо сообщить... И, как назло, ребенок фронтовика...

Ребята мои были тоже потрясены исчезновением Игоря и готовы были уже обрушиться на Витю Минаева.

— Нашелся тоже прокурор! — возмущалась Люда.

— Настоящий скорпион! — поддержала ее Галя. — Лучше удовольствия не знает, как укусить кого-нибудь! А уж вопьется, так не отвяжешься. Ну что, дождался теперь?

— И, конечно, не он наши загадки украл. Теперь уж ясно, — поддакивала Галя.

Витя отмалчивался.

А глубокомысленный Дёма пытался примирить их:

— С одной стороны, отчасти Витька прав был, раз он там бритвочку нашел, но, с другой стороны, конечно, Игорь, видно, тоже не виноват. Хотя, с другой стороны...

А у меня самой совсем руки опустились. Как это я недосмотрела! Ах, Игорь, Игорь, несносный маленький Козерог, самый отчаянный из моих зодиаков!.. Он канул в этот тревожный, взбудораженный мир, через который мчался наш поезд. И где его там найти теперь?.. А капитан Малинин говорил при прощании: «Сберегите мне Игоря, Симочка». Вот тебе и уберегла!.. Да, видно, у меня еще нет никакого педагогического опыта.

До этого дня, когда меня опять начинало уж очень неудержимо тянуть в Москву, я старалась сама доказать себе, что должна ехать хотя бы ради Игоря; этим я выполняла наказ

командира Малинина. Капитан Малинин оставил мне на попечение своего сына, и вот я сопровождала его. А теперь... Мне сразу опостылел наш вагон и снова нелепо обидным стал казаться мой отъезд из военной Москвы.

Но поезд все шел и шел.

И надо было по-прежнему заниматься тем, что мне было пока положено делать: ходить на станциях вместе с Анной Семеновной за продуктами, дежурить по вагону, заваривать чай...

Поздно вечером, когда все дела кончились и ребята, взбудораженные бегством Игоря, наконец уgomонились, я подседа к Анне Семеновне. Она тоже совсем измучилась за этот несчастный день и уже укладывалась, раскатывая на нижней полке свою постель, свернутую на день.

— Анна Семеновна... — тихо начала я.

— Что скажешь, Крупицына? — устало отозвалась она, расправляя матрасик. — Привстань, Симочка, я постелюсь... Ты сама что не ложишься?

Я секунду молчала, набираясь духу, потом — эх, была не была!..

— Анна Семеновна, отпустите меня.

— Что? — не поняла она. — Куда тебя отпустить?

— В Москву назад отпустите...

Бедная Анна Семеновна, взбивавшая свою подушку в воздухе, застыла на минутку, повернулась ко мне, села, не выпуская подушки, и прижала ее к себе, скрестив на ней руки.

— Здравствуйте! Этого еще не хватало! Ты соображаешь, что говоришь? — Она обоими кулаками ожесточенно стиснула подушку.

— Анна Семеновна, милая!.. Нет, правда, вы только выслушайте меня, Анна Семеновна... Ведь мне капитан Малинин что говорил, когда уезжал? Чтоб я ему Игоря сберегла... Я ведь только из-за него и поехала. А теперь, спрашивается, куда я еду, для чего?.. Нет, постойте, погодите, вы послушайте, Анна Семеновна! Я же вам не так уж нужна... Вон с вами Катя Ваточкина едет и Евдокия Кузьминична, да плюс Коля Воробьев, и еще две вожатые, и Ксения Петровна. Вполне обойдетесь.

— Ну разве дело в том, что мы без тебя не обойдемся? Какие ты, Крупицына, пустяки и глупости говоришь — слушать странно! — Анна Семеновна даже подушку в угол швырнула. — Кто об этом думает! Ты вот лучше представь себе, как я себя буду чувствовать, если тебя отпущу. Хороша я буду, нечего сказать!.. Ну куда ты сейчас поедешь? Ты видишь, что делается... Что нас, на экскурсию из Москвы повезли? Ты все-таки уже взрослая девушка, и пора тебе понимать обстановку. Иди спи, отдыхай и не болтай ерунду.

Она взглянула на меня, и голос у нее помягчал:

— Я тебя очень хорошо понимаю, Сима. Поверь! Но надеюсь, что и ты меня поймешь... Особенно после сегодняшнего. Верно ведь, Сима? Ну, иди спать. Изнервничалась ты, бедная... Смотри, на кого похожа!

На другой день я вышла где-то на стоянке, чтобы набрать кипятку для ребят. Как раз в эту минуту на станции заговорило радио. Передавали вчерашнюю вечернюю сводку:

«В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону. Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, нанося ему тяжелые потери, но вынуждены были на этом участке отступить...»

Я почувствовала, что из-под моих ног, как доску, выдернули землю... Минуту мне казалось, что я качаюсь в пустоте, судорожно ища руками, за что можно ухватиться. Потом земля снова медленно утвердилась под моими подошвами. У меня так колотилось сердце, что я долго не могла сойти с места. Весть ошеломила меня. Как страшно звучало: «На Западном направлении... ухудшилось!» Значит, под Москвой плохо. Они прорвались. Ужасна была самая мысль, что город в опасности. А вдруг прорвутся в Москву? Нет, об этом нельзя даже думать! Ни разу на крыше не испытывала я такого колющего сердца страха,

какой испытала сейчас. Я невольно посмотрела в ту сторону станции, откуда мимо входной стрелки пришел наш поезд. Может быть, вон там, за тысячу километров отсюда, куда ведут эти рельсы, пути уже перерезаны? И я почувствовала, что уже не вернуться, уже поздно, нельзя... Мир стал еще уже, и кто знает, может быть, там остались и папа, и мама, и Ромка... Не знаю, сколько времени стояла я на перроне. Я очнулась, когда, обдав меня горячим паром, оттолкнув плотным воздухом, прогрохотал мимо эшелон. Я успела прочесть на красном полотнище, прибитом к стенкам вагона во всю длину:

«Москва — за всех! Все — за Москву!»

И пока стоял на этой станции наш поезд, прошли туда еще три эшелона. Могучие паровозы напористо тащили за собой огромные составы. Танки стояли на платформах, орудия. Это шла подмога Москве. И зеленые семафоры всех станций без очереди, ни минуты не задерживая, пропускали срочные маршруты. Мне казалось, что машинисты в этот день гнали свои паровозы быстрее, чем всегда. Они тоже спешили к Москве. А мне хотелось крикнуть им: «Скорее, скорее!.. Москва ждет вас. Спешите ей на подмогу!»

Чутьочку приободрившись, я побрела к себе в вагон.

— Симочка, ты бы легла совсем, а то у тебя вид не очень здоровый, — сказала Галя, — Это ты все из-за Игоря расстраиваешься?

У меня очень разболелась голова, и до следующей станции я не вставала с полки. А на станции нас опять надолго задержали, и я вышла, сказав ребятам, что хочу подышать свежим воздухом. На самом деле мне хотелось узнать, нет ли каких-нибудь новых сведений о Москве. Я ходила по перрону, заглядывала к дежурному, спрашивала всех, но никто ничего не знал. Я направилась обратно к нашему составу, но мне пришлось остановиться. По первому пути проходил на Москву большой военный поезд. Он остановился, паровоз погнал по холодной земле струи шипящего пара. Я стояла, вся укутанная белым, сырым облаком. И через это облако я расслышала голос, гортанный, певучий и такой знакомый, что у меня щеки закололо от разом нахлынувшей к лицу крови. Голос этот, мальчишеский еще и в то же время наделенный какой-то властью, раздавался совсем близко от меня, но проклятый паровоз напустил такого пару, что я никак не могла разглядеть. Я побежала на голос, невольно глотая мокрый, пахнувший баней пар, и натолкнулась прямо с разбегу на говорившего. Что-то загремело...

— Ой! — вскрикнула я. — Извините, пожалуйста.

И пар рассеялся. Передо мной стоял Амед. Я бы никогда не узнала его, если бы не слышала его голоса. Как он вырос! Он был совсем взрослый. На нем была длинная кавалерийская шинель, казацкая сабля. меховая шапка была сдвинута на затылок. А в ногах у него, обутых в хорошие, ладно сидящие сапоги со шпорами, валялось обыкновенное ведро, конское ведро. Оно и загрохотало, упав на землю, когда я набежала в облаке пара на Амеда. Он не сразу узнал меня.

— Амед, Амед! — говорила я. — Здравствуй, Амед! Узнаешь? Я это!

— Что такое, извиняюсь... — бормотал Амед, нагибаясь за оброненным ведром, но не отрывая от моего лица своего взора из-под косматой шапки.

И вдруг он узнал. Как взлетели его брови к вискам, как заблестели у него глаза! Какой веселый стал он весь!

— Сима?! Нет, серьезно, ты? Извиняюсь, честное слово. Что такое? Не узнал... Сима, здравствуй!

Он схватил мою руку, крепко пожал. Опять бросил ведро на землю и прикрыл мою ладонь другой рукой.

— Сима, — тихо повторил он, — ну скажи, пожалуйста, вот, называется, встреча, честное слово, что такое!.. Ты совсем большая сделалась, взрослая совсем. Ай, смотри какая... Сима! Куда едешь? Почему ничего не писала?

— Как не писала! Что ты, Амед! Да я тебе все время писала, а вот ты как раз...

— Зачем ты говоришь! Неправильно говоришь — я тебе сто раз, тысячу раз писал...

И так мы стояли, радостно смеясь в лицо друг другу, и говорили какие-то глупости о

том, кто кому сколько раз писал.

Потом мы с Амедом спохватились, что времени у нас, быть может, всего минута и сейчас мы снова разъедемся.

— Ты слышал, Амед, сегодня сводку?..

— Немного слышал.

— Плохо под Москвой, Амед!

— Будет хорошо, Сима! Видишь, сколько народу — все в Москву едут. Хорошо будет!

— И вас тоже туда послали?

— Обязательно туда! Видела, какие джигиты у нас? Особая такая кавалерийская часть генерала Павлихина. Не слышала еще? Скоро будешь слышать. Знаешь, какие у нас кони? Самые лучшие кони, нет таких нигде!

— А этот самый... твой, ну этот... Дюльдяль тоже едет?

— Обязательно едет! — Он выпрямился, щелкнул языком, присвистнул и крикнул гортанно: — Угэ-гэ! Дюльдяль!

И тотчас звонкое, залихватое ржание послышалось из большого вагона.

— Идем, покажу, — предложил Амед. — Честное слово, такой конь, царь никакой на таком не ездил...

Где-то на путях тренькнули буфера, заголосил паровоз. А вдруг это наш состав пошел?..

— Амед, погоди, — сказала я, — нам сейчас отправление могут дать.

— Что такое, честное слово, какое отправление?

Путаясь, в двух словах, как можно быстрее рассказала я Амеду о нашем эшелоне, о моих ребятах, о том, как тяжело мне было уезжать из Москвы, как страшно мне стало сегодня, когда я подумала, что туда уже нельзя вернуться.

— Почему нельзя? Что такое? — сказал Амед и наклонился вдруг ко мне. — Слушай, Сима, извиняюсь, правда, зачем нам ехать — один туда, другой сюда? Едем с нами! Я по нашей теплушке главный. Как «денгене» на вечеринке. Меня все слушают. Четыре коня у нас. Место будет. В чем дело, честное слово? Едем в Москву!

Минуту назад он мне казался еще совсем чужим, потому что очень изменился с тех пор, как мы расстались два года назад. А теперь, когда он наклонился близко, я снова разглядела его и увидела, что хотя он и вырос, стал шире в плечах и резче чертами лица, но все в нем осталось таким же. И застенчивые ресницы, под которыми мерцал веселый блеск черных глаз, и неподвижные у тесной переносицы, вздрагивающие у висков брови, и тонкий рот со сверкающими зубами, и высоко срезанные загорелые скулы. Ну конечно, это был тот самый Амед, с которым мы разглядывали Марс во время великого противостояния, и скакали на лошадях по пескам, и лазили в тростники Мургаба. Нашелся, нашелся Амед! И он ехал защищать Москву, мой город! И там, во фронтовой, верно, целиком занятой военными делами Москве, мыкался, может быть, Игорек, одинокий, бесприютный. А меня поезд увозил все дальше от Москвы...

«А что, если...»

Надо было решать мгновенно. И наш состав и воинский эшелон генерала Павлихина могли двинуться со станции каждую минуту... Я сама не знаю, откуда в такие минуты берутся и неслыханная дерзость и уверенность в себе, помогающие сразу решаться на самое трудное.

— Амед, — торопливо спросила я, и он понял, что я решилась, — Амед, ты только скажи: это можно? Не ссадят?

— Кто такое ссадит? — Амед положил руку на эфес шашки. — Кто смеет ссадить? Раз Амед Юсташ-Бергенов сказал: садись — всё! — Он оглянулся, добавил вполголоса: — Конечно, всем говорить, показывать не надо.

— Тогда стой здесь, я сейчас! — крикнула я уже на бегу, пролезла под вагонами, бросилась к своему составу.

Только бы успеть, чтобы поезд Амеды не ушел!

Я вбежала в свое купе, быстро собрала самые необходимые вещи и одеяло, наскоро свернула, завязала узлом, подхватила свой чемоданчик. Прежде чем укладывать зеркало, успела глянуть в него. Нечего сказать, вид... Я поправила волосы. Потом огляделась... В купе никого не было. Ребята стояли снаружи, у подножки вагона. Мне трудно было бы пройти мимо них не прощаясь, да они бы и заметили. А что я могла им сказать? Поэтому я соскочила на другую сторону пути, обежала наш состав, и только когда была уже далеко от своего вагона, крикнула: «Люда, Галя! Скажите Анне Семеновне, что я срочно уехала в Москву... Прощайте!» Они, кажется, не расслышали или, может быть, разобрали, да не поверили своим ушам.

А я уже нырнула под другой состав. Вот и эшелон с бойцами, конями, повозками генерала Павлихина. Я запомнила его по новеньким вагонам. Но до вагона Амеда было еще далеко, а в этот момент паровоз прогудел, дернул состав и двинулся. Роняя вещи, подбирая и запихивая их на ходу в узел, спотыкаясь, бежала я что есть силы, а поезд все ускорял и ускорял свой бег. Я догнала вагон, но не могла взобраться в него, и мне казалось, что все уже потеряно. Я стала отставать, как вдруг чьи-то руки сверху подхватили меня под мышки и втащили в высокий вагон.

Глава 19

Кони и джигиты

И сразу вокруг меня стало темно и спокойно.

— Салам! — сказал кто-то.

Я отдышалась и увидела, что стою в теплушке, Амед держит мой чемодан. А другой, высокий, в косматой шапке, пожилой, подбирает с полу мои рассыпавшиеся из узла вещи.

— Салам! Здравствуй, пожалуйста...

— Ай-ай, думал, не сядешь! — сказал Амед и засмеялся.

И вокруг нас и сверху все засмеялись, свешиваясь с нар. Тут только я стала как следует соображать, что же я наделала, как я могла на такое решиться...

За моей спиной топали по деревянному настилу вагона лошади, пахло конюшной — сеном и навозом. Висели торбы с бахромой. С вагонных нар смотрели на меня загорелые, скуластые джигиты. Но среди них были и два русских парня-кавалериста. И один из них крикнул:

— Что ж стоите, девушка! Занимайте место согласно взятому билету.

И Амед торопливо заговорил:

— Правда, что такое, честное слово, ты садись, пожалуйста, вот сюда. Это вот нара, весь уголок твой будет. Я уже всем сказал. Вот тут попону, чапан мы повесили. Видишь, получается чистая квартира.

— Каюта люкс! — крикнули сверху.

— Как же я так поеду? — растерянно бормотала я, оглядываясь. — Ой, что это я, Амед, такое наделала! И ребят бросила... Правда, там на мне только четверо оставались, с ними вполне Катя Ваточкина управится и Анна Семеновна... Все-таки мне, может быть, лучше слезть?..

— За вход и выход на ходу три рубля штраф! — прокричал сверху тот же веселый голос.

— Зачем себя так беспокоишь? — увещевал меня Амед. — Что такое? Напрасно совсем такое беспокойство. Доедешь совсем хорошо. Бойцы тебя смотри как уважают. Ты у нас гость. Чего боишься? Это раньше нас называли «Дикая дивизия» — текинцев так звали. Теперь другой разговор.

— Теперь разговор совсем получается другой, — поддержал Амеда высокий пожилой туркмен. — Текинец был — дикая дивизия, стал совсем культурный. Знаешь, как в нашей старой книге написано? «Так Джигады-бек говорит: гость твой всегда пусть будет сыт...» Садись, кушай, пожалуйста. Нам Амед сказал, ты Георгия, товарища Крупицына, сестра

будешь. Очень уважаемый человек. Ему Москва сказала: «Георгий-джан, веди воду». Товарищ Георгий ведет воду.

Мне отвели отдельный уголок, завешанный попонами и плащ-палатками, положили мне седло под голову, накрыли нары мягкой кошмой. Сперва я с опаской поглядывала на этих высоких, длиннобровых, скуластых бойцов. Некоторые из них почти не понимали по-русски; глаза у них были диковатые, но, когда они смотрели на меня, лица их будто веселели, смягчались. Я несколько раз слышала, как они называли имя моего брата Георгия. А Амед, счастливый, гордый, помог мне разложить мои вещи и, довольный, поглядывал на своих джигитов, почтительно и неспешно разговаривавших со мной. Только когда пожилой боец — его звали Курбан — вежливо спросил: «Эта девушка, Сима-гюль, будет твоей матери гелин?» — Амед смутился и что-то сердито и долго говорил ему по-туркменски. А Курбан смущенно качал головой и высоко разводил руками, виновато глядя на меня.

А потом мы ели, сидя на кошме, расстеленной на полу вагона. Меня угостили холодным пловом с бараниной, кашницей из растертой джугары, которая мне, правда, не очень понравилась. Пришлось мне попробовать также отвар бураков с кунжутным маслом. Зато кази, колбаса из конины, оказалась очень вкусной. Курбан очень жалел, что не может попотчевать меня чалом — туркменским напитком из верблюжьего молока. Но я уже один раз пробовала его и не очень жалела, что его не оказалось. А потом вынули из-под нар великолепную чарджуйскую дыню, и Курбан, ловко орудуя ножом, вскрыл ее, благоуханную, заполнившую сразу весь вагон своим ароматом. Казалось, что у нее самой потекли слюнки от собственной сладости. Курбан, как фокусник, с удивительной быстротой нарезал дыню на ломтики и первой, как гостье, дал с ножа мне.

Так я сидела на кошме вместе с туркменскими джигитами, которые ехали защищать Москву, и уплетала дыню.

— Нас Москва зовет, — объяснял мне Курбан. — Туркменские конники у генерала Павлихина очень хорошие джигиты. Большой поход ходили. Помнишь? Теперь народ говорит: немца надо гнать от Москвы. А, как написано в наших книгах, Джигалы-бек так говорил Кероглы: «Слушай, что говорит народ. Радуйся, что тебя он зовет».

— Ну, пропало дело твое, Сима! Совсем теперь замучает, — шепнул мне Амед. — Он у нас вроде бахши — у него стихов целая голова, полный рот.

— Георгий, товарищ Крупицын, твой брат, очень уважаемый человек, — продолжал Курбан. — Мы с ним имеем большое знакомство. Потому что знаешь, как написано в наших книгах: «Мудрый с мудрым воздухом дышит одним. Дуралей влеком к дуралеем всегда». — Курбан выразительно поглядел в сторону двух смешливых кавалеристов и степенно продолжал: — «День и ночь мы к любимым думы стремим... — Он посмотрел на Амеда и на меня и, сделав такое сладкое лицо, что я чуть не фыркнула, продолжал: — Вспоминаем, вздыхаем, томимся всегда...»

— Это наш великий Махтум-Кули так писал, — пояснил мне тихонько Амед.

— Верно сказал Амед, — подтвердил Курбан. — Молодой, а много знает. А еще знаешь, как Махтум-Кули сказал? «Сотни трусов дороже один смельчак: он защитит народ и отчий очаг...»

И долго еще пояснял мне Курбан, что пошли защищать Москву самые лучшие туркменские джигиты. И чодоры с восточного побережья Каспия, и иомуды с реки Гургена, и сарыки с Мургаба, и гоклены с Артека, и теке из Мервского оазиса, и древнейшие племена силоры, и ерсари...

А потом мне показывали коней. И лучший среди лучших был, конечно, Дюльдяль. Он был и вправду хорош — красавец! Широкая, массивная грудь, мускулистые ноги, а голова квадратная во лбу, с чуточку вогнутой переносицей. Он осторожно перебирал ногами и отставлял высоко поставленный хвост, серебристый, густой, как целый ворох ковыля. Весь он был словно точеный, продолговатый, легкий. Глаза у него были горячие и умные; под гладкой, темным золотом отливающей шерстью бегали живчики мускулов; все в нем так и ходило ходуном, все пружинило и играло, являя собой веселую силу и благородную статью.

— О Дюльдяль! — ласково говорил Амед, похлопывая Дюльдяля по длинной шее. (И конь, кося на меня крупный и яркий глаз, делал вид, что кусает Амеда, осторожно сжимая длинными зубами, видимыми из-под приподнятой подвижной губы, руку хозяина.) — О Дюльдяль, что такое? Зачем такие шутки?.. Смотри сюда, Сима, смотри, какие ноги! Сто верст в день может пройти. Целую неделю так может, каждый день. Самая лучшая порода. Слышала, были надежды — арабские лошади, лучше нет! Наши туркменские кони от них... Ой, Дюльдяль, я тебя... — Он бережно оглаживал шелковистую гнедую, с золотым отливом шерсть, а конь следил за хозяином веселым и понятливым глазом. — Знаешь, Сима, откуда так зовут «Дюльдяль»? Был такой богатырь Кероглы, сын Могилы. Конь у него был — Кыр-Ат, от Дюльдяля. А когда у меня стал этот конь, я назвал его Дюльдяль.

— Любит он тебя? — сказала я Амеду.

— Любит! — И Амед засиял от удовольствия. — Верный конь! А я ему верный хозяин. Друг друга любим... У, Дюльдяль, из-ге!..

И долго он еще осыпал Дюльдяля смешными, милыми, ласкательными именами. И говорил ему что-то — то по-русски, то по-туркменски, а конь терся своей длинной точеной головой о загорелую щеку Амеда. В конце концов мне даже наскучили эти нежности.

— Может быть, ты и со мной теперь поговоришь? — сказала я.

— Конечно, какой вопрос!.. — встрепенулся Амед. — Очень много, Сима, будем говорить. Надо то спросить, надо это. Сейчас, только одна минута, извиняюсь, — немножко Дюльдялю кушать дам.

И он пролез под перегородкой, отделявшей половину вагона, где стояли кони. Пока он там гремел ведром, возился и за что-то бранил Дюльдяля, со мной разговорился русский конник. Оказалось, что его звали Семеном Табашниковым. И он раньше был пограничником в Кушке, а потом работал в совхозе, где Амед был комсоргом. Он был такой загорелый, и в то же время белесый, что напоминал негатив фотографии. Лицо у него было совершенно черное, а глаза очень светлые, совсем голубые, и волосы выгорели добела. Выяснилось, что Амед, пока я бегала за вещами, успел уже все рассказать про меня.

— Это вы участвовали в кино «Мужик сердитый»? Амед давеча сказал, — любопытствовал Табашников. — Очень замечательная картина. Сильно вы свою роль исполняли. Я три раза ходил. Как вы там с Наполеоном-то... Эх, комедия! А сколько платят, если съемку делают?

— Ты что, Табашников, в артисты захотел? — спросили с верхней нары.

— А что? Свободное дело, — отвечал Табашников. — Меня уже один раз в кино сымали. Только даром. Когда в Кушке служил, там сымали из жизни пограничников. Только так я картины и не видал.

— Не получилось: лента от твоей рожи лопнула, — подтрунивали сверху.

А Курбан почтительно осведомлялся, кто мои уважаемые родители и здоровы ли они.

Потом все занялись уборкой лошадей, задали им корма на ночь. На улице быстро стемнело — ведь была уже осень, октябрь. Задвинули тяжелую вагонную дверь на роликах. Стала и я устраиваться на ночь в своем уголке. У меня там было очень уютно, за занавеской из попоны и двух плащ-палаток, которые отгораживали меня от остального пространства нар. По другую сторону этой завесы расположился Амед.

Поезд остановился на какой-то станции, и кто-то шел вдоль вагонов, стучал и строгим голосом спрашивал что-то по-туркменски и по-русски у каждого вагона. Постучал он и в наш.

— Табашников дневалит. Я! — отвечал мой новый знакомый.

Он сидел на седле, положенном на пол у двери вагона. Остальные скоро все заснули. Вагон мягко покачивался, успокаивающе перестукивались под полом колеса; сонно пофыркивали, громко хрумтели сеном, иногда переступали копытами, почесывались о перекладину кони. А я лежала в своем тесном уголке и думала о том, как все странно и неожиданно получилось. Совість понемножку отпустила меня.

«Нет, все-таки мне в жизни очень везет, — подумала я. — Вот я хотела попасть обратно

в Москву — и еду. Хотела повидать Амеда — встретила». Но всегда в жизни меня кто-то ведет за собой. Вот и сейчас... Где-то впереди машинист гонит свой паровоз, паровоз тащит вагоны. А в одном вагоне — я. И там, за плащ-палаткой, — мой друг Амед. А как было бы страшно остаться одной на той станции с путаными путями, с составами, которым конца-краю нет! Мне даже и сейчас стало страшновато. И я шепотом спросила:

— Амед... спишь?

За плащ-палаткой заворочался обрадованно Амед.

— Зачем спишь? Все думаю разное. Никак заснуть не могу, что такое!

— И ты думаешь?.. Ну давай тогда разговаривать.

— Давай разговаривать, — слышалось по ту сторону плащ-палатки.

— Ну, про что будем разговаривать?

(И мне тут же вспомнился Игорь: «Поговорим об серьезных вещах». Где он, мой мальчуган?)

— У-у, Сима, столько разговаривать надо! Одно спросить, другое...

— Ну, спрашивай, — сказала я шепотом.

Из моего уголка был виден то раздувающийся, то едва тлеющий, покачивающийся огонек. Это светилась сигарка дневального Табашникова, курившего в щель двери. Амед молчал. Мне показалось, что он заснул.

— Ты что там, спишь? — тихонько спросила я.

— Ну зачем спрашиваешь? — в голосе Амеда слышалась обида.

— А про что же ты хотел спросить меня? Помнишь, Амед, ты в письме писал, когда в Москву собирался, что хотел что-то спросить...

— Это будем в другой раз говорить, — сказал Амед, и я услышала, как он задвигался на своей наре. — Как войны уже не будет.

— А нехорошо, Амед, что я ребят бросила, а? Неладно это все... И попадет мне. Ты только не думай, пожалуйста, что я из-за тебя...

— Конечно. Кто думает! Я понимаю так: в Москву захотела. Отец там, мать там...

— Просто я считала, Амед, что все равно не могу без Москвы. А как ты думаешь, отобьют от Москвы? Не пустят?

— Ни за что, нет!.. Смотри, сколько народу — все за Москву.

— Я тоже почему-то уверена, что не пустят немцев в Москву. А все-таки страшно, Амед...

Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Потом Амед спросил:

— А как мы с тобой звезду Марс смотрели, помнишь?

— Планету, Амед, планету! Я же тебе объясняла.

— Пускай планету. Пускай звезду. Пускай солнце. Все равно... Сима, знаешь, как в одной книге у нас написано: «Мне мало одного солнца на небе...»

После этого мы опять надолго замолчали оба.

— Скорей бы в Москву приехать! — сказала я потом. — Непременно где-нибудь Игоря разыщу. Ты знаешь, Амед, как меня Игорь беспокоит!

Опять было долгое молчание. Я слышала, как Амед привстал и, должно быть, сказал в самую завесу, потому что я услышала голос очень близко:

— Сима, а этот... твой знакомый... Игорь, он тебе большой друг?

— Конечно, друг... Да нет, ты не то думаешь, Амед, он же в пятом классе. Это пионер мой.

Я слышала, как облегченно вздохнул Амед. Потом он неуверенно спросил:

— Сима, есть один такой еще вопрос: как здравствует-поживает твой уважаемый знакомый, товарищ Роман Каштан?

Тут я уже не удержалась — начала тихонько смеяться.

— Мой уважаемый знакомый, товарищ Каштан, здравствует-поживает очень хорошо. Он сейчас на укреплениях... Ой, Амед, ты ужасно до чего смешной! И я ужасно рада, что так хорошо получилось и мы встретились опять. Я очень тебя хотела видеть. А ты?

— Зачем спрашиваешь... Знаешь, как я о тебе думал — у-у, сколько думал: какая она стала, Сима? Два года не видал. Два года все думал. Мать спрашивает: «Что ты все думаешь, Амед?» Я ей говорю: «Мне есть что думать». Думал, думал, никак не знал, что такая стала.

— А какая я стала?

— Такая стала... трудно сказать, какая!

— Ну какая? Брось ты, Амед, это ты так говоришь! Как бровей не было, так и сейчас почти нет... веснушки...

— Ну как тебе не стыдно! — рассердился Амед за плащ-палаткой. — Зачем еще брови тебе, когда глаза такие! И веснушки совсем мало заметно. Нет, ты очень красивая стала.

— Гу-гу, сказал! — гукнула я, но мне было очень приятно.

— Ты большую красоту имеешь, честное даю тебе слово! — заговорил Амед убежденно. — Ты смотришь красиво. Лучше всех! У тебя взгляд тихий, а смотрит смело. Вот ты какая! Ты дружбу знаешь. Верный человек.

— А мы с тобой, Амед, будем верные друзья. Да? На всю жизнь, — сказала я.

— На всю жизнь верные, — повторил Амед.

— А я буду долго жить, Амед, вот увидишь! Я вот уверена, что будет знаешь как хорошо! Вот кончится война, опять приедешь в Москву. И мы с тобой пойдем... Затемнения уже не будет. Свет кругом. А у тебя орден! Может быть, ты даже будешь Герой Советского Союза! И пойдем в Большой театр. В ложу бенуара. Нет, в Парк культуры... Нет, сперва в Третьяковку, потом в театр. Хорошо будет!

— Хорошо будет, — отозвался Амед.

— Ну, и хватит разговаривать! Надо скорей заснуть, чтобы сейчас такой сон приснился. Покойной ночи. Давай лапу!

Я еще с вечера заметила, что в плащ-палатке, которая разгораживала нас, имеется маленькая прорезь, через которую бойцы, надевая палатку на плечи, высовывают руку, чтобы держать оружие. Прорезь эта застегивалась на какую-то деревянную бирюльку с веревочкой. Я теперь нашарила в темноте эту прорезь и просунула пальцы. И Амед, найдя в темноте, тихонько пожал мне их:

— Покойной ночи.

Стучали колеса под окнами вагона, хрумтели сеном лошади. И Табашников, куря деликатно в приоткрытую дверь вагона, пел себе под нос: «Славное море, священный Байкал...»

Рано утром выносили навоз, мыли пол, закладывали свежее сено и долго, тщательно убирали, чистили, скребли коней. Мне дали умыться в дверях на ходу поезда, поливая водой из высокого кувшина на руки. Удобнее было бы сделать это на стоянке, но Амед советовал мне не очень-то часто показываться: возить посторонних в воинском поезде было запрещено.

Утром я видела, как старый Курбан, стоя у открытых дверей вагона, держась за косяк, брезгливо изогнувшись, тер себе рот зубной щеткой. Лицо его выражало глубокое страдание. Он отплевывался, забрызгивая гимнастерку каплями жидкого мела.

— Уже было довольно, — умоляюще глядя на Амеда, говорил Курбан. — Уже я хорошо, очень чисто сделал.

— Давай, давай, три — не жалеи! — кричал Табашников.

— Уважаемая, — говорил Курбан, обращаясь ко мне, — ну, скажи, зачем старый человек должен белить свой рот?

— Ты должен быть культурный боец, — говорил ему Амед. — Оставь старые привычки, Курбан. Жил в кибитке, живешь в доме. Ты должен быть культурный.

И бедный Курбан покорно, до изнеможения тер зубы щеткой.

Так мы ехали. Я скоро со всеми подружилась. Если меня выпускали погулять, то Амед или Табашников дежурили у вагона. А раз, когда появился кто-то из начальства и я не знала, как мне вернуться в вагон, старый Курбан вынес попону, сделал вид, что тащит откуда-то сено, и вместе с охапками его завернул меня. Я снова вернулась на место.

Как-то вечером Курбан снял с нар свой дугар. Быстро забежали по двум струнам дугара

его пальцы. И высоким курлыкающим голосом, который неожиданно оказался в запасе у этого крупного человека, он запел туркменскую песню. И джигиты стали просить, чтобы Амед станцевал. Амед взглянул на меня, надел шапку на затылок и, вскинув пальцы, поводя ими в воздухе, пошел, поплыл по вагону.

— Э-э, что он там кычет! — закричал Табашников, вытащил откуда-то балалайку, быстренько подстроил струны и, поймав тон мелодии, которую играл Курбан, пустился легко перебирать струны, по-своему, по-русски, разнообразя напевным перебором однотонное звучание двухструнного дутара.

— А ну, Симочка, выходи, доказывай! — крикнул он мне, взмахнув балалайкой. — А ну, давай московский разговор, саратовские припевки... «И-эх, ухни, кума, да не эхни, кума, я не с кухни, кума, я из техникума!» Слыхала такое? Со мной не то еще услышишь! — И он грянул плясовую, ловко вертя балалайку над головой и снова попадая рукой на струны. А потом балалайка стала летать у него за спиной, он пустился в пляс посреди вагона, перескакивая через балалайку, играя на ней за спиной, и снова инструмент появлялся у него над головой. — Ну, Симочка, Симочка! «Эх, ягодка ты, ягодка, тебе не двадцать два годка, тебе всего шестнадцать лет... тебе под стать один Амед!» — неожиданно пропел он, подмигивая мне. — Здорово сам сложил?.. Ходи давай, Симочка, раздоказывай. Хоть мы и не помещики и не Наполеоны, в кино не снятые, а ну-козь, походи перед нами!

Я сперва не решалась, а потом вышла на середину вагона, затопала дробно, как меня учили когда-то для кино, и пошла, пошла, пошла по кругу с платочком... А джигиты смотрели на меня веселыми и ласковыми глазами, щелкали языком и громко хлопали все разом в ладоши.

— Ух! — сказала я и села, обмахиваясь платком.

И Курбан почтительно подал мне в большой пиале холодный зеленый чай, чтобы я освежилась.

Быстро шел наш поезд. Везде мы встречали зеленые огни семафоров. На третий день к вечеру замелькали знакомые подмосковные поля и лесочки. Тут везде было очень много военных. А поля и равнины до самого горизонта были перечеркнуты рядами противотанковых ежей, сделанных из отрезков стальных рельсов. И по шоссе двигались танки, колонны грузовиков. Чувствовалось, что близко Москва, и Москва не обычная — Москва военная, фронтовая. Это ощущалось уже и по тому, как подтянулись бойцы, как посерьезнели их лица. То и дело в вагон наведывались командиры, проверяли лошадей, строгими голосами отдавали приказания. А я в эти минуты сидела, забившись в уголок, надежно прикрытая попонами и плащ-палатками.

Но все-таки для меня было неожиданностью, когда под вечер поезд вдруг остановился на какой-то небольшой станции. Раздались снаружи крики команды, загрели по всему составу ролики, на которых, визжа, отодвигались вагонные двери, все забегало вокруг. Появились тяжелые доски. Их наклонно приставили к нашему вагону и стали по ним выводить осторожно ступающих лошадей.

Кони испуганно топтались, не решаясь ступить на крутой помост. Они прижимали уши, шарахались назад, в сумрак вагона. Страшил свет, от которого отвыкли их глаза, пугал чужой холодный воздух, который они, храпя, втягивали тревожно распыленными ноздрями. Бойцы тянули коней, бранились сквозь зубы, набрасывали на головы лошадям мешки, почти повисали на поводьях, таща лошадей на помост. Амед обеими руками осторожно прикрыл Дюльдялю глаза и, плечом припав к шее коня, легонько подталкивая и в то же время подпирая его, что-то шепча ему в самое ухо, бережно свел коня на землю. Дюльдяль весь, от тонких ног до крупной, нервно вздернутой головы, дрожал...

Видя, что всем сейчас не до меня, я некоторое время тихонько сидела на нарах в вагоне. Потом решила выглянуть наружу.

К станции подходил уже другой состав, и из него на ходу выскакивали матросы в бушлатах, с автоматами в руках. Вид у них был такой, как будто они прыгали на полном ходу с корабля в воду. Они выпрыгивали, скатывались под откос и тут же строились. А

пространство вокруг все было в движении. Разгружали орудия. Рычали моторы, тащили, везли какие-то ящики.

— Рассредоточивайтесь! — командовал кто-то. — Маскируйте транспорт!

Амед бегал вокруг вагона с озабоченным и строгим лицом, поглядывая на быстро темнеющее небо.

Табашников держал на поводе своего коня и Дюльдяля, который неотступно следил своими умными глазами за каждым движением Амеда, тянулся к нему беспокойно и втягивал широкими ноздрями воздух.

На меня никто не обращал внимания. Я стояла у вагона с вещами. Все уже выгрузились и ждали команды.

— Амед, — сказала я, наконец уловив момент, когда он оказался возле меня. — Куда же мне теперь?

Он растерянно огляделся и подошел ко мне:

— Не знаю, Сима, друг, как дальше делать... Тут Москва близко. Шестьдесят километров еще. С нами нельзя, понимаешь... Как можно с нами? Нас — на фронт. Ну как тебя туда можно?

— Амед...

— Зачем так говоришь? Нельзя никак. Я тебя прошу... Ты поезжай в Москву...

В это время раздалась громкая команда, и все бойцы кинулись к лошадям, которых держали коноводы.

— Прощай, Сима, друг! Будем еще видеть друг друга. Будем, Сима! Помни: друг будешь, товарищ на всю жизнь. Я верно говорю. Будем? Да?

— Да, да! Будем! — закричала я. — Ты пиши. Ты знаешь мой адрес.

— По ко-о-ням!.. По ко-о-ням!.. — разногласо запели там и здесь вдоль путей.

И Амед взлетел на коня, словно не с земли, а откуда-то с ветра принесло его на кожаное легкое седло. Дюльдяль, почуяв всадника-хозяина, горделиво вскинул красивую голову, раздул ноздри, прядая ушами, легонько осаживаясь на длинные и тонкие задние ноги. Но Амед с внезапно затвердевшим лицом вернул коня на место, выровняв строй.

И опять раздалась команда, и застучали копыта по сухой осенней земле. В последний раз оглянулся и кивнул мне, блеснув глазами из-под косматой шапки, Амед.

Глава 20

Хоть ползком, да домой!

Я осталась одна на станции. Рука у меня медленно отходила после крепкого, до боли, прощального пожатия друга.

Надо было добираться до Москвы.

Долго я бродила по станции и просилась в вагоны проходивших поездов. Нет, здесь, под Москвой, люди были строги. Меня нигде не пускали. В двух местах меня обозвали мешочницей. В санитарном поезде объяснили, что я могу занести заразу. Воинские эшелоны с автоматчиками, с часовыми в тулупах, с винтовками были недоступны — к ним и близко не подпускали никого.

Я совсем отчаялась и не знала, что делать.

Быстро стемнело. Вечер спустился холодный. Пошел дождь. Я промокла, устала. Но тут подошел какой-то дальний пассажирский поезд. Он был переполнен. Патруль с фонариками обошел состав, сгоняя безбилетных пассажиров, висевших на всех подножках и поручнях. Кругом стоял страшный шум и крик. Поезд прогудел, двинулся, и я, незаметно проскользнув в темноте, повисла на площадке заднего вагона. Немолодая проводница хотела согнать меня, но, осветив мое лицо фонарем, почему-то смягчилась. Должно быть, вид у меня был очень несчастный.

— Ну куда ты, куда тебя несет? Куда вы все только едете! Носит вас... — начала выговаривать мне проводница.

— Товарищ проводница, гражданочка, тетенька, — умоляла я, — я с воинского эшелона отстала! Мне в Москву. Там у меня отец с матерью. Вы только не сгоняйте!

— Что же это творится такое! — ворчала проводница. — Эвакуируют вас, везут, везут, а они обратно шнырь-шнырь! Уж не маленькая... Знаем мы, с какого воинского эшелона. Ох ты господи, ведь не пустят же в Москву без пропуска! С вокзала же зацапают и обратно пошлют.

— Как же мне быть?

— Ну, уж я тебе тут не советчица для таких делов. Ехала бы себе, куда везут. Нет ведь, надо им непременно в Москву вертаться! Без них тут делов мало!

— Тетенька, вы только не сгоняйте! Я доеду, а уж там как-нибудь...

— Кто тебя сгоняет? Езжай, раз уж залезла. Только все равно тебя на вокзале заберут... Ох, дети через эту войну мучаются, сил нет!

В Москву поезд пришел ночью. Выгружались в полной темноте. Но я узнала: это был Казанский вокзал, тот самый, с которого мы три недели назад уезжали с ребятами. Меня толкали в потемках, я оказалась в толпе. Меня стучали узлами по голове, били чемоданами по ногам. Потом толпа понесла меня куда-то. Блеснул в глаза свет. Я зажмурилась. Пахнуло накуранным теплом. Меня притиснуло к косяку, два раза повернуло, стукнуло о какой-то каменный выступ; я почувствовала, что вокруг стало свободнее, я открыла глаза. Я стояла в большой толпе среди огромного, плохо освещенного помещения, похожего на зал в суровом замке. Высоко-высоко над головой выгибался тяжелый свод, опирающийся на массивные стены. Зал весь до потолка гудел ровно, несмолкаемо.

Толпа медленно двигалась к середине зала. Я тоже пошла туда со всеми и увидела барьер, сделанный из тяжелых, нагроможденных друг на друга скамеек. Они перегораживали зал. Только в середине был оставлен узкий проход, и там стояли военные. У этого места толпа сгрудилась. Здесь посреди зала, гудящего вокруг тысячами голосов, создалась сосредоточенная, словно чем-то огороженная тишина.

Тут проверяли пропуска. Без этого пропуска в Москву с вокзала не выпускали.

— Спокойнее, граждане, давайте порядок, — негромко говорил командир. — Документы приготовьте заранее. Предъявляйте пропуска.

И, оттирая меня в сторону, шли счастливы, держа в руке паспорта и поднимая развернутые пропуска. А у меня было с собой только ученическое удостоверение.

Я увидела высокого, симпатичного и уже немолодого моряка. Он не спеша подвигался в толпе к барьеру.

У меня мелькнула мысль.

— Товарищ моряк, — сказала я, — я вас очень прошу, скажите, что вы со мной... Ну, то есть что я с вами...

— Я бы с удовольствием, моя милая юная гражданочка, но у меня пропуск только на себя. Вряд ли что выйдет.

— Ничего, вы попробуйте. Они вам поверят. У вас очень вид авторитетный.

Он засмеялся, поглядывая на меня сверху.

— А мы что же, значит, путешествуем не на законном основании, видимо? — спросил он.

Я насторожилась и даже отодвинулась чуточку. Еще цапнет сейчас и отведет куда надо.

— Ничего подобного, — сказала я. — Просто я отстала от своих. Папа и мама прошли. А я, понимаете, тут в темноте...

— Уж эти мне папа и мама! — сказал моряк. — Бросили дочку в темноте на произвол судьбы... А может, дочка их бросила? Ну, будет вам сочинять! Удрали, наверно?

Я промолчала. Ну что я ему буду врать, действительно! Лицо у него было доброе. Я тихонько сказала:

— Ну, проведите, пожалуйста. Я с военным эшелонам приехала, и пришлось слезть, потому что его на станции поставили. Вот мое удостоверение ученическое.

— Ладно, попробую, — добродушно согласился он, возвращая удостоверение.

До нас оставалось не более трех человек, и я прямо умираю от волнения. В это время командир, проверявший пропуска, сказал гражданину, стоявшему впереди нас с мальчиком лет четырнадцати:

— Позвольте, этот пропуск на вас, а где пропуск на мальчика? Нет, уж, он достаточно большой. Попрошу вас отойти в сторонку. Нет, не могу пропустить. Гражданин, я вам ясно сказал: отойдите пока в сторонку.

Плохо дело. Я посмотрела на своего покровителя. Он — на меня. Потом он развел руками. И я отошла от барьера.

Некоторое время я слонялась в толпе по залу. Настроение у меня было самое плачевное. Ну действительно: добраться уже до Москвы, быть в самом городе и все же оказаться как бы за его чертой! И подумалось только: вон там, за этой стеной, — Москва, Комсомольская площадь, знакомые улицы. Тысячи километров проехала, а на последних метрах споткнулась и застряла.

Около меня стоял какой-то мальчишка. Он с любопытством следил за тем, что происходит возле прохода, где проверяли пропуска. Парень был, видимо, московский, бывалый. А на свете нет такого места, из которого бы не вылезли или куда бы не нашли хода московские мальчишки.

Я спросила его:

— Слушай, парень, тут другого хода нет?

— А ты что, без пропуска? — Мальчишка внимательно оглядел меня. — Ну, давай за мной. Не подходи только, виду не показывай, иди сторонкой, а то еще заберут. Под скамейками полезешь?

— Под скамейками?

— Ага... Ты пролезешь, ты не толстая. А то тут одна тетенька полезла да и застряла. Я ее еле обратно вытягал. Еще меня ругала, дура толстобокая.

Он еще раз деловито осмотрел меня и даже кругом обошел.

— Нет, определенно просунешься, — сказал он, отвернувшись и делая вид, что разговаривает сам с собой и не имеет ко мне никакого отношения. — Вон, гляди, — да не на меня! — туда гляди... вторая скамейка от стены, где одна доска отскочила. Вот туда и лезь. Я стану, загорожу.

Лезть мне было все-таки страшновато. Да и совестно как-то — все-таки уж не маленькая девчонка, взрослая девушка. Я спросила мальчишку:

— А сам ты что не лезешь? Или у тебя пропуск есть?

— Я еще третьего дня пролез... А сегодня это я сестренку встречаю. Только, кажется, не приехала. Ну, подожду еще, а потом и сам обратно полезу. Я уж третью ночь лазаю, все встречаю...

И я полезла. Пришлось для этого лечь на пол плашмя. Скамейки были очень низкие. Я вполне сочувствовала той толстой тетке, которая застряла тут до меня. Вещи мешали мне двигаться. Кафельный пол был холодный и, как мне казалось, мокрый. Пахло карболкой. За первой скамейкой оказалась вторая, за ней — третья. Тут было сдвинуто несколько рядов. Добрых десять минут ползла я на животе, извиваясь между ножками, под этой проклятой баррикадой. Видели бы меня в эту минуту мои пионеры!..

Но вот впереди посветлело, близко, у самой моей головы, зашаркали ноги в сапогах, валенках, галошах. Кто-то остановился в валенках, всунутых в большие, растоптанные боты, у самого моего носа и стоял не двигаясь. Я подождала минутку, другую. Оползти их сбоку было невозможно — мешала ножка скамьи. Вот еще беда, на самом деле! Долго они будут тут стоять? Я не знала, как быть. Может быть, постучать в бот и попросить отойти? Боты имели очень мирный, штатский вид, совсем не военного образца. Но все-таки кто их знает, что там над ними дальше...

Я выглянуть не могла. Тут я вспомнила, что у меня в пальто есть яблоко, которое мне дал Амед. Жалко было с ним расставаться, да что делать! Я достала его — а это тоже было дело нелегкое в моем положении — и, протянув руку из-под скамьи, легонько бросила

яблоком в правый бот. Яблоко тихо откатилось, и сейчас же толстая рука в стеганом рукаве опустила сверху, подхватила мое яблоко, боты задвигались, и я услышала низкий бабий говорок: «Ишь, гляди, яблочки кто-то рассыпал». Теперь бояться было нечего, я стала выползать из-под скамьи, бесцеремонно похлопав ладонью по ботам, чтобы они дали мне дорогу. Один бот взлетел кверху. Потом поднялся второй. Я ничего не понимала: что это, моя баба с яблоком в воздух взлетела, что ли?

Но тут прямо надо мной, заглядывая под скамью, очутилось сморщенное старческое лицо. Очень смешно было видеть снизу, перевернутым, это лицо — волосатые ноздри, загнувшуюся вперед бороду и обвисшие болтающиеся усы.

— Это там кто? — спросил сверху старичок.

— Это тут я.

— Ишь где пристроилась! Ну, вылезай, коли выпалась.

Старичок, оказывается, лежал на скамье, поджав ноги в ботах. И я вылезла. Болели локти и колени, вся я была вымазана чем-то пахнувшим больницей. Я вытащила из-под скамьи свои вещи и огляделась. В двух шагах от меня рослая баба в стеганке с хрустом ела мое яблоко.

Ну, теперь всё. Я бодро зашагала к выходу. Сейчас я выйду в Москву.

Но когда я уже была в дверях, дорогу мне вдруг преградил красноармеец с красной нашивкой на рукаве. На нашивке были две буквы: «К. П.».

— Куда идешь? Стоп!

У меня опять оборвалось сердце.

— Пропуск есть? Все пропало...

— Товарищ, у меня...

— Чего у тебя? Раз ночного пропуска нет, жди комендантского часу.

— А когда это?

— С пяти часов. А до этого ходу по городу нет. Осадное положение, — сказал патрульный.

Тут только я заметила, что все стоят в зале, чего-то ожидая. Никто не выходил. Все ждали утреннего комендантского часа.

Глава 21

На осадном положении

Как тиха и пустынна Москва! Ни души на улицах.

Я выхожу из подъезда вокзала. Пять часов утра на слабо светящихся вокзальных часах.

Тихи и безлюдны улицы. Нигде ни огонька. И ни одного прохожего. Словно город опустел, как я представила себе тогда на островке, когда мир вокруг нас погасил все свои огни.

Гулко раздается стук моих каблучков по панели.

Но нет, он не безлюден, мой большой город. Вон на углу там зашевелились две темные тени, и на мгновение вспыхнула прикрытая сверху ладонью спичка и отразилась в плоском лезвии штыка. А на перекрестке мерно похаживает фигура в плащ-палатке. И под полой ее зажегся зеленый свет. Проехала через улицу грузовая машина с полупритушенными сиреневыми фарами.

И постепенно огромная теплая радость разливается по всему моему существу. Москва! Я вдыхаю сырой, холодный утренний воздух, пахнувший бензином, слегка отдающий гарью очага, — где-то, должно быть, затопили печку. Нет, ты жива, моя Москва! Дымишь и дышишь, ты только притаилась. И вот я иду по Москве. Мне хочется закричать во все горло, чтобы знали все о моем возвращении. И желание это так велико, что я тихонечко шепчу про себя: «Ура!.. Я иду по Москве... Здравствуй, Москва! Это я! Ура!»

Идти мне далеко, вещи оттягивают руки. Я останавливаюсь, перевязываю узлы полотенцем и взваливаю их себе на плечи. Вот так легче. И снова я шагаю по черным

московским улицам. Мне никогда не приходилось ходить так рано по Москве. Да и была разве она такой прежде? Я с трудом узнаю улицы в этой кромешной тьме. Сейчас надо подняться к Красным воротам, потом повернуть налево и по широкой Садово-Земляной улице пройти мимо Курского вокзала, Воронцова Поля, а потом спуститься к Яузе, там будет высокий мост. А затем подъем в Таганку. Дальше — Краснохолмский мост, Москва-река и на той стороне набережной — наши новые дома. Как приятно, что я все это знаю, что мне все это знакомо! Я даже рада, что мне надо долго идти по городу, что никого нет кругом.

Я одна, наедине с Москвой.

Недалеко от Курского вокзала какой-то красноармеец спрашивает меня:

— Сестренка, подь сюды. Как на Солянку пройти?

Я объясняю ему подробно, с наслаждением, пространно, называю все повороты, щеголяю названиями: «Швивая горка», «Яузские ворота».

Пусть чувствует, что ему повезло: он спросил у настоящей москвички, этот неизвестный приезжий военный человек.

Начинает светать. Появляются редкие прохожие. Теперь я вижу, что Москва вся наготове. Кругом на склонах Яузы — противотанковые ежи, колья, опутанные колючей проволокой, на углах какие-то приземистые круглые будки с прорезями, бойницами, из которых кое-где уже торчат пулеметы. На перекрестках появились какие-то валы с узкими проходами, заложены мешками с землей. Значит, здесь готовы ко всему. И город не открыт для врага. Никто не застанет Москву врасплох.

Вот знакомая Таганская площадь. Тут недалеко, в переулке, когда-то мы жили. А вот новый большой мост, где я впервые встретила Расщепя. Я останавливаюсь у его широких, надежных перил и смотрю вниз. Тихо плещется под мостом Москва-река. А там вдали, на светлеющем небе, хорошо видны кремлевские башни.

Что это?.. В утренней тишине слышатся какие-то всему существу моему знакомые переливчатые, словно по лесенке сбегаящие звуки. Стойте! Да это же бьют кремлевские куранты! Ветер донес сюда их далекий многоступенный перезвон. И я могу слышать их вот здесь, на месте, не по радио, а просто так, своими ушами! И я чувствую, что сейчас зареву, просто-напросто зареву от радости.

В воротах нашего двора меня окликают:

— Гражданочка, вы к кому?

Это домовая охрана. Я узнаю одного из наших жильцов, старого бухгалтера.

— Товарищ Матюшин, здравствуйте! Это я. Из двадцать восьмой квартиры, Крупицына.

Бухгалтер подходит ближе:

— Крупицына? А разве вы не эвакуированы?

— Нет... То есть почти, но не совсем... то есть, понимаете, вернее, у нас переброска, товарищ Матюшин... ну, вообще это очень долго объяснять...

А над воротами слабенко горит сиреневая лампочка, освещающая табличку: «Дом № 17». Как все это красиво!

В подъезде у нас темно, но тут уже я помню каждую ступеньку. Вот сейчас на повороте будет ямка на перилах. Вот она. Все в порядке. А тут сейчас одна ступенька выбита. Пожалуйста — вот она, эта ступенька.

Уф!.. Наконец я на нашей площадке. Я сбрасываю с себя узлы, вытираю взмокший лоб и осторожно стучусь в дверь. Никто не открывает. Я стучусь сильнее — уже не костяшками пальцев, а кулаком. Прислушиваюсь — за дверью тишина. Я поворачиваюсь спиной к двери и начинаю бить в нее каблуком, как это я делала, когда возвращалась из школы, а мама не слышала меня из-за шума примуса.

Ага! Зашевелились.

— Кто там? — спрашивает незнакомый голос.

Неужели я попала не в свою квартиру?

— Извините, это двадцать восьмая квартира?

— А вам кого?

Падает за дверью цепочка, и дверь приоткрывается. Передо мной стоит человек в синих галифе, в ночных туфлях и в теплой фуфайке.

— Простите, пожалуйста, это двадцать восьмая квартира?

— Вам кого? — повторяет незнакомец.

— Мне наших... Крупицыных.

— Крупицыны выехали, — говорит человек в галифе. — Да вы войдите.

Я вхожу в нашу переднюю. Трюмо в углу завешано газетами, сшитыми черными нитками.

— Я их дочка, Серафима Крупицына.

— А-а, — говорит новый жилец нашей квартиры. — Входите, я сейчас. Виноват.

Он выходит и сейчас же возвращается, застегивая на себе военную тужурку под меховым жилетом-телогрейкой.

— Видите ли, родители ваши эвакуировались. Но я полагал, судя по их словам, что вы тоже отбыли в эвакуацию. Меня временно поселило здесь домоуправление. Будем знакомы. Майор Проторов.

Он протягивает мне руку.

— Сима, — говорю я.

— Ну, располагайтесь, устраивайтесь. Если хотите чайку, спички вон там, у керосинки. Газ выключен временно. Чай есть? Я вам сейчас заварю.

Он гладит бритую голову, ожесточенно трет щеки, сгоняя сон, возится с чаем. А я стою растерянная.

— Когда же они уехали?

Майор Проторов не спеша и обстоятельно рассказывает мне, что пришла телеграмма от брата Георгия и за отцом с матерью заезжал специальный человек, которому было поручено во что бы то ни стало увезти моих родителей и Людмилу с мужем. Отец с матерью уже в годах, оставлять их в Москве — в этом нет видимой целесообразности. Город на осадном положении. Ситуация, то есть обстановка на фронте, складывается весьма серьезно. Город должен освободиться от людского балласта, и мой приезд тоже вряд ли целесообразен.

Вот этого я никак не ожидала. Хорошенькая история! Значит, я в Москве теперь совсем одна? Балласт! Как же я буду жить? Впрочем, там видно будет. Прежде всего надо скорее узнать что-нибудь об Игоре.

— Товарищ майор, а тут один мальчик такой не приезжал? Игорь зовут. Не появлялся?

— Нет, мальчики тут не появлялись...

Плохо дело... И все в квартире выглядит пустым, нежилым, голым, словно со всего содрали кожу. Сняты гардины с окон. В гардеробе пусто. Только висит на перекладине моя старая, вылинявшая лента, которую я когда-то вплетала в косы. На моей кровати — голый матрац. Я сажусь на него. Будто узнав хозяйку, ласково и гулко заныв, отзываются пружины. И только теперь я чувствую, как я устала. Я подкладываю под голову один из моих узлов, накрываюсь пальто и засыпаю. Там видно будет утром, что дальше делать.

— Да вы бы разделись, легли как следует, Сима, — слышу я голос Проторова. — Ну, дайте я вам хоть подушку дам. Этак у вас шея затечет. Принести вам подушку?

Голове действительно очень неудобно, но надо ответить длинной фразой: «Да, прошу вас, принесите, пожалуйста». А я чувствую, что засну на середине ее. Прикидываю в уме, что гораздо легче произнести: «Не надо».

— Не надо, — бормочу я. И уже сквозь сон чувствую, что у меня из-под щеки осторожно вынимают жесткий узел, и потом я ухожу головой в мягкую, такую мягкую, ужасно мягкую, совсем мягкую подушку...

Я проснулась поздно. Проторов уже давно ушел на службу. Он оставил мне записку, в которой было сказано, куда надо класть, уходя, ключ, где мне оставлена еда. Тут же в приписке рекомендовалось сходить в домоуправление. «Это будет целесообразно», — писал майор. Последнее мне не очень понравилось. И я не торопилась к коменданту. Сперва я

побежала в соседний подъезд, где была квартира Малининых. Но дверь у них была запечатана. Должно быть, работница Стеша уехала в деревню, а Игорь до Москвы не добрался... Мне стало очень тоскливо, когда я убедилась, что дверь в квартиру Малининых давно уже не отворяли: кучка сметенного к ней мусора слежалась и заиндевела. От двери, на которой рукой Игоря была выцарапана огромная, словно у входа в метро, буква «М», пахло на меня нежилиью, запустением... Я постояла на площадке, потрогала оборванные провода дверного звонка, потом побрела вверх по лестнице и осторожно поднялась на знакомую крышу. Здесь все выглядело по-прежнему. Я нашла проржавевший след на кровле. Вот тут мы с Игорем потушили зажигалку. Вот висят у кадки щипцы, на них даже есть моя метка.

День пасмурный, и Москва в тумане. Но где-то над городом рокочут моторы. Это ходят дозором истребители. А на крыше соседнего десятиэтажного дома, где раньше стояли пулеметы, качается на веревке мокрое белье, сушатся рядом гимнастерки, зеленые юбки, чулки и лифчики. И оттуда слышатся свежие девичьи голоса: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына?..» Очень хорошо поют девушки! Потом одна из них, увидев меня, перегибается через ограду крыши и кричит:

— Эй, на доме семнадцать, девушка! Что там внизу, в Москве, хорошего слышно?

— Еще не знаю, — кричу я, не понимая ее вопроса. — Я в отъезде была, меня не было, только что приехала. У вас хотела спросить.

— А мы тоже не знаем, нас уже три недели с крыши не спускают. Отпуска отменили. Все время тревоги. Совсем небесные жительницы стали.

Где-то за низкими облаками рокочут истребители. Снизу доносится приглушенный шум Москвы. А под облаками поют над городом молоденькие московские небожительницы в ушанках: «Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать, ей, сиротине, век одной качаться...»

Но мне надо было спускаться с неба на землю.

Глава 22 Снова Устя

Комендант нашего дома товарищ Ружайкин, у которого я решила справиться об Игоре, встретил меня довольно радушно:

— Ага, прибыла, значит? Ну, садись. А я уж тебя поджидал. Погоди, погоди насчет справочек! Вот насчет тебя самой телеграммочка пришла. Предупреждают. Ты что же это, красавица, на ходу с поезда нырнула? Веселый разговор, хорошее занятие! А отец с матерью за тебя волнуйся? Андрей Семенович уезжал, так последние глаза проплакал. А уж мать-то на машину аж замертво положили — до того убивалась. Легко ли из своей квартиры-то выезжать, а ты, птица небесная, перелетная, взад-назад едешь? Только для тебя и поезда ходят?

— Товарищ Ружайкин, я ведь не ради собственного удовольствия! Я приехала, во-первых, потому, что считаю, что раз Москва в опасности, то мой пост тут, в Москве.

— О-о! — протянул Ружайкин, посмотрев на меня сбоку. — Ну, теперь порядок: Крупицына на свой пост приехала. Конец немцу! А то мы без тебя никак тут не справимся!

— Я не знаю, что вам так смешно, товарищ Ружайкин! — сказала я, не на шутку рассердившись.

— Ну, садись, не егози, чего вскочила? Я же тебя пока не выселяю никуда. А надо бы по законам-то военного времени отвести тебя куда следует да и отправить по назначению. Ведь ты вроде беглая.

— Как вам не стыдно, товарищ Ружайкин! Я приехала в свой родной город, а вы с какими-то насмешками ко мне! Да еще «беглая»...

— Да ладно тебе обижаться! Я ведь понимаю, москвичка! А вот как же ты из этой... двенадцатой квартиры Малинина сынишку-то не углядела? Он ведь при тебе был? И вдруг

опять тут объявился.

— А вы откуда знаете? Он здесь, Игорь? Приехал?

Я вскочила, чтобы сейчас же бежать к Игорю.

— Да погоди, погоди, далеко бежать придется.

— А где он?

— Вот это уж я у тебя хотел спросить. Пришла, видишь, телеграмма, что сбежал он с вашего эшелона. Ну, значит, я ее к делу подшил. Явится, думаю, тут я его, голубчика, сцапаю, запакую, проштемпелюю и наложенным платежом отправлю. Жду-пожду — нет его. А тут, понимаешь, озоровать стали. В сорок третьей квартире, эвакуированной, печать с дверей сорвали, вещички кое-какие пропали, обстановка там поврежденная оказалась. Ну, а тут подозрение вышло на парня одного. Да ты его знаешь... Помнишь, бомбу он на нашей крыше зажигательную потушил? Васька Жмырев. Сам-то он подмосковный, из отчаянных. Да повадился ночевать тут, в доме пятнадцать. Ну, стали мы его легонько щупать, а он говорит: «При чем, говорит, я тут? У вас, говорит, на чердаке подозрительные лица живут». — «Какие такие подозрительные лица?» — «А такие, говорит: числятся в эвакуации, а, между прочим, находятся тут». Сделали мы обход, и что же ты думаешь — застучали на чердаке Малинина капитана сынишку, этого самого Игоря!

— Игоря?.. Не может быть! — вырвалось у меня.

— Может быть, раз я говорю. Квартира-то Малинина запечатана. Он, верно, сунулся, деваться-то некуда, а он тут все ходы-выходы знает, ну, и поселился на чердаке. А его с того двора зенитчицы прикармливали. Пожалели девушки. Посочувствовали — тоже сверху на землю не сходят. Ну, и спускали ему на веревке то хлеба, понимаешь, то консервы какие...

— А где же он сейчас? Господи!..

— Ты погоди. Ну, привели мы его к нам в комендатуру, следовательно, разговариваем. Так-то, конечно, при нем ничего не нашли. Только свои вещички и были. Я зря тень на парня наводить не стану. Он мальчишка хотя срывной, но насчет плохого, озорства — ни-ни. Строгий. Зернышка чужого не возьмет. Тоже, понимаешь, Москву защищать приехал, вроде тебя. Ну, с ним-то у меня разговор покорооче был. Я живенько созвонился с комендантом вокзала, просил его выправить билет. Как раз там один эшелон отходил. Поехал уже оформлять. Ну, а этого Игоря посадил тут у себя, поесть ему дал. И для всякой пожарной случайности на ключ запер. Прихожу обратно — только того Игоря и видели. Окно, понимаешь, открыто, и как он, галчонок, с такой верхотуры вылез, уму непостижимо! Удрал. Была мне через этот случай конфузия... Конечно, дела я так не оставил. Ищем. Везде я заявил насчет него. Пока сведений не поступало.

— А от отца его, с фронта, ничего не было?

— Нет, от него почти не имеется... Ну, иди, устраивайся. Жильца-то я к вам поставил на время. Военкомат просил, у них он служит. Жилец тихий, обстоятельный. По крайней мере, квартиру сэкономит: лучше, что человек свой.

Невеселая вышла я от коменданта. Бедняга Игорь! Наверно, натерпелся мальчуган.

Но надо было подумать о себе. Я отправилась в райком комсомола.

Москва показалась мне пустоватой и днем. Было очень много военных, и совсем не видно было детей. На кинотеатре висела большая афиша: «Мужик сердитый». Картину, значит, опять пустили на экраны. Из витрины за проволочной решеткой глядела моя физиономия. Вот я, Устя, вместе с Расщепеем в роли Дениса Давыдова. Вот я одна. Приятно было видеть в военной, суровой Москве рядом с плакатами, требовательно призывавшими всех встать на защиту родной Москвы, афиши нашей картины.

В райкоме я застала много народу и встретила кое-кого из знакомых старшеклассников.

— Крупицына, ты откуда? Ты что, только сопровождала?

Это была счастливая мысль.

— Да, я уже вернулась, — сказала я. — Меня командировали обратно.

Но когда я оказалась в кабинете секретаря райкома, усталого, беспрерывно кашлявшего, красноглазого от бессонницы и так постаревшего, что с трудом узнала в нем

нашего общего любимца Ваню Самохина, врать я не решилась. Тут лгать было нельзя, тут надо было говорить все по чести, по совести.

— Крупицына, — сказал мне Самохин, выслушав все, — нельзя же так, ей-богу! Нельзя в такое время выбирать, где тебе самой интереснее. Есть на свете такое понятие: дисциплина. Ну, что я тебе буду говорить! Ты культурная девушка, сама все отлично понимаешь. Но, видно, придется нам об этой простой истине напомнить тебе официально. И кое-что записать по нашей комсомольской линии... Да, да. Поговорим на бюро. А пока просто не знаю, что мне теперь с тобой делать. Вот тут у меня сейчас работает отборочная комиссия из Московского комитета. На серьезное дело людей отбирают. На очень серьезное. И там уж потом не спросят, где кому интересно быть.

— Самохин, пошли меня, я знаю... я тоже... Даю тебе честное слово!

— Нет, не могу, — сказал Самохин грустно. — Ты какого года? Сколько тебе лет? Неполных семнадцать... То есть шестнадцать? Мало! Не выйдет сейчас с тобой, Крупицына. Да и доверия такого, как тут нужно, нет у меня сейчас к тебе... Не обижайся. Сама должна понять. Ну, посиди пока дома, мы тебя используем, конечно. Я, в общем-то, тебе верю, я знаю тебя... Как у тебя с питанием?... Ну, столовку мы тебе дадим.

Он посмотрел натруженными глазами в окно. Против райкома, на большом доме, висела афиша: «Мужик сердитый».

— погоди, Крупицына, — сказал секретарь. — Стой! Может быть, мы тебя используем тут на одной линии. Ты как будто выступать умеешь? Смажешь молодым бойцам несколько слов сказать перед отправкой на фронт? А им будет интересно послушать, так сказать, Устю-партизанку. Тогда Москва — и сейчас! Знаешь, это мысль! Я понимаю, ты не этого хочешь. Тебе хочется сейчас с экрана на землю сойти. Полагаешь небось, что должна непременно повторить, так сказать, в жизни то, что в картине делала. Для исторической симметрии, мол, нужно... Брось ты, Крупицына. Ей-богу, рекомендую... Война у нас сейчас во сто крат серьезней. Всё крупнее, сложнее гораздо. Для победы нужны, понимаешь, усилия самые разнообразные. Повторением пройденного тут мало чего добьешься. Война сегодня не та. Неслыханная война! Правда, и народ уже не тот, и средства у нас иные. Не вилами воюем. И духом народ стал выше, чем когда бы то ни было. Народ свое место в истории понял. И каждый должен свое место в строю нашем великом знать. А ты?... Ну, что подделаешь, дружок! Мне бы, Крупицына, тоже хотелось быть не тут, за столом. И вообще, ты не кисни. Все еще может быть. Положение, ты знаешь, крепко серьезное! Рвутся, черти, к Москве. Стараются на ближние подступы выйти... Ну ладно, Крупицына, ты иди, будь здорова. Некогда мне. А тебя мы вызовем.

В тот же вечер за мной прислали из райкома. Там объявили, что бюро решило записать мне «на вид» за самовольное возвращение. Но тут же мне выписали направление, чтобы я выступила перед молодыми бойцами, уходившими на подмосковные рубежи. Встретили меня хорошо и слушали очень внимательно. Я им рассказала об Усте Бирюковой, о Денисе Давыдове и долго говорила о Расщепее. Я прочла выписки из блокнота Александра Дмитриевича. Особенно понравилось всем высказывание Льва Толстого о храбрости. Я видела, что многие тут же записали себе это в карманные книжечки. Потом меня посылали на такое выступление еще два раза. И, хотя выступала я удачно и мне всегда долго и громко хлопали, с каждым разом мне было труднее и труднее говорить одно и то же. Я старалась найти новые слова, а их не было. Я повторяла сказанное уже в прошлый раз, и мне казалось, что бойцы знают это.

И я даже обрадовалась, когда меня вместе с другими комсомольцами нашего района мобилизовали на заготовки дров, «перебросили на дрова», как тогда говорили. Москве нужны были дрова. Без этого город лишился бы тепла и света. Работа оказалась очень трудной. Особенно тяжелой была она с непривычки в первые дни. Приходилось и валить лес, и вручную распиливать огромные обледенелые стволы, грузить на машины. Работали мы под самой Москвой, где расчищались места для ближних укреплений. Вставать приходилось в пять утра, потому что в шесть мы уже выезжали в район лесоразработок. Иногда мы так

уставали, что у нас уже не было сил добираться обратно в город. Ночевали в землянках. Руки у меня стали жесткие. Кожа на лице огрубела, обветрилась от постоянного пребывания на холоде. Я ходила в толстых ватных брюках, в стеганке и малахае. Вообще все выглядело совсем не так эффектно, как я задумывала. Весь мой красиво придуманный план рухнул. А я-то полагала, что меня пошлют на фронт, а оттуда, отличившись в бою, совершив что-нибудь такое героическое, я уже обо всем напишу своим ребятам на Урал. Тогда бы, уж конечно, они меня не решились осудить за мое самовольное возвращение в Москву. Теперь же приходилось посылать совсем другое письмо.

Я его все-таки написала:

«Добрый день, дорогие, милые ребята! Вы, конечно, там меня очень ругаете, что я бросила вас в дороге и вернулась в Москву, Думаете, легко мне было тогда решиться, чтобы оставить вас? Но вы оставались не одни. А когда я подумала, что Малинин где-то затерялся один-одинешенек, а Москва наша в беде, я уже ничего не могла с собой поделывать. Ребята, в тот день как раз я узнала по радио, что немцы под Москвой сделали прорыв и Москва в опасности. Я сама себя не помнила — такая тревога меня взяла. А я и так места не находила с того часа, как Малинин Игорек убежал. Ведь мне отец его, командир, когда уезжал на фронт, поручил беречь сына. Я считала, что это мой главный долг сейчас как вожатой. Я больше всего из-за этого и уехала с вами из Москвы. А тут все так сразу сошлось: и Москва и Игорь. Да еще на встречном эшелоне знакомые оказались и взяли меня в Москву.

Только, ребята, защищать Москву на фронте меня не пустили. А послали меня работать на дрова. Дрова сейчас очень нужны. Я уже стала старшей по нашей бригаде. У нас десять девушек. Все очень дружные. Я им говорю, что каждое полено — это снаряд по немцу. Работа трудная, но я теперь привыкла. Когда увидимся, я расскажу вам, что такое валка, трелевка, распиловка, отгрузка, выкладка и отмер. Это все я хорошо изучила.

А Москва стоит крепко! И когда живешь в Москве, за нее не так страшно, как было вдали. Правда, спать приходится мало: «бабушка» часто шумит и грозит теперь не только по ночам, но и днем. Но никто ее не боится.

А Игоря я найду непременно! Я его ищу все время. После работы обхожу по очереди всех его родных и знакомых, кто остался в Москве. Написала даже Ваське Жмыреву: известно, что он встречался с Малининым. Пока ответа нет. Но я разыщу Малинина, где бы он ни был!

Не ругайте меня очень, ребята! Я о вас все время думаю, все время! И мне хочется, чтобы мои зодиаки там были примером для всех. Дёме-Водолею пожелаю больше слушать других, чем самому ораторствовать, Витя-Скорпион пусть меньше сомневается и жалит, а более внимательно относится к товарищам. А Весы мои, Люда и Галя, надеюсь, уже уравнились и не стараются во всем перетянуть друг друга. Будьте здоровы! Привет Анне Семеновне. Я ей написала отдельно. А вы тоже закиньте перед ней словечко за меня.

А за Москву будьте спокойны: Москву отстоим! То есть, конечно, отстоит ее Красная Армия, но и мы все, москвичи, дровишек в огонь подкинем!

Ваша бывшая вожатая, ныне бригадир фронтовой комсомольской бригады лесоучастка № 9

С. Крупицына.

Москва, 3 ноября 1941 года».

Дома с новым жильцом, майором Проторовым, мы сдружились. Без него мне пришлось бы туговато. Сперва я ни за что не хотела брать у него продукты из пайка, но он знал, что у

меня еще не оформлены карточки, и, кроме того, доказал мне, что я помогаю ему по хозяйству и, значит, честно зарабатываю свой хлеб. Проторов часто пропадал надолго. И один раз вернулся после двухдневного отсутствия страшно бледный, с перевязанной рукой. И сразу лег, попросив согреть ему чай.

— А, глупейшая история: обстреляли машину на переднем крае, — объяснил он мне, отвечая на мой немой вопрос.

— А вы что, на фронте были? Успели?

— Э, милая, на фронт сейчас чуть ли не на автобусе можно ездить. Жмет он на нас, ох, жмет!.. Я вот, Сима, по танкам вообще специалист. Каких только систем не нагляделся сегодня! И французские, и чешские, и итальянские. Со всей Европы соскреб и на Москву бросил.

— Товарищ Проторов, — спросила я, — скажите по правде, опасное положение?..

— Да, что говорить, не легкое.

Глава 23 Вечер в учительской

В канун Октябрьской годовщины, шестого ноября, я решила обязательно попасть к нам в школу. Несколько раз я уже заходила туда. Но в здании стоял штаб какой-то части, в классах стучали машинки. А учительская была на замке, и никто толком не знал, где и когда можно застать директора. И все же я решила шестого вечером пойти туда. Дело в том, что у нас в школе был обычай: ежегодно шестого ноября собираться и проводить вечер вместе с теми, кто прежде кончил нашу школу. Я знала, что почти все наши разъехались, старшеклассники еще не вернулись с укреплений. Я уже заходила справляться на дом к Ромке Каштану. Но все-таки, может быть, кто-нибудь вспомнит, как и я, наш старый школьный обычай.

В этот день несколько раз объявляли тревогу. Немцы были теперь близко от Москвы, они пробовали налетать на город по несколько раз в день. Вечером, в промежутке между двумя тревогами, я добежала до школы. Парадный ход был заперт. Часовой, ходивший во дворе, крикнул, чтобы я отошла. Но я обежала здание и пробралась в него через черное, крыльцо. Снаружи школьное здание с затемненными окнами казалось мертвым. В коридоре было тоже темно, но в конце его я разглядела узенькую полоску света, шедшего из двери. Я хорошо помнила, что там помещается, в конце коридора. Я подошла к двери и постучалась. В эту дверь каждый из нас всегда стучался с известной робостью. То была учительская, там обычно сидели наши педагоги, а раньше тут помещался кабинет директора — Полины Аркадьевны, грозной маленькой старушки, которую все побаивались.

— Войдите! — раздалось за дверью, и я сразу узнала голос, едва слышав который, мигом стихали самые буйные классы.

Я осторожно вошла. За столом, покрытым красным сукном, сидела Полина Аркадьевна, маленькая, седая, в круглых очках. Воинственно потряхивая головой, она говорила что-то двум командирам, которые почтительно слушали ее. В одном из них я сразу узнала Юрия Долгухина, кончившего нашу школу в этом году. Другой был незнаком мне.

— Крупицына! — воскликнула Полина Аркадьевна. — Что за явление? Ты же, Крупицына, уехала в интернат! Нет, я решительно ничего не понимаю! Ну хорошо, объяснишь после. Знакомься: это фронтовой товарищ Долгухина. А это он сам. Слава богу, знакомы. Хорошо помню эту вашу историю, когда ты училась в шестом классе, а он в восьмом. Он у тебя утащил портфель с дневником. Не беспокойся, отлично помню. Садись, Крупицына. Молодец, что не забыла. Хранишь наши школьные обычаи. А я думала, никто не придет. Все разъехались. Да и не до того. Нет, ты посмотри, посмотри на Долгухина! Чем не гвардеец? Вот, приехал специально из части. Отпросился на сегодняшний вечер. Ну, а ты откуда, Крупицына?

Я что-то забормотала.

— Ничего не понимаю! Бубнишь под нос. Говори яснее.

— Я переброшена на этот участок, — сказала я, помня усача из Донбасса, который меня научил так говорить, — работаю по заданию райкома комсомола. — Тут я решила сама перейти в наступление. — Полина Аркадьевна, а почему вы в Москве?

— А где же мне быть? Извольте слышать! — Она повернулась к командирам. — Где же мне быть, по-твоему? Я так всем это в гороно и заявила. А они мой характер знают. И не спорят. Вот видишь, живу тут. В учительской. Чтобы не застревать дома, когда тревога.

Как хорошо, как весело и уютно было всегда на Октябрьских вечерах в нашей школе! С грустью оглядывала я учительскую. В нее составили много шкафов из других кабинетов. Поблескивали физические приборы. Распластав пыльные крылья, парил над шкафом ястреб-чучело. А рядом с ним белела голова Афины Паллады в шлеме, с разбитым, почерневшим носом. В углу, как свернутые знамена, стояли географические карты. Выгоревший глобус был надет на стержень Южным полюсом вверх. Все казалось сбитым, спутанным, хотя и до боли знакомым. И только сама Полина Аркадьевна была совершенно такой же, как прежде. И отложной белый воротничок ее был безукоризненно чист, и так же воинственно поблескивали круглые очки на ее маленькой, порывисто кивающей седой голове.

— Не верю! — восклицала она, подымая кверху сжатый кулачок. — Ни на секунду не допускаю, чтобы немец мог прорваться в Москву. Я твердо убеждена. Не допустят. Что говорят у вас на фронте, Долгухин?

Долгухин, высокий, долговязый, с усами, которые очень меняли его лицо, вскочил по привычке, одернул гимнастерку и вытянулся перед Полиной Аркадьевной, словно собрался отвечать урок.

— Вы совершенно правы, Полина Аркадьевна: у нас на фронте даже мысли быть ни у кого не может такой, чтобы немец в Москву прорвался...

— Да ты сядь, сядь, прежде всего сядь! — быстренько проговорила Полина Аркадьевна. — Ну, что встал? На экзамене, что ли, в самом деле? Удивительный народ! В классе тебя с места из-за парты лебедкой подымать надо было, а тут, извольте полюбоваться, взгромоздился. Нате вам! Так и просится сказать: садитесь, удовлетворительно.

Долгухин сел, окончательно переконфуженный. Товарищ его, лейтенант, покатывался со смеху.

— Ей-богу, Полина Аркадьевна, я вас по-старому боюсь.

— Да не очень ты что-то раньше боялся.

— Ну, как не боялся! Порядком трусил. А теперь, знаете, еще дисциплинка. Привык.

— Ага! То-то! Попал! Говорила я вашему брату: готовьтесь к армии, со школы готовьтесь... Слушай, Крупицына, — повернулась она ко мне, — это ведь в вашем интернате Малинин был, из пятого «А»? Что это за история? Меня уже отец его с фронта запрашивал. Бесследно исчез. Жаль! Неуравновешенный паренек, но сообразительный, с головенкой. Очень жаль. Сгинуть сейчас легко. Как пылинка, затеряется.

Я не знала, что сказать, чувствуя себя отчасти виноватой в исчезновении Игоря. Хорошо, что Полина Аркадьевна уже опять заговорила с Долгухиным, настойчиво выпрашивая его о разных фронтовых делах.

Она слушала внимательно, потряхивала рьяно головой, словно клевала, как зернышко, каждое слово Долгухина.

— Молодец ты у меня, Долгухин! Молодчина! Хорошо. Одобряю. Наша школа трусов не выпускает. Нет!

Улучив момент, я тихонько спросила у Долгухина, не встречал ли он где-нибудь на фронте под Москвой кавалеристов генерала Павлихина. Но он ничего не слышал о них.

Одновременно с коротким стуком дверь приоткрылась, и вошел новый гость. Это был высокий, очень худой человек, обросший большой бородой, с воспаленными глазами, близоруко смотревшими через толстые очки. На нем были ватные штаны, стеганая куртка; на голове ушанка.

— Добрый вечер, друзья, — глухо проговорил вошедший. — Я полагал, сегодня никто не придет. А все-таки прямо со станции непосредственно сюда направился...

Полина Аркадьевна всмотрелась в него, приподнялась и медленно опустилась на стул:

— Евгений Макарович... Родной... Голубчик... Вы?

— Я, Полина Аркадьевна, я! — проговорил математик и осторожно прикрыл дверь. Он двигался так, как будто каждое движение доставляло ему сильнейшую боль.

— Евгений Макарович, родной, голубчик мой! — еще раз торопливо проговорила Полина Аркадьевна и, сидя, схватив его за локти маленькими крепкими руками, подтащила к себе, притянула за плечи, нагнула и крепко поцеловала в обе щеки. — Да сядьте же вы, сядьте, вы же еле на ногах стоите!

Она усаживала математика, а тот все стоял и оглядывал счастливыми и как будто не узнающими всех глазами учительскую, шкафы и нас, привычно вставших при его появлении.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте... А уж тут столько слухов было! Погиб, умер, в плен попал... Каких страстей только не наговорили! Ох, эти болтуны!

— Да чего же рассказывать... Много надо рассказывать. В ополчении я был, как вы знаете. Тяжелые бои... А тут прорыв под Вязьмой. Кое-как я выбрался из окружения. А многие там... остались... Самарина помните из горно? Погиб. Шмалевич тоже... А я вот пешком... Кое-как. Только сейчас добрался. Спасибо, бойцы подвезли. Вспомнил, что наш день. И — прямо в школу. А тут вы... — Он посмотрел на Долгухина, на меня. — А многие из десятого класса на поясе укреплений. Говорят, тоже... Ох, не надо было мальчиков туда пускать! Не надо, не надо... Шура Шабров — какие способности, за один год два класса у меня прошел! И что же? Не надо было пускать...

— А Рому Каштана не встречали там? — спросила я. — Он тоже на укреплениях.

— Не встречал... не слышал.

Он сидел, низко опустив голову, сморкался в грязный платок и протирал очки, не снимая их. От него пахло сырой землей, махоркой, и трудно было узнать в этом заросшем, прокуренном человеке нашего математика, всегда аккуратно застегнутого, тщательно выбритого, пахнувшего одеколоном...

Стало очень тихо, и никто не знал, что надо говорить. Так мы сидели некоторое время и не заметили, как в комнату вошел еще один гость. Он был высокий, плечистый, в военной форме, с фронтовыми нашивками полковника на шинели.

— Так что же, товарищи, разрешите с наступающим праздником вас!.. — произнес он раскатистым, звучным голосом, от которого все в комнате пришло в движение.

— Товарищ Зарубин! — воскликнула Полина Аркадьевна. — Михаил Стратонович, милости прошу! Вот уж не ожидала, правда...

— Что ж, значит, я гость нежданный, незванный... Честь имею! — отковырял он нам и по очереди крепко пожал всем руки.

Я узнала его. Это был секретарь нашего райкома партии. Он каждый год непременно бывал участником наших Октябрьских вечеров и хоть на полчаса, но заглядывал к нам в этот день.

— Закон есть закон, дорогая. Обычай остается в силе. Нет, думаю, надо к Полине Аркадьевне в школу навеститься. Правда, не ожидал застать кого-нибудь тут. Но, оказывается, не один я на свете законник. Вот нашлись и другие, вспомнили. Это хорошо. Нам забывать свои обычаи не след. Немец у нас память не отшибет.

Он был чем-то очень обрадован, глаза у него возбужденно сверкали, и, сняв командирскую фуражку, аккуратно поставив ее козырьком вниз на столик в сторонке, он, довольный, поглаживал свою лысину.

— Какой вы сегодня парадный! Может быть, вас уже в генералы произвели? — спросила Полина Аркадьевна.

— Ну, что вы! Торопитесь, Полина Аркадьевна. Пока еще полковой комиссар. Хватит. Больше не выслужил. Погодите! — воскликнул он, оглядывая комнату. — У вас что, радио тут нет? Как же это так? Оторвались от культуры. Значит, вы еще не знаете?! Эх, вы! Да я

слышал сейчас такие слова, Полина Аркадьевна, что после этого дышать легче стало! Я сам сейчас оттуда, с торжественного заседания.

— А где же оно было? — спросила я, не удержавшись.

— Ну, это не важно, где, — отвечал Зарубин, лукаво поглядев на меня. — Могу только сказать, что не на небе и не на земле. Вот и решайте сами.

Мы долго расспрашивали Зарубина, допытывались всяких подробностей заседания. И он, вынув из кармана книжечку, читал нам то, что записал на торжественном заседании. Но где же оно сегодня могло состояться? Не на земле и не на небе, сказал Зарубин... Я никак не могла догадаться.

По традиции наших школьных вечеров, Зарубин всегда произносил речь или что-нибудь рассказывал из своей богатейшей жизни.

Мы стали его просить не нарушать обычая и в этот день.

— Ну, разве чтоб не нарушать, — сказал Зарубин и встал, прокашливаясь. — Речь так речь, товарищи! Только вместо речи можно вам про один случай рассказать? Шел сюда, думал о вас, молодежь, и вспоминал. Вот зажал нас сейчас очень крепко немец — что говорить, теснит нас! А мы знаем: судьба у нас все равно впереди просторная. Нас не зажмешь! Мы привыкли к размаху, к широте. За этот простор в жизни своей сейчас наша молодежь на фронте геройствует. Нет! Нам Ленин жизнь так распахнул настежь, что уж обратно в тесноту нас никто не загонит. А был я вот как-то в заграничной командировке — оборудование ездили мы закупать. Вот зашел в один магазин. Непромокаемый плащ купить себе. А продавец, мальчонка совсем, лет шестнадцати, узнал, что покупатель из СССР. Примеряет на меня плащ, а сам все говорит, все спрашивает, как ему бы к нам податься. «Посмотрите, говорит, дорогой господин, на всю мою судьбу. Вот она тут вся. Видите, вон у того прилавка старший приказчик стоит? Вот, если он помрет, так меня на его место поставят, повышение дадут, а может быть, и кого-нибудь другого. Но пока мне обещано. Вот от меня до него четыре метра, говорит. Вот вся моя карьера, жизнь. От этого прилавка до той конторки. Это в лучшем случае», — говорит. Посмотрел я, и жутко мне стало, друзья. Очень уж это наглядно... Действительно, четыре метра, вот и вся дорога. — Зарубин остановился и как бы отмерил глазами эти четыре метра. — Четыре метра на всю жизнь... А у нас с вами, дорогие товарищи, на все стороны простор — не дотянешься. Правда, немец у нас не одну сотню километров сейчас отхватил. Но ведь это что? Мы же с вами понимаем. Мы-то еще плечи не расправили, четверть силы не показали, а он уж на цыпочки вытянулся, чтобы до Москвы дотянуться, достать... Вот почему-то я сегодня об этом все думаю... Ну, Полина Аркадьевна, с праздником наступающим! И вас, товарищи. Я поехал. Счастливо вам!

Он надел фуражку, застегнул шинель, заправил складки за кожаный пояс и оглядел учительскую.

— Отопление не ремонтировали в этом году? — спросил он. — Ничего, Полина Аркадьевна, и отопление отремонтируем, и непременно надстройку сделаем. Зал гимнастический необходим, совершенно необходим! Будем строить, немного обождите. Будем, Полина Аркадьевна! Ну, всего.

Фронтвики откозыряли ему, вскочив, а математик, порывисто, крепко пожав Зарубину руку, с тихим восхищением сказал:

— Завидую! Из железа вы все, что ли?

— Что вы, что вы! — отмахнулся Зарубин. — Самые мы обыкновенные, из нормального человеческого материала.

Он открыл дверь и столкнулся в ней с кем-то. Оба извинились друг перед другом. Новый гость уступил почтительно дорогу Зарубину, а потом из темноты коридора ворвался в учительскую.

— Ромка!.. — закричала я вне себя от радости.

— О-о!.. Какое общество! — как ни в чем не бывало заговорил Ромка. — Здравствуйте, Полина Аркадьевна. И Крупицына тут! Здравствуй, Сима... О-о, смотрите, Юрка здесь! Как говорили древние римляне, пришел на форум, а там полный кворум. Э, да ты, Юрка, уже

старший лейтенант! Смотри, когда маршалом станешь, позвони, не забудь!

— Оглушил, совершенно оглушил! — говорила Полина Аркадьевна, затыкая уши.

— Сима, — продолжал Ромка, — а мне ребята говорили, что ты переменяла наш умеренный климат на более тропический... Нет, смотрите-ка! Явилась. А я-то думал, что я один буду умница. Удивлю-ка, думаю, Полину Аркадьевну. Докажу ей, что и в эту грозную годину меня влечет невольно к этим берегам неведомая сила... Я узнаю родимые края, здесь все напоминает мне мои незабвенные «неуды», «уды», «хоры». К сожалению, воспоминаний об «отлично» не нашлось...

— Ну, зачем? Что ты на себя клеветешь, Каштан? — рассердилась Полина Аркадьевна. — Что за болтун! У тебя же очень часто были отличные отметки, если не считать последнего полугодия.

— Да ну? Были? — весело изумился Ромка. — Скажите пожалуйста! И почему это плохие отметки помнятся лучше, чем хорошие? Скромность всегда меня губила...

Приход Ромки сразу оживил нас всех. Он рассказал, как они работали на укреплениях, а потом с трудом добрались до Москвы. Многие так и не вернулись оттуда...

Долго мы сидели в тот вечер вместе с нашим директором в учительской, пока наконец Полина Аркадьевна, взглянув на часы, не сказала, что скоро наступит комендантский час и нам пора идти восвояси. Долгухину с его товарищем надо было возвращаться в часть. Математик Евгений Макарович заторопился к себе на квартиру, где он еще не был, потому что вся семья его была в эвакуации. А мы вместе с Ромкой Каштаном, простившись со всеми, пошли по домам.

Когда мы вышли на улицу, радио заканчивало передавать сообщение о торжественном заседании, посвященном 24-й годовщине Октябрьской революции. Мы шли, прислушиваясь.

— А где же все это происходило? — вслух соображала я. — Не на земле и не на небе, говорит Зарубин.

— Значит, под землей. В метро, говорят. Здорово все это! Верно?

Мы долго шли в темноте молча, задумавшись. Потом Ромка сказал мне:

— Не ожидал я тебя в Москве застать. Ты что же это, улепетнула?

— Улепетнула.

— Молодец! Хотя, конечно, тут сейчас рискованно быть... — Он помолчал. А я в это время споткнулась в темноте и чуть не упала. — Ну, давай я тебя под руку возьму. Знаю, знаю, что ты этого не любишь. Хоть пора было бы уже глупости эти еще в шестом классе оставить.

— Давай лучше я тебя возьму, — предложила я.

Он отставил руку бубликом, и я оперлась на нее.

— Ты обо мне хоть когда-нибудь вспомнила, Сима? — спросил неожиданно Ромка.

— Сколько раз!

— Ну, и на том спасибо... Слушай, Сима... — Он понизил голос. — Можно мне тебе сказать одну вещь, но дай слово, что это абсолютно никому... Тебе можно доверить?

— Ну, если не доверяешь, можешь не говорить.

— Ну, это я так. Я верю. Иначе бы я не начинал... Я в особой группе. Я уже давно вернулся с укреплений. Мы тут живем под Москвой. И обучаемся... Ну, словом, подробности я тебе не могу говорить. Даже тебе. Могу только сказать, что я теперь радиотехнику знаешь как освоил!

— Кто там? Кто там гуляет? — раздался голос патрульного возле нашего дома. — Идите домой, граждане. Время подходит. Конец хождению по городу. Это там кто?

— Герой Советского Союза Роман Каштан и заслуженный деятель искусства, науки и мануфактуры Крупицына Серафима! — громко отвечал неисправимый Ромка.

Глава 24 Судьба Игоря Малинина

Я проснулась на другое утро от тяжелого грохота орудий. «Неужели тревога? — подумала я. — Так рано?..» А мне хотелось в этот день полежать подольше в постели. Был праздник Седьмого ноября, день Октябрьской революции. В комнате было холодно, дом не топили. Я лежала, вспоминая, как хорошо мы проводили в прежнее время этот день.

А за окном над Москвой гремели залпы. Но это не было похоже на яростно-торопливые такты зениток. Пушки били мерно, с ровными интервалами, как будто непреложно утверждали: «Быть тому!» И эхо залпов перекатывалось в улицах: «Быть-тому! Быть-тому!»

В соседней комнате говорило радио. И наш жилец, майор Проторов, подбежал к моей двери и распахнул ее, крикнув мне: «Слушайте, Сима, слушайте! Парад на Красной площади. Понимаете, на Красной площади! Вот это здорово. Это Гитлеру оплеуха. Это на весь мир дело».

И снова праздник стал праздником. И весь день я ходила как именинница.

А вечером мне пришлось выступать в клубе зенитчиц. Он помещался глубоко под землей. И девушки-зенитчицы громко аплодировали мне. Все-таки ведь наша картина тоже напоминала о том, как губельна для врага Москва, даже если враг дошел до нее.

На фронте под Москвой наступило как будто короткое затишье. Враг медленно нажимал на дальние подступы к Москве и, видно, готовился к решающему прыжку на город. Это все понимали.

В конце ноября утром ко мне пришел наш комендант Ружайкин.

Меня сразу встревожил его приход. Уж не собирается ли, чего доброго, комендант эвакуировать меня силком?

В руке Ружайкин держал желтый конверт треугольничком.

— Вот какое дело, Сима, — озабоченно начал Ружайкин. — Малинина след объявился, из двенадцатой квартиры, Игушки этого самого. Вот на, прочти.

Я схватила желтый конвертик из оберточной бумаги, вытащила из него исписанную крупными, неровными буквами разграфленную страничку, выдернутую, должно быть, из какой-то конторской книги, потому что сверху в графах стояло: «Количество поштучно», «Процент к общему количеству», «Итого»... И я прочла:

«Коменданту домового правления дома 17.

От Шубиной Арины Парфеновны.

Пишет вам Шубина Арина Парфеновна. У меня находится ваш мальчик из дому № 17, квартира 12. Он был большой. Болел, похоже, тифом. Он был у одной молочницы в холодном сарае. Совсем пропал. Есть такие еще люди — не имеют сожаления. И нет сознательности. Он отстал от поезда, когда эвакуировали. А я, конечно, его взяла, приютила, выходила. Фамилие его Малинин. Звать Игорь. Он из вашего дома. У него отец на фронте: командир. А я живу сейчас в Кореванове при музее, как моя квартира в Москве была разбомбленная. Средств у меня нет. Мальчик раздетый, разутый. Питание тоже слабое. Ему нужна поправка. Не знаю, куды мне с ним податься. Может, надо ему пропуск выправить в Москву. Окажите ваше сочувствие, чтобы дать помочь.

К сему остаюсь Шубина».

— Что делать будем? Каково будет решение? — спросил Ружайкин.

— Я сейчас же туда поеду, — объявила я. — Дайте мне справку из домоуправления, а майор Проторов мне через военкомат устроит пропуск. В эту зону без пропуска же нельзя, я знаю.

— Ты смотри, Сима, сперва разузнай хорошенько, что в той местности делается, а то ненароком угодишь, как не надо... Или стой, я тебе провожатого сыщу какого... Как же ты так, одна... Стой!

Но я помчалась хлопотать.

Немало труда стоило мне получить пропуск. Майор Проторов, сняв фуражку и держа ее двумя пальцами за козырек над головой, долго скреб мизинцем бритую макушку, прежде

чем согласился со мной и пошел выправлять мне разрешение на выезд в зону Кореванова. Вручая мне пропуск, он посоветовал ехать сейчас же, не откладывая на завтра, и быть осторожнее, а главное, не задерживаться там...

Ромка Каштан, узнав о моем намерении отправиться в Кореваново, нахмурился:

— Слушай, Сима, это ты совершенно зря делаешь. Ты, верно, себе неясно представляешь, в каком положении Кореваново находится. Это очень близко от фронта. Тот берег канала... Вообще я бы не рисковал. Если б меня отпустили, я, конечно, проводил бы тебя, но мне и заикаться нельзя.

Но я слышать ничего не хотела. Так была я рада, что Игорь нашелся! Я решила тотчас же привезти его в Москву. Он, наверно, ослабел после болезни, и ему нужен особый уход.

— Ну, как знаешь, Сима, — сказал расстроенный Ромка. — Тогда уж не откладывай, быстрее собирайся. Сейчас каждый день, а может быть, каждый час на счету. Уж ты поверь мне. Я знаю, что говорю.

Он оглянулся, плотно прикрыл дверь, подошел ко мне вплотную и шепнул на ухо:

— Слушай внимательно, Крупицына. Этого нельзя говорить, нарушение, но тебе я скажу. Мы выступаем... Тихо! — Он поднял палец, заметив мое вопросительное движение. — Больше тебе знать ничего не надо. Выступаем, и все. Ясно? Но в случае чего — помни. Я там буду не очень далеко. Постарайся запомнить. Первое: на левом берегу канала, за пятым шлюзом, — и он прошептал мне подробности места, где он будет находиться, — или ваш островок... Кстати, позывные «Марс». Если где услышишь, знай — это я. Ну, и будь здорова. Зря едешь... А за меня не беспокойся. Я все переживу, кроме смерти!

Поезда до самых Борок уже не ходили, но меня по моему пропуску довели на грузовике какие-то красноармейцы. Чем ближе я подходила к Кореванову, тем сильнее и меня охватывало чувство особой настороженности, которая наложила отпечаток на всю эту округу.

Людей почти не было видно. Тянулись колья, опутанные колючей проволокой. Кругом шли рвы с крутыми срезанными краями.

Часто под голым кустом что-то начинало шевелиться, и вдруг я замечала там нору, из которой на дорогу внимательно глядели два глаза и черная дырка пулеметного дула.

И вдаль что-то непрерывно ворочалось, перекачивалось. По всему горизонту, осеннему, неприятному, глухо дубасил неумолчный гром. Это не было похоже на drobный перестук зениток во время воздушной тревоги. За горизонтом шла какая-то тяжелая, трудная, погромыхивающая работа, не затихающая ни на минуту.

Я знала — там фронт.

Интересно все-таки, каков же он, этот фронт? Сколько ни слышала я рассказов о нем, представить себе точно фронта я не могла. Ну, как это?.. Вот поле, там немцы, а здесь — наши. Что же, на земле линия какая-нибудь прочерчена?..

И все-таки я чувствовала, что тут фронт где-то уже близко, и вон за тем горизонтом, там, где неумолчно грохотало за холмами и перелесками с кустами, заиндевелившими в сегодняшних ранних заморозках, шла война.

Немножко все это было похоже на приближение к морю... Да! Я почему-то вспомнила, как в первый раз подъезжала к взморью. Мне не терпелось тогда скорее увидеть море, и казалось, что все вокруг уже таит в себе какую-то связь с ним. Никогда еще до того дня не видела я моря, а столько слышала, так часто читала про него. Какое же оно, это море, про которое так много говорят люди? Река с одним берегом, вода до горизонта. Вот, это начинается там, за холмами, сейчас я увижу это — край света без суши, целый мир воды...

Так и теперь ждала я, что сейчас, вон там, за пригорком, откроется то, о чем мы все беспрестанно думали, и я увижу огромный и страшный край, где все в сговоре со смертью и который зовется: война.

В Кореваново меня не пустили.

Оставалось уже совсем недалеко идти, но, когда я подходила к мосту через овраг, дорогу мне преградил часовой:

— А ну, поворачивай!..

Я показала ему пропуск со всеми нужными печатями.

— Сегодня уже недействительно, — сказал часовой. — Шла бы ты скорее отсюда, девушка!

Часовой строго оглянулся, посмотрел на горизонт, из-за которого слышалось громохание, и я подумала, что ему, наверно, тоже очень неуютно и одиноко стоять тут на дороге, среди поля.

— Иди, иди отсюда, — сказал он.

Я побрела обратно, решив обойти это место сторонкой, а оттуда пробраться в Кореваново. Пришлось идти через лес; было холодно, и с голых деревьев падал иней. Звуки близкой войны отдавались здесь громче, чем в открытом поле; иногда казалось, что вот только пройти за те дальние деревья, а на лужайке уже и будет самый фронт. Это было очень обманчивое ощущение.

Я уже собиралась выходить из леса, как увидела, что на опушке стоят красноармейцы. Значит, тут тоже, пожалуй, не пройти. Я пошла назад, свернула в сторону, решив сделать большой круг и выйти в Кореваново с противоположного края. Поднялся ветер, посыпала холодная колочая крупа с неба. Мне стало страшновато одной в лесу. Вдруг я услышала за собой осторожный свист. Он повторился, уже ближе. Кто-то догонял меня. Я остановилась ни жива ни мертва от страха.

— Добрый день, Симочка, — услышала я и, оглянувшись, узнала Васюку Жмырева. — В наши края подалась? А я смотрю, кто это по лесу плурует? Как же это ты сюда протыркалась? Сегодня уж не пускают.

— Слушай, Жмырев, — сказала я самым мирным тоном: сейчас не время было ссориться и сводить счеты, — мне в Кореваново надо. Как тут пройти?

— Идем со мной, я тут все ходы и выходы знаю. Давай сюда, сворачивай. Я впереди пойду, погляжу. Если никого нет, свистну, ты — за мной. А смелая ты, Симочка! Ей-богу. Ты вроде меня, я сам такой. Эх, оказала бы ты мне доверие, мы бы, знаешь, с тобой водились — на славу! Во парочка: графин да чарочка. А что нам с тобой бояться! Верно, Сима?

— Оставь! — оборвала я его.

Мне был отвратителен он сам и вся его повадка и ухмылочка, ставшая теперь еще более наглой. Если бы не Игорь, я бы, конечно, ни за что не воспользовалась его услугами. Но что тут было делать?.. Он действительно знал все ходы и выходы. И через четверть часа я уже отдыхала на табурете в сторожке музея, перед кроватью, на которой, свесив ноги, не достающие до полу, сидел похудевший, стриженный, бледный Игорек. Ариша, собирая нам чай, то и дело вбегала и убегала из горницы, успевая на ходу рассказывать мне самое главное.

— Вячеслава-то Андреевича чуть не силком увезли... Хотел при музее остаться. Смерть, говорит, приму под Москвой, — тараторила Ариша, накрывая стол скатертью, расставляя чашки — фамильные чашки Иртеневых. — Ну, отсюда-то многое вывезти успели, а многое, конечно, еще осталось. Да, я чаю, сюды и не придут — говорят, уже подале отшибли их...

Мы уже обо всем поговорили с Игорем, обо всем. А он все не выпускал моей руки из своих и перебирал похудевшими пальцами мои пальцы. Да, видно, крепко натерпелся он! Но каким негодяем оказался этот Жмырев! Правда, он помог ему убежать тогда от коменданта, привез к себе в деревню, но тут он сперва пытался замешать Игоря в свои темные дела, а когда тот не согласился, стал отнимать у него то платок, то рубашку, то пальтишко, сбывая их где-то. Когда Игорек заболел, Жмырев выселил его в сарай, заявив, что он в доме не может держать заразного. Хорошо, что Ариша случайно увидела мальчика у Жмыревых. Игорь узнал ее, вспомнил, как мы разговаривали с Аришей у развалин дома Расщепея, когда погибла Ирина Михайловна. Женщина сердобольная, тетя Ариша взяла его к себе.

Игорь был полураздет, но я привезла ему немножко вещей, полученных у коменданта, который где-то раздобыл их. Я решила немедленно взять Игоря в Москву. Но короткий

осенний день уже кончался, а нам надо было как-нибудь добираться до поезда. И мы решили остаться до завтра, заночевать тут, чтобы утром ехать с Игорем в город.

Быстро густели осенние сумерки на дворе усадьбы, и мрачен был заснеженный парк, а в нем — старинный дом с белыми колоннами, с наглухо закрытыми ставнями.

Далеко над горизонтом проступало зарево, то разгораясь, то угасая. Над головой высоко, где-то под самыми осенними звездами, ныли моторы самолетов.

Мы сидели в маленькой натопленной сторожке; шумел самовар; разомлевшая от чая Ариша лениво слушала наш разговор. Под столом пищал, вставая на задние лапки, стараясь передними дотянуться до скатерти, иногда уцепившись коготками, повисая на бахrome, маленький белый котенок с рыженькими пятнышками над розовым носом. Он тоненько мяукал и, когда ему бросали что-нибудь со стола, урча, утаскивал добычу в уголок и там ел, продолжая мурзиться.

— От дачников остался. Тут соседи были, — объяснила Ариша. — Они эвакуировались, а он потерялся было, а после пришел, остался бездомный. Ходил, ходил под окнами у нас, мяучил, мяучил, всю мне душу разбередил, ну я и его взяла.

— Его звать Эвка, — сказал Игорь, — потому что он тоже эвакуированный был, да потом убежал и вернулся. Вроде меня, — добавил он, смотря на меня хитрющими глазами, ставшими еще больше после болезни.

И каждый раз, когда Ариша выходила за чем-нибудь из горницы, Игорь, торопясь, шептал мне:

— Вот папа когда вернется, я ему расскажу, как ты ко мне хорошо относилась, Сима... Ты знаешь, Сима, ты мне лучше чем сестра. Вот как тебе Расщепей был, так ты мне. Честное слово! Я тебе всю жизнь буду во всем помогать. Знаешь, как я рад, что ты за мной приехала!

— Ну вот, а ты от меня сам убежал!

— Ты думаешь, Сима, я кто? Ты думаешь, я трус? Нет, я просто не мог вытерпеть, что вы мне не доверять стали... И потом, я хотел Москву защищать. А тебя что, за мной командировали?

— Командировали...

Игорь хитро посмотрел на меня:

— Ох, ты хитрая, Сима! Думаешь, я не знаю, какая ты хитрая? Ты знаешь какая? Ты такая: не просто хитрая, а ты выдержанная и тактичная, вот ты какая! Так все ребята про тебя говорят.

Глава 25 На отнятой земле

Ночью я проснулась от тяжелых и гулких ударов. Мне казалось, что пушки били теперь у меня над самой головой. Я открыла глаза. Шаль, которой было завешено окно, просвечивала какими-то бегающими огнями. Мне показалось, что два огромных глаза смотрят на меня, вперившись прямо в лицо. Они делались все больше и больше, и в комнате стало светло от них. Они приближались, оглушительно скрежеща и рыча. И вдруг исчезли. В комнате стало темно, наступила тишина, сквозь которую я услышала гулкую беготню во дворе, быстро переговаривающиеся голоса и топот многих ног.

И опять над самой головой раздались тяжелые удары. Теперь я поняла, что кто-то стучит кулаком в дверь.

— Тетя Ариша, тетя Ариша! — стала я будить Арину Парфеновну.

Она вскочила с лежанки, заметалась со сна и, крестясь и причитая, побежала к дверям:

— Кто там?.. Батюшки!

Сиплый голос пролаял за дверью что-то непонятное. И опять дверь затряслась от страшных ударов.

— Да, господи боже мой, сейчас отомкну, погодите вы! — бормотала в перепуге тетя Ариша.

Грохнула щеколда, пахнуло свежим воздухом, в сенях упало ведро, затопали крупные, мужские, тяжелые шаги, и мне в глаза ударил слепящий и колющий свет. Я зажмурилась. Но и закрыв глаза, я чувствовала, как по моим векам, по лицу скользит, словно ошупывая, луч электрического фонарика. Потом он соскользнул с моего лица. Я приоткрыла глаза. Вошедших не было видно в темноте. Только по полу, по кровати, по стенам скользили два светлых круга. Они сходились, разбегались, шныряли по всей горнице, и от них шли прозрачные конусы, острыми своими вершинами упиравшиеся в две ослепительные точки, которые то взлетали, то опускались. И свет фонарика выхватывал то край белой печи, то перекошенное от ужаса лицо Игоря, то вдруг в луче ярко загорался самовар.

— Свет нет? — раздался хриплый голос оттуда, откуда шел свет. — Русский зольдат нет? Это кто есть?

— Да детишки, господа солдаты, детишки, племянница с племяшкой, вы их уж не пужайте! Мальчик-то больной совсем, только после тифа.

— Зидеть тут, — рявкнул голос из-за фонарика, — зовсем тихо! Ходить никуда нет. Понимать?

— Понимать, понимать, — отвечала тетя Ариша.

— Зо! — крикнул фашист.

Фонари уперлись лучами в дверь, осветили щеколду, опять пахнуло холодом, дверь захлопнулась.

А на улице, во дворе, в усадьбе продолжалась какая-то возня, слышались слова команды, урчали моторы. Мы сидели онемевшие от ужаса. Только Игорь прошептал то, что было и так ясно:

— Немцы...

Никто из нас не заснул до утра. А когда рассвело, зябко и блекло, я тихонько приоткрыла на окне шаль и выглянула во двор. Все было заиндевевшим, роился в воздухе легкий снежок. Но мне показалось, что все выглядит уже не своим. И дом, на окнах которого все ставни были распахнуты и железные засовы висели словно вывихнутые, и сама осенняя, запорошенная снежком земля со следами чужих ног, обутых в ботинки, подбитые выпуклыми гвоздями. Ограда была проломана, прямо перед сторожкой стоял небольшой танк; башня его была повернута вбок, и орудие направлено в парк. На башне хорошо был виден желто-черный крест, а две маленькие и злые фары уставились на сторожку. Это их свет и видела я через шаль на окне. По двору ходил часовой. Другой стоял у колонн.

Как мы узнали потом, гитлеровцы глубоко вклинились на участке Кореваново и выбросили здесь свой танковый десант.

Мы были теперь отрезаны от Москвы.

Утром в сторожку заявился пухлый рыжеватый немец с маленьким красным носом пуговичкой и совершенно розовыми бровями.

— Здраз-твай-ти! — старательно прокартавил он. Верно, в его познаниях русского языка смешалось «раз-два-три» и «здравствуйте». — Я есть денщик обер-лейтенант Отто Штрупф, который есть штаб ваш большой дом. Надо вода, надо дрова.

Пока тетя Ариша накидывала телогрейку и шаль, немец разглядывал нас с Игорем.

— Здоров-поживаешь, мальшык и девошка. Я иметь также мальшык и девошка. Зо унд зо! — Он показал низко от пола рукой, потом немножко повыше. — Ви хейст? Звать имя?

Я назвала себя.

— О... Зима... Русский зима! Шреклик... страшно... Хватать ноз.

Он громко засмеялся, выставив редкие зубы, и сделал пальцами около своего носа, словно взмахнул ножницами:

— Шик-шик... ноз нет. Зима.

— Нос боится отморозить, — тихо объяснил мне Игорь.

И солдат ушел, покровительственно хлопая ладонью по спине тетю Аришу, которая повела его к колодцу.

Так мы оказались у фашистов. Двор усадьбы перегородили забором из колючей

проводами. Там всегда стояли часовые. Подъезжали юркие, низенькие серые машины с приплюснутым туловищем и длинным, узким, опущенным спереди мотором. Они были похожи на огромных приносящихся крыс. Выходили из машин какие-то офицеры. Солдаты что-то дважды гавкали. Офицеры скидывали руки, как семафоры.

Мы старались не показываться на улице. Я видела, что Кореваново оцеплено, тщательно охраняется, — о побеге нечего пока было и думать.

На другой день толстый денщик опять явился к нам сияющий и сказал:

— Скоро ехать дальше! — Подмигивая, он махнул рукой по направлению к Москве. — Москва капут! Фью! — И он сделал в воздухе такой жест, словно зачеркивал что-то.

— Врет все! — зашептал мне Игорь. — Просто агитирует.

Все же это было самое страшное. Нам казалось, что фронт, перемахнув через места, где мы находились, откатывал свой грохот все дальше и дальше к юго-востоку, все ближе и ближе к Москве. Но потом звуки фронта как бы остановились. Они не удалялись и не приближались. Утром они были там, где были вчера вечером, и вечером мы услышали отзвуки боя на том месте, где раздавались они утром.

Днем гитлеровцы стали рубить старинную беседку и галерею в парке. Тетя Ариша побежала жаловаться обер-лейтенанту. Часовой не хотел пускать ее, но она так шумела и наступала на часового, упираясь ему в грудь обеими руками в толстых вязаных варежках, что часовой в конце концов вынул свисток и вызвал старшего. Старший узнал, в чем дело, пожал плечами и пошел за обер-лейтенантом. Тетю Аришу подпустили к крыльцу. Она стояла там, сердитая, и кричала вслед ушедшему немцу:

— Это же разве можно такое допускать? Это же вам не просто чай пить беседка. Ведь это же старина какая! Тут сам Кутузов сидел, а вы под топор! Нет у самого если образования; так главного своего спроси, а не самовольничай!

На крыльцо медленно вышел длинноногий обер-лейтенант. В первый раз я его разглядела как следует. Он был очень высок и тонок. Мундир у него был как будто непомерно коротким, а галифе нависали очень низко, поэтому казалось, что верхняя часть туловища насажена на нижнюю отдельно. Тетя Ариша, немножко присмирив, стала объяснять ему, что усадьба эта историческая, что тут везде, куда ни кинь, — все старина.

Лейтенант стоял, поеживаясь, потирая застывшие пальцы, и неподвижно смотрел на руки тети Ариши. Потом он согнулся, словно переломился, осторожно, двумя пальцами обеих рук, ухватил вязаные варежки, стащил их с тети Ариши, молча надел себе на руки, отставил их чуть в сторону, осмотрел критически и, не глядя на старуху, вернулся в дом. А тетя Ариша так и осталась с протянутыми руками стоять перед крыльцом.

Глава 26 Знаки Зодиака

К ночи нас выгнали из сторожки. Мы перебрались в маленькую пристрочку. Это была летняя кухня. Там стояла большая печь, но стены были тонкие, в одну доску, со щелями. А на дворе уже начинал лютовать декабрь. Выпал снег. Ночью у нас зуб на зуб не попадал от холода, хотя мы спали все вместе на печке одетыми, укрывшись чем только можно было. В кувшине на столе замерзла ночью вода. Игорь стал кашлять. Я очень тревожилась, что он опять разболеется.

А из чистенькой сторожки, где мы жили прежде у тети Ариши, доносился грубый хохот да пиликанье губной гармоники, на которой играл толстый денщик. За чем-то заходившая туда тетя Ариша вернулась, вся багровая от возмущения.

— Тьфу! — отплевывалась она. — А говорили, культурные! Ведь это что же такое?.. Глядеть только — и то с души воротит. Накурено, наплевано, не продыхнешь... А сами сидят телешом, в одних штанах исподних, на плиту сковородку поставили и вшей в нее с рубашек трясут. Да еще какое баловство придумали! Друг на дружку с себя вшей сощелкивают. А мне кричат: «Смотри, матка, в блошки играем. Рубль есть? Садись с

нами...» Тьфу, с души воротит!

Утром Игорь, придя с улицы, прикрыл наше маленькое окошко старой газетой (шалль тети Ариши уже носил вместо кашне денщик обер-лейтенанта), таинственно отозвал меня в сторонку и вдруг вынул из-под полы бумажку. Мы оба склонились над ней. То была партизанская листовка. В ней говорилось, что весь народ встал на защиту Москвы, защитники столицы твердо стоят на своих рубежах, а фашисты распространяют ложные, провокационные слухи о падении Москвы, и граждане не должны им верить. Скоро придет час расплаты с немцами под Москвой...

Игорь сказал, что такие листовки были расклеены сегодня ночью на многих заборах и сараях Кореванова. И немцы бегают кругом и сдирают их отовсюду.

Значит, наши действуют где-то поблизости, рядом, и среди них Роман Каштан. Я не забыла, что он сказал перед моим отъездом. Но как к нему было пробраться?

Я пока решила ничего не говорить Игорю, но стала обдумывать, каким способом можно установить связь с нашими. Я ведь знала места, где мог быть Ромка.

Игорь тем временем еще и еще раз перечитывал листовку, шевеля беззвучно губами. Должно быть, заучивал наизусть.

— А немцы их везде уже посрывали, — огорченно произнес он потом.

— Они посрывали, а мы с тобой их на место водворим, — шепнула я ему. — Раз уж попали сюда, давай хоть так действовать, Игорек. Согласен?

— Конечно, Сима! Давай действовать! — с восторженной готовностью согласился Игорек. — Знаешь, как мне действовать охота! Только где ж мы их достанем! Одна только, да и та уже порванная.

— А для чего нас с тобой Советская власть грамоте учила?

Я вынула из стеганки свою бригадирскую тетрадку, выдрала несколько страниц, плотнее завесила окно, проверила, хорошо ли приперта кочергой дверь.

— Ну, Игорек, бери карандаш. Быстро вдвоем перепишем, размножим. Только уж, пожалуйста, прошу тебя, без ошибок!

Мы взялись за работу. Переписывали по очереди: один писал, другой дежурил у окошка, следя, не подойдет ли кто из немцев к нашей пристройке.

Через три часа на деревьях, домах и заборах Кореванова белело не менее десятка маленьких листовок, мелко исписанных печатными буквами и приклеенных хлебным мякишем. Мы собрались уже идти к себе, но Игорек сказал, что он сейчас вернется, и убежал куда-то.

Я пошла к усадьбе. Навстречу показался тяжелый немецкий грузовик. Посторонилась и сошла на обочину дороги, чтобы дать проехать машине. Да так и застыла там. На заднем борту кузова проехавшего грузовика белела наша листовка. Я даже успела прочесть первую строку: «К советским людям!»

Через несколько минут появился Игорек.

— Игорь! Это ты сообразил на машину?

— Видала? — спросил он, хитро прищурившись. — Здорово? А что?.. Пусть сами развоят. Я за них беспокоиться не обязан.

— Смотри, Игорь, чтобы этого больше не было! Ты что, попасться хочешь?

— Ладно уж, не буду, — протянул он и, пытливо взглянув на меня, лукаво подмигнул: понимаю, мол, обязанность твоя такая — ругать меня, а сама небось довольна.

Поздно вечером мы пошли в парк собирать хворост. И встретились там с Василием Жмыревым. Он, видно, поджидал нас.

— Слушайте, идите-ка сюда, — прошептал он, оглядываясь и подзывая нас к себе. — Вот что: слушайте, что я вам скажу. Тут с листовками этими может получиться форменная труба мне.

— Какими листовками? — спросила я, так и обмерев вся, но успев сделать удивленное лицо и осторожно тронуть локтем Игоря.

— Ну, будет тебе в жмурки-пряточки играть! — окрысился Жмырев. — Вам игрушки, а

для меня может выйти ерунда окончательная. Немцы с обысками кругом ходят, а у меня под печкой эти ваши бумажки лежат.

— Какие бумажки? — изумилась я, на этот раз действительно ничего не понимая.

— Стой, стой, Сима, я знаю! — вдруг догадался Игорь.

— Ну, эти... как их... — пояснил Жмырев, — которые на острове-то зарыты были, горископы, что ли.

— А как же они к тебе попали?

— Ну, как попали, как попали... Чего же тут долго разговаривать сейчас! Не время старое ковырять. Попали, и всё. Когда вы в прошлый год туда ездили, я часом подглядел. Вижу — копаются. Я думаю: чего это они там на острове роют? Взял меня интерес. Ну, я после на лодке сплавал туда и достал. Ерунда, в общем, — чего и закапывать-то было? Ну, думаю, для заведения приятного знакомства пригодится. А то больно некоторые чересчур гордые стали. А тут война началась. Все наперекувырк пошло. Я и забыл вовсе про эти дела. Хотел потом Игорю их вернуть — на шуту они мне нужны! Ну, а он больной был тогда. А теперь, понимаешь, лежат они у меня под печкой. А свободно может быть обыск. Скажут еще — агитация. Меня в это дело не путайте, а то...

— А боишься, так уничтожь. Что тебя, учить надо? Знал, как воровать...

— Что ты, Сима! — вмешался Игорь. — Зачем сразу уничтожать? Давай я лучше зарю, а потом, когда фашистов отсюда прогонят, мы достанем и прочтем и покажем всем пионерам, как они свои загадки выполнили в тот год.

— Ну да, стану рисковать я с этими с вашими бумаженциями! Шут бы их побрал совсем! — накинулся на Игоря Жмырев. — Вот взял я их на свою голову!.. Я и забыл совсем про них. А тут полез за печку, а они там.

— Ну, так сожги их, в конце концов! — посоветовала я.

— Зачем?.. Не надо! — негодовал Игорь.

— Да, «сожги»! — передразнил Жмырев. — Хорошо тебе говорить, а у нас в избе четверо немцев живут. Один больной, цельный день на скамейке лежит. Как я при них бумага жечь буду?

— Чего же ты хочешь от нас?

— А того хочу, чтобы вы их у меня забрали сами. Попадётся — вы в ответе. Я и знать ничего не знаю. Скажу, подкинули. Пройдет дело — ваше счастье. Только я сам выносить не буду. Тут через такую чепуху загремишь еще на тот свет.

— Ну что же, если он трусит, я пойду и незаметно возьму, — сказал нерешительно Игорь. — Можно мне, Сима?

Я была в затруднении. Проще всего, конечно, было оставить «загадки» под печкой у Жмырева. Но вдруг действительно будет обыск? Тогда Жмырев, конечно, не постесняется запутать нас, чтобы спасти свою шкуру. Фашисты к нам обязательно придерутся. А как вынести наши «загадки» от Жмыревых? В конце концов мы решили так: Игорь завтра пойдет будто бы за молоком к Жмыревым и возьмет с собой бидон. А Васька скажет, что молока нет, и незаметно сунет ему в бидон наши документы. Конечно, никто не заметит. Ну, а мы сожжем их у себя, в печке у тети Ариши. «Только сначала прочтем», — заявил Игорь.

Я все-таки очень волновалась, ожидая возвращения Игоря от Жмыревых. Его долго не было, и я места себе не находила от беспокойства. Дурак этот Жмырев! Вор и трус. От него можно было ожидать чего угодно.

Несколько раз порывалась я пойти к станции, навстречу Игорю. Но я понимала, что делать этого не надо. Сам Игорь сделает все один менее заметно. Наконец он явился. Уже по бледной, но сияющей физиономии его я поняла, что все прошло благополучно. Как я накинулась на него!

— Ох, Игорек!.. Игушка, ты лягушка отвратительная! Ну что ты так долго? Совсем ты меня извел тут. Уж я себя ругательски ругала, зачем я согласилась и позволила тебе идти...

— Ну да, зачем, — усмехался, дую на замерзшие пальцы, вылезавшие из рваных варежек, довольный Игорек, — сказала тоже! Знаешь, как я ловко все это обделал! Даже тот

больной фриц, который у Жмырева в избе валяется, и тот ничего не заметил. Знаешь, Сима, я думаю, мы лучше не сожжем, а почитаем и потом зароем где-нибудь.

Но этому уж я решительно воспротивилась. Я боялась, что немцы все же могли заметить, как Игорь всовывал бумажки в бидон. Да и Жмырев сам мог что-нибудь сболтнуть — веры ему у меня не было никакой.

— Нет, Игорек, — сказала я, — как ни жаль, а придется нам расстаться с нашими загадалками. Печка топится, давай сюда скорее, что принес. Сейчас не до игрушек.

Игорек вздохнул и стал открывать бидон, ворча, что все это совсем не игрушки, а пионерские документы и жечь их — это уж последнее дело. Я взяла у него из рук бидон, холодный и уже сразу запотевший, и поставила на шесток. Потом я закрыла газетой маленькое окошечко, глядевшее во двор, плотно прикрыла дверь и задвинула кочергу в ручку двери, чтобы нельзя было открыть.

Перевернув бидон вверх доньшком, я вытряхнула оттуда свернутые в трубку бумажки. Они вывалились из бидона, пожелтевшие, пахнущие сыростью, испещренные бурыми пятнами. Мы оба с Игорем склонились над ними, с нежностью перебирая бумажные листки, рассматривая слинявшие, выведенные цветными карандашами знаки Зодиака, и наспех пробегали разлинованные, аккуратно исписанные странички.

Первой попалась «загадалка» со знаком Водолея — Дёмы Стрижакова.

«Я загадал, что в учебном 1940/41 году:
Научусь понимать природу и Тургенева.
Запомню наизусть не менее пяти стихотворений Маяковского.
Приучусь выступать на сборах (короче).
Посмотрю не менее трех спектаклей в МХАТе и прочту биографию
Станиславского.
Напишу «Историю нашей улицы» для конкурса пионеров «Москва — сердце
Родины».
Сделаю не менее двенадцати больших, хороших дел (общественных).
Поправлюсь в лагере на три кило».

А вот почерк Люды Сокольской, значок — Весы:

«Активно стану помогать отряду в школе. Добьюсь доверия Симы во всем.
Налажу отношения с В. М. (Скорпионом).
Полюблю за этот год серьезную музыку больше, чем танцы. Вообще стану
меньше думать о внешности. Забуду навсегда Зину Н. из 8-го «Б».
Перестану бояться трудностей и препятствий в жизни, трусить темноты и
мышей (за крыс в этом году еще не ручаюсь)».

Несмотря на то что в пристроечке нашей, после того как я закрыла газетой окошко, стало почти совсем темно, я все же заметила, как покраснел Игорь, когда я вытащила из кипы бумажек листок, исписанный угловатым, неровным почерком. Сверху стоял знак Козерога. И я прочла:

«Я загадал себе и твердо решил, что в учебном 1940/41 году:
Начну регулярно заниматься утром гимнастикой и сдам на пионерский
значок ГТО первой ступени.
Буду хорошим пионером и выполню все задания в отряде.
Начну с этого года готовиться в комсомольцы, чтобы заранее развить свою
стойкость и дисциплину. Достану и прочту книги про великих революционеров. А
также про Чкалова. Стану брать с них пример.
Не буду (тут было сверху вписано: «почти») иметь замечаний от Симы.
Пойму как следует устройство всего неба. Прочту все книги, которые даст по
астрономии Сима.
Научусь сочетать фантазию с тем, чтобы не врать».

Решу определенно, кем быть в жизни, на кого учиться после школы (на астронома, пограничника или автоконструктора).

Стану выдержанным, и у всех людей уважать личность. Начну уважать девчо... (зачеркнуто) девочек, относиться к ним по-товарищески и больше не считать их всех балаболками (кроме Шурки Т. из 5-го «Б»).

Выработаю твердый характер и исправлюсь по арифметике, чтобы иметь в году по этому предмету «хорошо».

Последнее слово было сперва подскоблено, потом зачеркнуто и написано еще раз твердой рукой.

— Смотри, Игорек, — проговорила я, — а ты ведь как будто немало выполнил из того, что загадал себе?

— Ну, Сима, — смущенно пробормотал он, — не все уж так, как задумал. Правда, насчет гимнастики и по астрономии — это у меня сбылось. А вот в смысле фантазии я все еще немного невыдержанный. Верно, Сима? Но я хотел это окончательно загадать как раз на следующий год.

Нет, не до того мне сейчас было, чтобы проверять, выполнили ли мои пионеры свои «загадалки». Но когда я теперь, в холодной, замороженной пристройке перебирала эти бумажки, освещенные шатким пламенем печи, на нас пахло чем-то таким далеким, родным и теплым, что у меня сдавило горло... Как они там, мои ребята, зодиак мои, без меня в далеком уральском интернате? Что они сейчас делают? Простили ли они мне бегство, получив мое письмо? Верно, им и в голову не приходит, что в эту минуту их вожатая тихонько проливает слезы над «загадалками» пионеров 5-го «А», а за тонкой дощатой стеной слышится лающая немецкая речь и декабрьский снежок нехотя ложится на отнятую у нас врагом землю.

— А сейчас, Игорек, придется все это в печку.

— Сима! — Игорек лег грудью на бумажки, собрал их под себя, заслоня руками, закинул голову, снизу умоляюще поглядывая мне в глаза. — Сима, дай я лучше спрячу! Я так спрячу, что никто...

— Нельзя, Игорек, ты пойми...

Он тяжело опустил голову и, сам не двигаясь с места, дал мне взять бумажки. Я собрала все листочки вместе, сжала их в руке и бросила в огонь.

Они вспыхнули. Пламя разом охватило их, и печная тяга быстро перелистала, развернула странички. На мгновение мы снова увидели знакомые значки, а потом пламя опало, обуглившись листочки чуть слышно зашелестели, опадая черным пеплом с золотой, раскаленной каемкой по краю, которая быстро пожирала остатки испепелившихся страниц. Затем, сперва став красной, погасла, остыла и эта кромка, и только маленькая кучка слабо шевелящегося, уже серого пепла осталась от наших «загадалок». Игорек смотрел прямо в огонь не мигая, только губы себе кусал. И потом кулаком осторожно провел по щеке, под глазом.

— Ну что ж, Игорек, — сказала я ему, — ну что ж делать! Вот горят наши загадалки. Но ведь то, что мы загадали в них, все давно уже исполнилось. И никаким огнем из нас этого не выжечь. Разве можно спалить то, что мы вообще себе в жизни загадали?! Ничего, Игорек, сгорели только бумажки. А у нас внутри все цело. Верно? Мы еще не то загадаем! И у нас еще не то сбудется, вот увидишь! Вот ты так рассуждай.

— Я рассуждаю, Сима, — тихо согласился со мной Игорь. — Я рассуждаю, — повторил он, словно решая на уроке вслух задачу, — я рассуждаю, только все равно жалко...

Весь день он ходил грустный, а потом сказал, что у него болит голова, и забрался на остывавшую печь. Я накрыла его всем, что у нас было. Но он все вздрагивал, кашлял и никак не мог согреться.

На другой день он поднялся бледный, с сизыми кругами под глазами. Я видела, что он опять заболевает. А у нас было очень плохо с едой — одна мерзлая картошка, небольшой

запас которой еще сохранился у тети Ариши. Я видела, что так Игорь долго не протянет. Все тоньше делалась у него шея, какие-то нехорошие тени легли вокруг губ, ставших совсем серыми, и огромны были глаза, которые теперь, казалось, занимали пол-лица. То и дело его начинало трясти.

Надо было на что-то решаться. Но как бежать с больным, ослабевшим мальчуганом?..

Днем Игорек вышел во двор: все равно в пристройке нашей было еще холоднее, чем на улице. Вскоре он явился замерзший, долго тер щеки, грел руки у печки, но я чувствовала, что его взбудрило что-то. И в больших серых глазах его появился блеск, похожий на тот, что всегда освещал прежде лицо Игорька.

— Сима, — быстро оглядываясь вокруг, сообщил он мне, — знаешь, что я тебе скажу, Сима, — можешь верить, можешь не верить: фашисты сегодня не в себе, какие-то полоумные. Я тебе говорю! Сейчас там ходил, вижу через окно — этот ихний длинный всякие бумаги на столе собирает, связывает и в какие-то ящики бросает. А пушки, слышишь, сегодня ближе бьют. И как пушка ударит, так этот длинный все в окошко посматривает. А потом машина подошла, денщик толстый и еще два солдата стали всякие вещи из дому выносить. И бумаги всякие и книги. Одну книгу толстую вынесли в синем переплете. А на нем знаешь что написано? Я прочесть успел: «Вся Москва на 1941 год». Я такую книгу у нас в Москве на Таганке, в Справочном бюро, видел. По ней эта самая справочная тетенька всё говорит про вокзалы, трамвай, кино... Я даже сперва испугался, как эту книгу вынесли. Думаю: вот это так да! Уж не в Москву ли они отправляются, раз с собою все справки берут? А потом вижу еще — выносят опять разные книги. А одна еще толще, и написано: «Весь СССР». Ну уж, я думаю, тогда, Сима, это что-то не так... Им и всей Москвы сроду не видать, а уж они себе «Весь СССР» загадали. А главное, я вижу, Сима, они все какие-то перепуганные. Все торопятся, друг на дружку тыкаются, к телефону бегают и всё в ту сторону поглядывают, где пушки стреляют. И знаешь, Сима, бумажки собирают да в печку, в печку! Вот и им жечь в печке теперь приходится. По-моему, Сима, они определенно драпать собираются отсюда. Пускай знают!.. А машины-то все едут совсем не в ту сторону, где Москва, а как раз наоборот. Вот ты выйди, Сима, да посмотри, если не веришь.

Он закашлялся, полез на печку.

— Я что-то застыл весь сегодня очень. Вот немножко полежу, обогреюсь, а потом опять пойду. Уж я там вызнаю, в чем дело.

Глава 27 **Декабрьская ночь**

На дворе уже темнело, когда я вышла посмотреть, что происходит в усадьбе. Холодный ветер бросил мне в лицо колючую снежную пыль. Где-то, как будто очень близко, ухали орудия. Мне показалось, что они сегодня бьют ближе и словно не в той стороне, где слышалось вчера, чуточку южнее. А может быть, просто ветер сегодня повернул.

Во двор то и дело въезжали машины, из них выскакивали офицеры, скрывались в подъезде дома, быстро возвращались обратно, и машины, взяв с места большую скорость, воя и гремя цепями, выезжали со двора. Я видела несколько раз, как все, кто находился на дворе, приостанавливались, замолкали и долгое время смотрели в ту сторону, откуда доносился какой-нибудь особенно гулкий орудийный удар. Потом все, словно востепенувшись, начинали еще быстрее грузить в машины ящики, чемоданы, бумаги... Двери в подъезде дома были распахнуты настежь. И никто их не прикрывал, впуская холод в комнаты. С окон большой гостиной были содраны шторы.

Нет, ей-богу, Игорь, кажется, был прав: они собираются драпать отсюда. Вот тебе и «Вся Москва», вот вам и «Весь СССР»! Видно, не те справки, какие они ждали, выдали им сегодня... Я еще боялась поверить тому, что немцы собираются бежать отсюда, но радость уже робко пробиравалась в сердце, полное смятения.

Толстый денщик, кряхтя, вынес большие чемоданы и погрузил их на подъехавшую

машину. Потом на крыльце появился длинный обер-лейтенант в шинели с поднятым воротником; на руках у него были варежки тети Ариши, я их сразу узнала по красным полоскам. Шею он обмотал толстым шарфом, похожим на купальное полотенце. Офицер что-то приказал солдатам, и они стали таскать охапками солому и обкладывать ими старый дом. Офицер вернулся обратно в комнаты, а солдаты все продолжали носить солому.

Очень быстро темнело, но за парком, по направлению к станции, небо стало багровым от близкого зарева. Порывы ветра доносили оттуда какие-то вскрики, журчащий треск огня. За верхушками деревьев парка в черном декабрьском небе роились искры. Я поняла, что горела станция. А сейчас немцы собираются зажечь Кореваново. Солдаты, обложив соломой старинные колонны, террасу, тащили охапки к сторожке и к нашей маленькой пристройке. Другие чем-то мазали стены дома. И в морозном воздухе запахло не то скипидаром, не то керосином.

В это время на крыльце снова появился длинный обер-лейтенант. Он что-то крикнул солдатам.

Двое из них, уже с факелами, за которыми волочились космы багрового дыма, подошли к дому. Я представила себе, как вспыхнет сейчас старинный дом, как обовьется пламя вокруг белых колонн, загорится сторожка, потом наша маленькая пристройка, где на печке трясется в ознобе больной Игорь. Что было делать? Как предотвратить все это? Полная непонятной решимости, я бросилась к крыльцу и оттолкнула одного из факельщиков — я уже сама себя не помнила от отчаяния.

— Что вы делаете! — закричала я. — Это же музей! Это же... Послушайте...

Я видела при свете качнувшихся факелов, как длинный офицер с ленивым любопытством прищурился в мою сторону. Солдат с факелом, которого я толкнула, схватил меня за руку и грубо оттащил в сторону.

И вдруг кто-то маленький разъяренно выскочил из темноты, кинулся в освещенное пространство к солдату и с разбегу обеими руками уперся в солдата так, что тот выпустил меня.

— Не трогайте вы ее!

И я вся похолодела, узнав Игоря.

Солдат бросился к нему, но длинный офицер что-то крикнул и медленно, как бы нехотя ступая длинными ногами, сошел с крыльца. Он взял у солдата факел и с тупой безразличностью рассматривал некоторое время Игоря.

— Что такое? — спросил офицер.

Он не спеша отдал факел солдату, снял с правой руки полосатую варежку и коротким движением от себя ударил Игоря по щеке внешней стороной кисти. Глаза Игоря налились слезами, розовыми от света факелов, он громко глотнул, но ничего не сказал. Офицер медленно отвел руку направо, повернул ее открытой ладонью в сторону и тыльной частью нанес удар Игорю по другой щеке.

— Ну, может быть, ты имеешь желанье еще один раз повторять?

— За что вы его? — крикнула я офицеру. — Что он сделал?

— Дурак вонючий, черт, фашист собачий! — вдруг со злобой еле слышно прошептал про себя Игорь. — Чего вы деретесь? — проговорил он уже громко.

Офицер размахнулся и ударил Игоря теперь уже наотмашь. Игорек отлетел в сторону, поскользнулся и упал на снег. Я кинулась к Игорю, зажимая ему рукой рот. А он силился подняться, отталкивая меня, и вызывающе-упрямо мычал мне в ладонь сквозь зубы:

— И дурак... Все равно дурак, сто раз дурак! Пусти!

Обер-лейтенант шагнул к нему, схватил за шиворот, а другой рукой вырвал из заднего кармана своих брюк пистолет. Я бросилась, что-то отчаянно крича, отталкивая руку с пистолетом, стараясь заслонить собой Игоря. И вдруг в нескольких шагах от нас с силой и страшным свистом рассекло воздух. Слепящий удар потряс землю, отбросил меня в сторону. Раздался чей-то вопль, послышались исполошенные голоса немцев. Тотчас же снова тяжело охнула вся земля под нами, бешено рванулся отвердевший воздух, я опять повалилась на

снег. И стало очень темно и тихо. Я почувствовала невыносимую боль в голове, и словно что-то обвалилось в моей памяти, потому что, когда я снова стала понимать, что происходит, вокруг нас были молчаливые высокие деревья. Где-то позади хлопали выстрелы, а я бежала, я тащила за руку спотыкавшегося Игоря, молча тянула его за собой. Над нами в морозном воздухе нет-нет да и цвиркало что-то и, как тяжелый жук сослепу, тыкалось, громко шелкнув, в ствол. И падала сбитая с дерева ветка. Кружилась от невыносимой боли голова, странно мягчели ноги, и каждый шаг стоил мучительного труда. И хотелось лечь прямо вот здесь ничком и больше ни о чем не думать — пусть будет, как будет. Но я чувствовала в своей руке худенькую руку Игоря, мне все слышался какой-то топот сзади, и я помнила одно: я должна увести отсюда Игоря, я должна выбраться скорее с ним из этой ночи. И я шла, переставляя из последних сил отяжелевшие ноги; боль разламывала голову. Я останавливалась, ела холодный снег с веток и снова шла. Только бы уйти прочь от тех, кто остался там, сзади, с факелами, только бы выбраться из морозной тьмы, которую раскалывали грохочущие вспышки разрывов! Я шла, все чаще спотыкаясь, иногда падая на колени, приподымалась, вставала и вела за собой Игоря.

— Сима, я больше не могу идти... — вдруг тихо сказал Игорь и сел на снег. А потом повалился ничком.

Но я не выпустила другой его руки из своей. Я тянула Игоря к себе, силилась поднять его. Я шепотом уговаривала, просила его:

— Игорек, встань, я тебя прошу! Ну, отдохни чуточек, и пойдем. Нет, я руку не отпущу... Вот так. Ну, отдохнул? Пойдем теперь. Тут где-нибудь наши близко... Идем. А то нас догонят и тебя убьют. Понимаешь, Игорек? Ну я тебя прошу, милый! Будь умницей. Ты же загадал, что будешь выдержанным. Помнишь?

Но он лежал, неловко вывернув поднятую руку, которую я продолжала крепко держать. Я знала, если я отпущу, у меня уже не будет сил нагнуться поднять его. Я чувствовала: если нагнусь, голова моя, налитая словно расплавленным оловом, потянет меня к земле, и я уже тоже не встану.

— Сима, ты иди, — услышала я. — Иди, Сима. Ты меня оставь. Я все равно больше уже не могу идти, а ты иди... Они тебя убьют, Сима... Иди, Сима, я правду говорю, иди...

И тогда я, стараясь не наклонять головы, держа ее чуточку запрокинутой назад, опустилась на колени и, перекинув через свое плечо руку Игоря, которую я так и не выпустила, другой рукой уцепившись за толстую низкую ветвь дерева, поднялась и заставила подняться Игоря.

— Ты вот опирайся на мое плечо, — слышишь, Игорек? — опирайся весь, крепче, не бойся. Ты только ноги вперед переставляй, а я уж тебя потащу, ты об этом не думай, не твоя забота...

Я чувствовала, как Игорек изо всех сил старается не опираться на мое плечо. Но его всего сотрясал озноб.

Он дрожал, задыхался и все сползал с моего плеча, все бормотал мне в ухо:

— Честное слово, Сима, иди лучше одна, пусти меня...

— Игорь, — сказала я ему, — перестань болтать ерунду! Слышишь, Игорек? Помнишь, мы с тобой говорили «об серьезных вещах»? Вот я тебе сейчас скажу, Игорь, одну серьезную вещь... Стой минуточку! Дай отдышусь... Вот так постоим... Нет, нет, ты не садись! Вот так, обопрись спиной о дерево. Погоди, что я хотела сказать тебе?

— Ты хотела... об серьезных вещах, — еле слышно отвечал Игорь.

— Да... Так вот слушай, Игорек... Я скажу тебе серьезную вещь: я хочу, чтобы ты был. Я тебя не брошу. Никогда! Понял? Ни за что! Сколько бы ты ни болтал глупостей, я не могу тебя бросить. И ты только подумай, Игорек: что бы я тогда сказала капитану Малинину?... Ну, отдохнули? Пошли.

— Ох, Сима, какая ты... — услышала я за своим ухом и почувствовала на своей шее горячее, срывающееся дыхание Игоря. — Ты сама не знаешь, какая ты, Сима.

— Нет, я знаю, какая я Сима. А ты молчи, Игорек! Ты не дыши ртом, молчи!

Да, я знала, какой я должна была быть в эту ночь! Я хотела быть такой: смелее, чем когда бы то ни было, сильнее, чем все мои силы, вместе взятые, потому что их оставалось совсем немного, а идти надо было далеко. Мне нужны были силы на двоих, со мной был Игорь, сын капитана Малинина. А я обещала капитану быть всегда вожатой для его сынишки. Будь уверен, Игорек, твоя вожатая не бросит тебя одного в этом лесу. Будьте спокойны, капитан Малинин: я доведу вашего сына до своих.

Наверно, меня очень шатало, потому что я то и дело стучалась о деревья то одним, то другим плечом. Я шла, стараясь определить свой путь по звездам. Пусть хоть тут пригодятся мне мои звездные знания. Снег перестал идти, тучи разошлись. Над нами вызвездило. Я уже давно нашла Полярную звезду, и так как местность была мне немного знакома, взяла направление в сторону водохранилища. Может быть, мне удастся разыскать Ромку Каштана. Я помнила место, которое он мне назвал перед моим отъездом из Москвы в Кореваново.

Все, что происходило дальше, путалось с тяжелым, иногда оглушительным бредом, в который я, очевидно, впадала, продолжая идти. Где-то за горизонтом полыхал бой. Иногда разрывы вырывали кусты совсем поблизости от нас. Игорь что-то спрашивал меня, с трудом шевеля губами, но я не помню, что я ему отвечала.

.....
И потом — большая поляна, белая от снега, залитая лунным светом. И вот мне кажется, что я уже не иду, уже не земля, а пол вагона-теплушки ходит подо мной... Нет, это качается земля под моими ногами, и от меня уходит поезд, стучат колеса, а вагон высокий, и что-то кричит мне Курбан, и ржут, топчут сверху лошади, а я несу на своем плече тяжело сползающего Амеда. «Су, су, воды!» — просит Амед. «Су, су, воды!» — шепчут травы и сухие листья. Но не догнать мне поезд, не подняться в вагон...

И когда по снежному полю, залитому холодным сиянием луны, мчатся навстречу нам всадники с гортанным криком «Йогее!», а на головах их — косматые шапки, я не верю, что все это происходит уже на самом деле, а не во сне. Все ближе и ближе кони, я, боясь еще поверить, но уже сердцем чуя, что это не сон, а правда, делаю навстречу два последних шага. На третий шаг у меня уже не хватает сил, ноги у меня подгибаются, я тяжело валюсь на колени, держа на плече руку Игоря. Всадники окружают нас.

— Товарищи! — кричу я им снизу. — Игорь! Это наши... Товарищи, вы не из части Павлихина?

— Павлихина, — отвечают мне, и я слышу знакомый выговор, — Павлихина. Кто такая будешь?

— Салам! Здравствуйте! Салам, джигиты! Амед Юсташев не с вами?

Тогда вдруг вперед вырывается высокий конь. В лунном свете он кажется бронзовым. Он заезжает круто вокруг меня, словно отгораживая нас с Игорем от всего страшного, что осталось позади, там, за лесом. Я вижу косматую шапку за вскинутой красивой головой коня.

— Дюльдьяль! — шепчу я.

Всадник резко склоняется ко мне с седла, лунная тень от черной косматой шапки закрывает ему все лицо. Сильная рука рывком вскидывает меня с земли на коня. И я узнаю совсем рядом с собой лицо старого Курбана.

— Курбан, Курбан! — повторяю я и смеюсь от радости.

А Игорь, которого поднял на седло другой всадник, все спрашивает, я слышу:

— Дядя, это место уже наше? Да? Это земля обратно взятая? Это наша земля?

— О Сима, Сима-гюль! — бормочет Курбан.

— Курбан, где Амед? — спрашиваю я, чувствуя что-то неладное.

И мне становится страшно: почему под Курбаном сегодня скачет Дюльдьяль? Я чувствую, как бережно и крепко прижимает мою голову к своему плечу Курбан. И вдруг что-то горячее смачивает мне щеку. От неожиданности я приподнимаю голову, и то, что я вижу, тяжело поражает меня: старый Курбан беззвучно плачет. Слезы катятся по его скулам, по крыльям горбатого носа, набегают на висячие усы. Отпустив мою голову, он срывает с себя мохнатую шапку и вытирает ею свое лицо и снова плачет, уткнувшись в нее.

— Такой джигит был!.. Умный такой! И сердце такое имел, как орел! Сам пошел. Хотел сам. Ой, Амед-джан...

Мне хочется знать все, но у меня нет слов, нет голоса, чтобы спросить.

— Курбан! Когда же это, как? — наконец говорю я, сама себя не слыша.

— Немец хотел шоссе брать, на Москву идти. Мы рейд делали. Большой бой получился. Амед в бою первый был. Разведку делал. Одного срубил, второго, третьего... Пять человек. Потом его пуля взяла. С коня упал... Теперь нет больше Амеда. Много нет. Табашников был, — помнишь, веселый? Нет Табашникова... Кербает Аман был. Тоже нет... Э, Сима... Какой джигит был! Ах, Сима-гюль! Другой человек не знает — ты знаешь, я знаю, Красная Армия знает, какой был Амед-джан...

Он снова крепко прижимает к своему плечу мою голову, придерживая за висок, ласково и печально говорит об Амеди. И закрытыми веками мокрых глаз, похолодевшими щеками я чувствую, как он бережно гладит меня по лицу своей шапкой.

Амед, Амед, милый, верный товарищ, как мало досталось нам дружить с тобой! Какая короткая у нас была дружба! И я плачу, горько и молча плачу, зарывшись всем лицом в душную косматую шапку Курбана. А под нами, то тревожно всхрапывая, то нетерпеливо пробуя копытом снег, тихонько ржет, слыша имя хозяина, осиротевший Дюльдяль...

Глава 28 «Земля» и «Марс»

— «Марс»!.. «Марс»!.. Я — «Земля»!.. «Марс»! Я — «Земля»... Я — «Земля»...

Я прихожу в себя, но мне кажется, что тяжелый сон этой ночи продолжается. И вдруг я вспоминаю, вспоминаю все... Нет, это не сон. Это действительно было: и мечущиеся факелы, и длинный немец с пистолетом, и бесконечный лес, и разрывы, и все то, что я узнала от старого Курбана на сверкавшей под луной поляне.

— «Марс»!.. Я — «Земля»!.. Отвечайте, отвечайте!..

В землянке, освещенной трофейной коптилкой, сидят на корточках у аппарата два командира. И радист каждые две-три минуты усталым, однообразным голосом твердит в микрофон:

— «Марс», отвечайте!.. Отвечайте, «Марс»! Я — «Земля»!.. Я — «Земля»!.. Перехожу на прием, прием!

Но «Марс» не отвечает. Всю ночь нет связи с «Марсом». Последняя весть, что пришла оттуда, — это было сообщение, что немцы готовятся взорвать плотину и шлюз. Так передал с «Марса» из-за спины немцев Роман Каштан. И тогда ударила на Кореваново, отрезая немецкие штабы от саперов, минировавших плотину, конница генерала Павлихина.

— «Марс»!.. Отвечайте... «Марс»! Я — «Земля»... Отвечайте...

Но молчит «Марс». Значит, и Ромка, веселый, никогда не унывающий, бесстрашный Ромка, все умеющий сдобрить шуткой, погиб в эту ночь? Он был за спиной у немцев со своей радиостанцией, вызвал к вечеру огонь, он дал указания артиллерии, чтобы били вдоль водохранилища. А сам остался там, чтобы направлять огонь. Остался в самом пекле, в огненном фокусе этой неумолчно гремящей декабрьской ночи, смысл которой станет для нас ясным позднее.

Я все время впадаю в забытие. Голова у меня налита болью. Я трогаю ее, и пальцы нащупывают бинт перевязки. Погодите, что это было?.. Это еще когда наша артиллерия накрыла немцев и снаряд ударил во двор Кореванова...

— Лежите, лежите спокойно, девушка, — говорит женщина в белом халате поверх тулупчика и что-то делает с моей головой.

А из угла по-прежнему доносится:

— «Марс»! Вызываю «Марс»... «Марс», отвечайте... Я — «Земля»... Я — «Земля»!.. Перехожу на прием... Пррием, пррием!..

Скорей бы кончилась эта ночь, скорей бы все это кончилось! Но тянется ночь. Идет и

долго еще будет идти война.

А на противоположной скамейке у другой стены землянки кто-то неспешно и тихо полусонным голосом рассказывает солдатскую легенду, может быть сегодня только сложенную бойцами под Москвой:

— Ну, значит, видит этот генерал, что не сдержать ему немцев, звонит по прямому проводу в Москву. «Так, мол, и так. Несу большие потери. Не могу больше сдержать, прорывается немец по шоссе». А из Москвы говорят: «Подержитесь, лично вас просим, еще сутки. Сутки еще выиграть надо. Тут у нас за эти сутки так все образуется, что будет вам завтра, безусловно, подмога. Но сегодняшней день сами держитесь». Дерется наш генерал эти сутки, держит рубеж. Через сутки уже нет никакой возможности удержаться. Опять звонит по прямому проводу: «Сутки выстоял, слово свое Москве сдержал. Больше не могу. Рвется немец к Москве. Жду обещанной подмоги». Отвечает Москва: «Первым делом спасибо вам, что слово держите. А теперь доложите, сколько вам танков надо, чтобы на этом участке немцев сдержать?» Тот прикинул: «Да штук пятьдесят минимум, никак не меньше!» Москва говорит: «Минуточку, сейчас мы тут свое расписание поглядим». Посмотрели там у себя и отвечают: «Берите на ваш участок двадцать штук и больше не просите». Получил этот генерал двадцать танков, поднатужился, отстоял с ними шоссе. А еще через день его к проводу сама Москва вызывает: «Товарищ генерал, а сколько вам танков требуется, чтобы как следует на вашем направлении по немцу ударить?» Подумал тот генерал, хотел попросить полсотни, да вспомнил вчерашний разговор, говорит: «Да тут не меньше танков сорока нужно». А Москва ему: «Это не размах, товарищ генерал: сорок танков для удара — это пустяк. Даем вам двести танков, а завтра получите еще триста. Берите. Теперь время!» Ну, и ударили наши! Вот немец от Москвы и покатился. Теперь погонят его...

— Кто же это все так разузнал? — сомневаются в углу. — Откуда это известно? Разговор-то никто тот не слышал!

— Да спроси бойцов, — обижается рассказчик. — Бойцы знают. Народу все известно.

А в углу всё спрашивают, уже безнадежно и привычно:

— «Марс»... Я — «Земля»... Отвечайте, «Марс»...

Прикорнул возле меня усталый, укутанный в чью-то стеганку, вздрагивающий во сне Игорек. Далеко где-то погромыхивают орудия. И вдруг кричит радист в углу:

— «Марс»?! Слышу вас! Слышу вас, «Марс! Я — «Земля!» Давайте, давайте текст шифром... Перехожу на прием... Прием, прррием!

И слипающимися от бессонницы, изнуренными, но счастливыми глазами глядит на всех:

— Отозвался «Марс»!.. Живой!.. Значит, есть там жизнь, на «Марсе»...

Глава 29 Можайский лед

«В последний час. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы...»

Какие слова! Какие слова! Только послушайте!

«6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери... Хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском».

Это сообщение я слышала уже в госпитале, в Москве.

Долго вспоминала я ту огненную декабрьскую ночь, когда меня в полубеспамятстве Курбан довел до землянки и Игорек, которого держал на скакавшем рядом коне другой павлихинец, все спрашивал, все-то спрашивал: «Дядя, вы только скажите, это место уже наше? Да? Это земля обратно взятая? Опять наша?»

Игорек в Москве быстро поправился.

Он жил в нашей квартире с майором Проторовым и часто навещал меня этой зимой.

Приходили письма от Ромки Каштана, который ушел в войска связи на фронт. Писали мне мои пионеры с Урала. Скучали о Москве, сообщали о своих тамошних делах.

А мне все снились та декабрьская ночь, Амед и конники-павлихинцы, скачущие в косматых шапках на белой поляне, льдисто сверкающей под луной.

Я выписалась из госпиталя к весне. И мне захотелось в первый хороший день пойти посидеть на Новодевичьем кладбище, у памятника Расщепею. Со мной, как всегда, увязался Игорек.

Голубое весеннее небо сквозило через розоватое каменное кружево на широких башнях монастыря. Пели птицы над могилами. Пробилась нежная и робкая трава около гранитного памятника из строгого, непреклонного камня Лабрадора.

А потом мы вышли на берег Москвы-реки. День был ясный, но с реки тянуло холодом.

Шел можайский лед.

И вдруг Игорь, тронув меня за руку, показал куда-то пальцем.

Среди реки, спираемое другими глыбами, медленно вращаясь, плыло ледовое поле. Снег стоял с него, обнажив ряды кольев, перевитых колючей проволокой. Что-то вспухшее, в зеленой шинели, лежало там. Перевернутая пустая каска вмерзла рядом в трухлявый лед, который теперь протаивал под ее тяжестью. Кружилось над льдиной воронье.

Шел можайский лед.

И по реке плыло последнее видение московской осады. А с берега уже отгребала лодка, лавируя между льдинами. На посту стоял человек с багром, готовый зацепить льдину, отбуксировать прочь и не пустить в черту города даже останки того, кто хотел, барабаня кригс-марш, шагать и топтать по Москве...

Шел можайский лед.

Глава 30 **Дайте свет!** **(Эпилог)**

Проходят еще три весны, три военных весны.

Я давно оправилась, хотя иногда, когда я очень устаю, еще проступают боли в затылке. Это не мешает мне много заниматься. Я посещала курсы и сдала экзамены за среднюю школу, а потом поступила в университет.

Давно уже вернулись в Москву мои всё мне простившие пионеры, но с ними мы теперь видимся не часто — только в дни занятий моего кружка в Доме пионеров да еще в госпитале, где мои пионеры навещают лежащих там подмосковных ребятишек, искалеченных фашистами. Со многими из этих ребят я сдружилась еще в ту пору, когда сама лежала там после контузии. Один вид их сперва заставлял меня не раз убежать из палаты и тихонько реветь где-нибудь в уголке. Но я заставляла себя возвращаться. Я занималась с ними, рисовала им, читала, рассказывала о земле и небе. Пригодился тут и мой опыт пионервожатой. Навсегда запомнилось мне, как я однажды рассказывала о звездах и вдруг десятилетняя девочка из недавно прибывших тихо и с потрясшей меня печалью сказала:

— А я уж никогда звездочек не увижу...

И худенькая, ослепшая от ранения девочка упростила меня еще рассказать что-нибудь о звездах. Ей важно было слышать о них, вспомнить их и знать, что звезды по-прежнему светят.

И все эти три года я не прекращала работы в госпитале. А потом, когда вернулись наши школьники, посоветовала и им взять шефство над ребятами из госпиталя.

Я учусь в университете, на астрономическом отделении физико-математического факультета. И очень увлекаюсь работами Тихова о растительности на Марсе. Отсутствие в спектре атмосферы Марса полосы поглощения хлорофилла, присущей лиственной

растительности, теперь уже не угнетает меня. Я не склонна верить мрачным утверждениям Аррениуса и готова разделить мнение тех, кто предполагает, что «пришельцев с Земли встретит на Марсе дружественный шум хвойного бора...».

Уже большая выросла тонконогая, похожая на белого жеребенка березка, посаженная мною на могиле Амеда, близ водохранилища. За ней ухаживает тетя Ариша и присматривает сам Иртеньев. Он пишет теперь учебник для суворовцев.

Давно приехали из эвакуации мои родители. Вернулся из армии после ранения отец Игорь, подполковник. Опираясь на толстую палку, прихрамывая, он тотчас же пришел к нам, взволнованно обеими руками тряс мою руку, молча, не находя сперва слов, а потом сказал мне так много хорошего, что мама растрогалась до слез, а я не знала, куда мне деться от смущения. Должно быть, Игорь очень уж расписал ему наши приключения в памятную декабрьскую ночь... Я виновато пыталась объяснить подполковнику Малинину, что ничего такого особенного не было и вообще мне решительно не удалось совершить во время войны ничего героического.

Но подполковник сердито прервал меня:

— Пустяки вы говорите, Сима, извините уж меня... Победа — это великий труд. Подвиг всего народа, Сима! А разве миллионы людей, которым даже выстрела близко не довелось слышать, не участвовали в войне, не разделят всеобщей славы? Помните, Сима, наш разговор осенью в сорок первом году? На Красной площади, у Мавзолея? Помните? Сберечь заветное? Ведь за это же мы и воевали. И вот вы мне Игоря помогли сберечь. Да, да, пожалуйста, я все знаю, молчите! Матери, учителя, вожатые — их подвиг в войне велик. Они нам помогли нами отвоеванное, самое заветное уберечь!..

И вот наступает 30 апреля 1945 года. Наши войска ведут бои уже в самом Берлине. Игорек достал где-то план германской столицы (боюсь, что он выдрал его из Энциклопедического словаря) и щеголяет названиями берлинских улиц.

А мне в этот день исполняется двадцать лет.

Ко дню моего рождения приехал в Москву Рома Каштан. В звездном календаре он все еще разбирается плохо, но день 30 апреля никогда не пропустит. Рома стал шире в плечах, но мало изменился. Странно только видеть на его лице гвардейские усы; впрочем, он обещает их вскоре сбрить.

И вечером 30 апреля, в день моего рождения, мы поднимаемся с ним на знакомую нашу крышу. Сегодня как раз в Москве должны сняться затемнение и убрать светомаскировку.

Как тщательно отмывали у нас сегодня в доме оконные стекла! Какие красивые занавески-гардины снова появились еще днем! Дворники обтирали любовно лампочки домового освещения — пусть светят во всю силу, не таясь, пусть ни один лучик не пропадет сегодня! Здрава голову, волоча длинные лестницы, ходят внизу озабоченные фонарщики. Они выглядят самыми важными людьми на сегодняшних улицах. Наш комендант Ружайкин весь день бегаёт по двору, командует дворниками, которые поднимают на фасаде дома гирлянды лампочек для иллюминации. А мальчишки во главе с Игорьком тащат по двору, сваливая в углу, вороха пыльных, сегодня уже никому не нужных синих штор. Слышится внизу крепнувший басок Игоря:

— Даешь растемнение!

Потом ребята тоже поднимаются к нам на крышу. Мы все с нетерпением ждем вечера. А он не спешит, медлительный и теплый. Лениво, томно спускается он с ясного неба на землю. И мы стоим вместе с Ромой Каштаном и нашими мальчиками на крыше и молча следим за тем, как в сгущающейся синеве зажигаются огни столицы. Вот вспыхнуло одно окно, потом другое, и засветилась вся Москва. Стремительно бегущими пунктирами мгновенно рассыпались огни над Москвой-рекой и повторились в ее зеркале. Словно серебряные луны, повисают над улицами новые большие фонари. Вчера еще темные, ущелья улиц сегодня превращаются в русла светоносных рек. Это шоферы там, внизу, на улицах, сняв маскировочные заслонки с автомобильных фар, дали «большой свет». Сияют глазищи многоэтажных домов. Светлоглазая, выстоявшая, победившая Москва миллионами своих

лучистых очей глянула в теплую предмайскую ночь.

А вдали, над башнями Кремля, все полнее, все ярче наливаются алым огнем звезды, не всходившие над Москвой тысячу четыреста семь ночей...

Мы стоим на крыше нашего дома, я и Рома Каштан, встречая вернувшийся вольный свет Москвы. И мне кажется, что сердце мое, колотящееся от необыкновенного счастья, тоже излучает какой-то теплый, веселый свет...

— Пойдем, Рома, пройдемся. Давно мы не ходили с тобой вечером по светлой Москве, — предлагаю я и протягиваю ему руку.

— Давно мы не ходили с тобой, Сима, — говорит Рома.

И, взявшись за руки, мы идем к лестнице. Мальчики двинулись было за нами, но Игорь деликатно отзывает их, и они остаются на крыше.

* * *

Остановимся, дорогой читатель, тут и мы.

Записки Симы Крупицыной, начатые ею ровно семь лет назад, 30 апреля 1938 года, этим днем кончаются.

Вот они идут вдвоем, взявшись за руки, Сима и ее верный друг Рома Каштан. Они идут по светлой, просторной Москве, и город гостеприимно раскрывает перед ними снова засиявшие просторы своих улиц. Им обоим еще надо так много сказать друг другу! Не будем мешать. Пусть идут уже без нас. Пусть затеряются в огнях и улицах весенней столицы. Таких, как они, немало сегодня в светлом городе Москве.

Пожелаем им верной и ласковой дружбы, в последний раз поглядим им вслед и тихо закроем за ними книгу.

Москва. 1943–1947

Послесловие

В детстве писателя Льва Абрамовича Кассиля средняя школа была отдельной: в одной гимназии учились девочки, в другой — мальчики. Конечно же, Кассиль Лев посещал мужскую гимназию, товарищами его по парте, по классу были, естественно, одни лишь мальчишки. И книги его, когда он стал писателем, рассказывали о них же, о мальчишках. И «Кондуит», и «Швамбрания», и «Черемыш — брат героя», и «Дорогие мои мальчишки» — всё они, мальчики, мальчики, мальчики...

Разве человечество состоит из одной только половины? Нет, раздался обиженный голос, мы, девочки, тоже существуем! Более того, мы просим, чтобы и о нас написали книги.

В самом деле, произведений, в которых действовали бы девочки, в нашей литературе было гораздо меньше. Можно сказать, что их почти не существовало. А как хотелось быть похожей на главную героиню книги, переживать ее радости и горести, ее приключения, стать на какой-то миг, пока читаются страницы, ну, хотя бы участницей киносъемок на основной роли!

Примерно об этом, кстати, сообщали Алексею Максимовичу Горькому его многочисленные детские корреспонденты в ответ на просьбу рассказать об их читательских интересах. Было это перед тем, как начало свою работу специальное издательство детской литературы, созданное по инициативе Горького. Об этом же заботился потом и главный консультант нового издательства Самуил Яковлевич Маршак.

Но одно — желать, другое — исполнить желание. Прошло много времени, прежде чем такая книга появилась на прилавках магазинов. Это была повесть Льва Абрамовича Кассиля «Великое противостояние».

Обыкновенная московская школьница Сима Крупицына превращается в ней в

Устю-партизанку, участницу Отечественной войны 1812 года. В горящей Москве она встречается с самим Наполеоном, а потом попадает в отряд Дениса Давыдова. Всё это происходит перед кинокамерой, рядом с которой стоит ни много ни мало, а сам Александр Дмитриевич Расщепей, народный артист СССР. Это он ввел в действие и начал снимать в своей картине «Мужик сердитый» простую московскую школьницу. Судьба ее несколько необычна и в то же время настолько правдива, что многие читательницы увидели в этом образе себя. Словно писатель проникся их желаниями, узнал их тайное тайных и рассказал о нем словами самой девочки.

Сохранился отзыв одного из основателей Московского Художественного театра народного артиста СССР Владимира Ивановича Немировича-Данченко о повести: «Должен признаться, что давно не читал рассказа, написанного с такой искренностью и простотой, трогательностью и каким-то особым ароматом... Во всем рассказе я не встретил ни одной фальшивой ноты. Все время забываешь, что это не настоящий дневник девочки, а сочинение Льва Кассиля. Есть моменты, захватывающие до слез...»

Надо сказать, что, прежде чем перевоплотиться в Симу Крупицыну, Льву Кассилю пришлось проделать довольно длительный литературный путь. Только овладев более близкими ему мальчишескими характерами, он решил прикоснуться к изображению женского образа.

С первых своих книг «Кондуит» и «Швамбрания» Лев Абрамович занял ведущее место в нашей молодой литературе для детей и подростков. Каждая его новая книга встречалась ими с восторгом. Он много времени уделял ребячьим затеям, всеми способами, по радио и телевидению пропагандируя книгу. Это ему принадлежит идея «Книжкиных именин» — недели детской книги, проводимой во время школьных каникул весной. Он с удовольствием выезжал в самые отдаленные районы страны, направляясь в гости к своим читателям. Общение с ними было для него необходимостью и радостью...

Девочки приняли книгу «Великое противостояние» и признали героиню своей. Когда закончилось другое великое противостояние — война с немецкими захватчиками, они потребовали продолжения повести: что же делает сегодня девочка-партизанка Устя?

И писателю пришлось снова садиться за пишущую машинку. Продолжение «Великого противостояния» называлось «Свет Москвы». Действие здесь происходит уже во время Великой Отечественной войны. Выросшая Сима Крупицына сражается уже не в качестве киногероини, а в действительной жизни.

Так родилась эта книга, в которой судьба первой части предсказала появление второй.

В 1948 году повесть «Великое противостояние» получила первую премию Министерства просвещения РСФСР как лучшая книга для детей. С тех пор она многократно переиздавалась.

И. Рахтанов